

А. В. Волошинов

ВЕНОК МУДРОСТИ ЭЛЛАДЫ



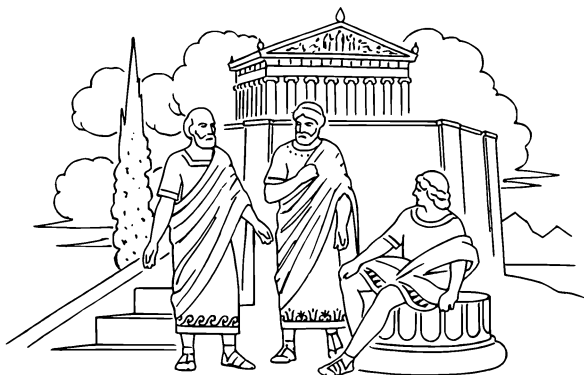
А. В. Волошинов ВЕНОК МУДРОСТИ ЭЛЛАДЫ



Д р о ф а

А. В. Волошинов

ВЕНОК МУДРОСТИ ЭЛЛАДЫ



 Д р о ф а

Москва • 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	3
Фалес	5
Пифагор	20
Гераклит	34
Парменид	47
Зенон Элейский	61
Анаксагор	76
Демокрит	90
Протагор	105
Сократ	120
Платон	141
Аристотель	167
Диоген Синопский	193
Эпикур	207
Бозций	223
Магистрал. Греческое чудо	239



Scan AAW



Сыну Диме, за десять лет обучения в школе так и не узнавшему ни одного античного мудреца, и дочери Даше — с надеждой, что наша школа повернется от светлого будущего к великому прошлому, посвящая



ОТ АВТОРА

Венок мудрости... Что это значит? Не слишком ли пышно? Иное дело лавровый венок, или терновый венок, или венок сонетов, наконец. Так почему же венок мудрости?

Потому что мудрость Эллады действительно сплетена в тугой венок. Тысячу лет в этот венок стягивались, вплетались и пригонялись друг к другу тысячи искрометных мыслей — цветы божественных озарений и плоды тяжких раздумий. Мудрость Фалеса переплеталась в этом венке с мудростью его ученика Анаксимандра, мудрость Демокрита и мудрость Платона взаимодополняли друг друга, мудрость Пифагора, Платона и Аристотеля — создателей величайших в истории человечества научных школ, — умноженная на мудрость их последователей и учеников, тысячью нитей стягивала этот венок в упругое кольцо.

Воистину этот лавровый венок Древней Эллады, венчающий самое драгоценное создание греческого гения, — великое творение его разума. Но это и терновый ее венок. Ибо путь к истине всегда проходит сквозь тернии. Вот почему жизнь мудрецов представляется сплошной цепью трагических звеньев: Гераклит, осмеянный толпой, скитается в горах и неизвестно где и как погибает; плененный Зенон Элейский откусывает свой язык и выплевывает его в лицо тирану — теперь он ничего уже не сможет сказать ему; Демокрит ослепляет себя, ибо, согласно его философии, зрение не должно мешать внутреннему умозрению; в ночь перед казнью Сократ

отказывается от побега и утром спокойно принимает смерть; Диоген Синопский живет в бочке, ест вместе с собаками, но отвергает милости царя Александра Великого; Архимед погибает от меча безграмотного римского воина, не поднимая глаз от своих чертежей; Гипатия позволяет растерзать себя обезумевшей толпе фанатиков-христиан, но не изменяет своим убеждениям духовной наследницы великого Платона; оклеветанный Бозций в ожидании казни не просит пощады и не ищет справедливости, а пишет лучшую книгу «Утешение философией»... Все это отнюдь не причуды гения, но скорбная плата, отданная ради торжества Истины, во славу Долга, во имя Красоты и Величия человеческого разума.

Возможно, еще придет поэт, который сложит венок сонетов о мудрецах Эллады. А пока пусть будет *венок мудрости Эллады*, в котором выдержана лишь самая простая форма построения венка: первой фразой каждой новой главы служит последняя фраза главы предыдущей.

Венок сонетов состоит из четырнадцати самостоятельных сонетов, в каждом из которых по четырнадцать строк, и завершается магистралом — пятнадцатым сонетом, все четырнадцать строк которого составлены из первых строк предыдущих четырнадцати сонетов. В нашем венке также четырнадцать глав-«сонетов», и завершается он своим магистралом. Это заключительная глава, собранная из бессмертных идей великих мудрецов Великой Эллады, никто из которых, разумеется, не познал абсолютной Истины, но вместе они составляли путь человечества к ней. Это волшебный вид с высоты двух тысячелетий на древнегреческую культуру, чей внезапный расцвет до сих пор повергает разум в восхищение.



ФАЛЕС

(ок. 625—547 до н. э.)

Невежество — тяжкое бремя.

Венок мудрости Эллады традиционно начинается с Фалеса. В любом курсе истории философии первым стоит Фалес, его часто называют отцом философии или отцом геометрии наряду с отцом истории Геродотом, отцом трагедии Эсхилом или отцом комедии Аристофаном. Уже в античную эпоху ученик Аристотеля Евдем назвал Фалеса первым астрономом, римский писатель и ученый Плиний Старший — первым физиком, а карфагенянин Апулей — первым геометром. Впрочем, трудно удержаться от соблазна и не привести полностью слова Апулея — блестящего стилиста древности: «Фалес Милетский, один из тех знаменитых семи мудрецов и, несомненно, самый великий среди них, — ведь это он был у греков первым изобретателем геометрии, самым опытным испытателем природы, самым сведущим наблюдателем светил, — проводя маленькие черточки, делал великие открытия: он изучал смены времен года, ветров дуновения, планет движения, грома дивное грохотание, звезд по кругам своим блуждания, солнца ежегодные обращения, а также луну — как она прибывает, родившись, как убывает, старея, и почему исчезает, затмившись».

Но кто такие семь мудрецов, в числе которых упоминается Фалес? Об этом рассказывает красивая легенда. Однажды жители острова Кос, лежащего у берегов Малой Азии, купили у рыбаков их улов

и обнаружили в нем золотой треножник*. Выкованный когда-то богом огня Гефестом, треножник сменил много хозяев, пока не попал к спартанскому царю Менелая. Когда троянский царевич Парис похитил у Менелая красавицу жену Елену, он не забыл прихватить и треножник. Но по пути в Трою Елена выбросила треножник в море, сказав: «Быть за него борьбе!» Однако прежде разразилась борьба за саму Елену — десятилетняя Троянская война, и уж потом, когда остыли пепелища Трои, сбылось и пророчество Елены.

Итак, рыбаки и купцы стали биться за треножник: купцы утверждали, что они купили весь улов, а значит, и треножник, а рыбаки настаивали на том, что они продавали только рыбу, но не треножник, который обнаружили среди выловленной рыбы. За разрешением спора стороны поплыли в город Милет, свою метрополию**.

Милетяне же, завидев сказочную вещь, не проявили бесстрастия судии, а сами пошли на Кос войной — за треножник. И много народу пало в кровавой схватке. Наконец, обессиленные от долгого кровопролития, противники обратились к оракулу, который повелел отдать треножник мудрейшему. Здесь спорщики оказались на диво единодушными и назвали таковым милетянина Фалеса — философа, путешественника, политика, купца. Спор был исчерпан.

Однако Фалес не принял треножник. Он посчитал более достойным дорогого подарка афинского законодателя Солона и отослал треножник ему. Затем история повторилась — треножник обошел коринфского тирана Периандра, жителя города Митилены Питтака, некоего Клеобула из города Линда на острове Родос, спартанца Хилона и Бианта из города Приены. Круг, как и положено в легенде, замкнулся, треножник возвратился к Фалесу, и тот отослал его в храм Аполлона Дидимейского***.

* Треножник — это прообраз современного кубка. Первоначально треножник представлял собой поставленный на три ноги бронзовый сосуд для приготовления пищи. Поскольку металл в древности был редкостью, а сама вещь жизненно необходима в хозяйстве, то треножник являлся предметом вожделений каждого грека. Со временем золотым треножником стали награждать победителей Олимпийских игр, Пифийских игр в Дельфах и других состязаний, столь любимых и почитаемых древними греками.

** Метрополиа — древнегреческий город (полис), имевший колонии.

*** Древний храм Аполлона, воздвигнутый близ Милета в местечке Дидимы, славился по всей Элладе. Толпы паломников со всех концов Греции стекались на поклонение знаменитому оракулу Аполлона Дидимейского. Из Милета в Дидимы вела широкая «Священная дорога», по обе стороны которой стояли мраморные статуи с изображением богатых жертвователей Дидимейского храма.

Такова легенда о семи мудрецах. И как у всякой легенды, у нее есть масса вариантов, включающих различные семерки мудрецов, и их общее число таким образом превышает десяток. Как и во всякой легенде, в ней переплетены личности мифические — бог Гефест — и лица исторические — все семь мудрецов жили в конце VII — начале VI в. до н. э. Но важно другое: в магическое число «семь» греческое предание собирает не богачей или аристократов, а мудрецов. Именно мудрецы определяли дух времени — времени пробуждения интеллектуальных сил Эллады, названного *временем семи мудрецов*. Подобно олимпийским богам — Зевсу, Посейдону, Аиду, Афродите, Аполлону, Артемиде, Афине, — семь мудрецов суть олимпийцы и патриархи греческой мудрости.

Было распространено восьмистишие с перечнем мудрецов и их изречений:

Семь мудрецов называют, их родину, имя, реченья.

«Мера важнее всего», — Клеобул говаривал Линдский.

«Познай себя самого», — Хилон проповедовал в Спарте.

«Сдерживай гнев», — повторял Периандр, уроженец Коринфа.

«Лишку ни в чем!» — поговорка была митиленца Питтака.

«Жизни конец наблюдай», — повторялось Солоном Афинским.

«Ни за кого не ручайся», — Фалеса Милетского слово.

«Худших везде большинство», — говорил Биант из Приены.

Как видим, неизвестный античный автор каждому мудрецу приписал некое крылатое выражение. Такие афоризмы высоко ценились греками и высекались на гермах*, которые ставились на перепутьях дорог.

Однако из семи мудрецов, почитаемых античностью, неумолимое время выбрало только Фалеса, и он по праву считается сегодня родоначальником философии и предтечей науки математики. Что касается остальных мудрецов, то по прошествии двух с половиной тысячелетий их мудрость, дошедшая до нас в основном в виде остроумных афоризмов, выглядит несколько легковесно. Иные мудрецы прославились иным образом, в частности, своей жестокостью,

* Герма (греч. ἑρμῆς) — четырехгранный столб, заверченный скульптурным изображением головы бога путников и дорог Гермеса (откуда и пошло название). Гермы служили межевыми знаками, а в Аттике ставились на дорогах через каждую тысячу пар шагов. Позднее гермы венчались изображениями других богов, а также государственных деятелей и мудрецов. В нашем случае на гермах высекались крылатые выражения мудрецов и надписи нравоучительного характера.

как Периандр (ок. 660 — ок. 585 до н. э.), который убил беременную жену и сжег живыми наложниц. Перед смертью тиран убил несколько человек, чтобы скрыть место своего погребения. И в то же время Периандр демонстрирует коварное лицемерие, изрекая: «Кто хочет править спокойно, пусть охраняет себя не копьями, а всеобщей любовью» или «Наслаждение брэнно — честь бессмертна». В устах кровавого тирана эта «мудрость» звучит как слабо прикрытая ложь.

Но возвратимся в Милет, город, с которым связана вся долгая жизнь Фалеса. Расположенный на малоазийском побережье Эгейского моря, в VII—VI вв. до н. э. Милет был крупнейшим торговым центром Древней Греции. Жемчужиной Эллады звали сей цветущий полис, утопавший в лучших в мире розах. Тончайшая шерсть милетских овец, драгоценное розовое масло, знаменитый храм Аполлона Дидимейского собирали в Милет тысячи купцов и паломников. Четыре гавани Милета никогда не пустовали — они всегда принимали торговые корабли со всей Греции, Финикии, Египта, Крита.

Между тем положение в Малой Азии было в то время сложным, и своим благополучием Милет во многом был обязан Фалесу. Дело в том, что после падения в 612 г. до н. э. Ниневии, столицы Ассирийского государства, разрушился и хрупкий механизм международного равновесия в Передней Азии. Это развязало руки восточному соседу двенадцати ионийских городов Лидии, и она устремила свои алчущие взоры на Ионию*. Однако благодаря мудрости Фалеса Милету удавалось поддерживать дружеские связи с Лидией, в особенности с ее последним царем Крезом.

В отношениях с Крезом проявилась не только мудрость Фалеса как государственного мужа, но и его практический ум. Так, когда Крез начал боевые действия против персидского царя Кира, он никак не мог переправиться через бурные воды реки Галис. Тогда Фалес предложил выкопать еще одно русло, чтобы лагерь Креза оказался как бы на искусственном острове. Поток стремительного Галиса разделился надвое, уровень воды упал, и войско благополучно переправилось.

В то же время Фалес предостерегал сограждан от союза с Крезом против Кира, прозорливо разглядев в персах несметную по тем временам силу. В 546 г. до н. э., через год после смерти Фалеса, его предсказания сбылись: войско Креза было наголову разбито Ки-

* И о н и я — область на западном побережье Малой Азии.

ром и сам он чуть было не погиб*. Затем полчища персов захлестнули всю Ионию, и только нейтралитет Милета вновь его спас. Однако в третий раз уйти от судьбы городу не удалось. Ровно через полвека, в 496 г. до н. э., после неудавшегося восстания ионийских полисов, которое поддержал Милет, он был razорен, а все оставшиеся в живых уведены в плен или проданы в рабство.

Итак, кто же он, этот прославленный милетский мудрец? Здесь античные свидетельства расходятся. С одной стороны, он вроде бы рассеянный чужак «не от мира сего», который ведет образ жизни отшельника и на вопрос матери, почему он не женится, один раз ответил: «слишком рано», а в другой — «слишком поздно». Когда Солон, прославлявший в своих стихах радость брака, навестил Фалеса и спросил, почему у него нет детей, тот ответил: «из-за любви к ним». Наконец, широко известен рассказ Платона о том, как однажды, наблюдая на ходу звезды, Фалес свалился в колодец, на что фракийская красавица рабыня заметила: «Как может он знать, что происходит на небе, когда даже не видит того, что у него под ногами?!» Столь афористичное замечание красавицы рабыни скорее напоминает ход мыслей самого Платона, склонного, как и все философы, к легкой самоиронии и одновременно гордого своими неземными интересами. Не случайно через 2000 лет, пересказывая этот эпизод в «Лекциях по истории философии», другой великий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель заметил, что и философы смеются над людьми, «которые, разумеется, не могут упасть в яму, потому что они раз и навсегда лежат в ней и не обращают своих взоров ввысь».

С другой стороны, античные предания рисуют Фалеса предприимчивым купцом и мудрым политиком, стоящим в самой гуще бур-

* Геродот рассказывает, что, когда по приказу Кира Креза отправили на костер и пламя уже коснулось ног Креза, он в отчаянии воскликнул: «О Солон, Солон!» Услышав имя одного из семи мудрецов, удивленный Кир остановил казнь и пожелал выяснить, почему в столь неподходящий момент Крез вспомнил именно афинского мудреца Солона. Крез поведал Киру, что в свое время, когда он был настолько богат, что родилась поговорка «Богат, как Крез», его посетил Солон. Полагая, что Солон потрясен увиденным богатством, восседавший на троне в пышном убранстве Крез спросил его, видел ли он что-либо прекраснее. «Видел — и петухов, и фазанов, и павлинов: их убранство дано им природой и прекраснее в тысячу раз» — таков был ответ Солона. Тогда Крезу захотелось, чтобы Солон назвал его самым счастливым человеком в мире, на что мудрец ответил: «Считать счастливым человека, еще живущего, — все равно что провозглашать победителем воина, еще не окончившего поединка». Об этих-то словах Солона и вспомнил на костре Крез. Солонова мудрость настолько подействовала на Кира, что он помиловал своего знатного пленника.

ной жизни Ионии. Вот, например, история, рассказанная Аристотелем в его «Политике»: «Когда Фалеса попрекали его бедностью, так как-де занятия философией никакого барыша не приносят, то, рассказывают, Фалес, предвидя на основании астрономических данных богатый урожай оливок, еще до истечения зимы роздал накопленную им небольшую сумму денег в задаток владельцам всех маслобоек в Милете и на Хиосе; маслобойни Фалес законтрактовал дешево, так как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбора оливок, начался внезапный спрос одновременно со стороны многих лиц на маслобойни. Фалес стал тогда отдавать на откуп законтрактованные им маслобойни за ту цену, за какую желал. Набрав таким образом много денег, Фалес доказал тем самым, что и философам при желании разбогатеть нетрудно, только не это составляет предмет их интересов». В этой истории можно разглядеть едва ли не первый пример извлечения практической выгоды из занятий наукой.

Послушаем рассказ Апулея, характеризующий Фалеса как мужа, исполненного чувства собственного достоинства и гордости за совершенные им открытия.

Как известно, Фалес обнаружил равенство видимых (угловых) размеров Солнца и Луны, которые составляют $1/720$ часть их кругового пути, что является одним из первоклассных открытий ученого*. Фалес поведал об этом некоему Мандраиту из Приены, который пришел в восторг и за открытие предложил философу любое вознаграждение. «Для меня будет достаточным вознаграждением, если, пожелав сообщить кому бы то ни было, чему ты у меня научился, ты не станешь приписывать это открытие себе, но заявишь во всеуслышание, что оно сделано мною и никем иным» — таков был ответ мудрого философа. «Прекрасное вознаграждение, — комментирует слова Фалеса Апулей, — достойное такого мужа и непреходящее! Да потому что и по сей день, и впредь во все времена Фалес получал и будет получать от нас — всех тех, кто действительно знакомится с его трудами, — это вознаграждение за свои исследования небесных явлений».

Да, именно научные исследования, а не деятельность Фалеса как государственного мужа, политика или советника Креза стяжали философу подлинную славу. Эти непреходящие заслуги Фалеса были осознаны еще в античности, о чем писал создатель грандиозной

* Факт равенства угловых размеров Солнца и Луны и сегодня дает почву для мистических размышлений. Так, в одном из современных фантастических романов утверждается, что это Бог предумышленно сделал видимые размеры Солнца и Луны равными, чтобы напоминать живущим на Земле людям о своем существовании.

галереи жизнеописаний великих людей древности Плутарх: «Вообще, по-видимому, Фалес был тогда единственным ученым, который в своих исследованиях пошел дальше того, что нужно было для практических потребностей, все остальные получили название ученых за свое искусство в государственных делах». Вот почему из семи мудрецов, сегодня полузабытых, история сохранила прежде всего имя Фалеса — первого естествоиспытателя и философа.

Традиция приписывает Фалесу ряд ярких высказываний:

Древнее всего сущего — Бог, ибо он не рожден.

Прекраснее всего — мир, ибо он творение Бога.

Больше всего — пространство, ибо оно объемлет все.

Быстрее всего — ум, ибо он обегает все.

Сильнее всего — неизбежность, ибо она властвует всем.

Мудрее всего — время, ибо оно раскрывает все.

С именем Фалеса связывают и знаменитое «Познай самого себя» — изречение, славу которого Фалес часто делит с Сократом. Кроме того, Фалес утверждал, что за три вещи он благодарен судьбе: во-первых, что он человек, а не животное; во-вторых, что он мужчина, а не женщина; в-третьих, что он эллин, а не варвар. Со временем этот афоризм также приписали Сократу, ставшему для греков воплощением мудрости.

На вопрос, что раньше возникло — день или ночь, — Фалес ответил: «Ночь — раньше на один день». А на вопрос, можно ли скрыть от богов дурное дело, — «Ни даже дурное помышление!» Кто-то спросил у мудреца: «Что на свете трудно?» — «Познать себя». «А что легко?» — «Советовать другому». «Какая жизнь самая лучшая?» — «Когда мы сами не делаем того, за что осуждаем других». «Кто счастлив?» — «Тот, кто здоров телом, восприимчив душою и податлив на воспитание»*. Но откуда возникла Фалесова

* Эти и многие другие не менее интересные сведения о Фалесе и других греческих мыслителях сохранил для человечества Диоген Лаэртский (в латинизированной транскрипции — Диоген Лаэртций). Диоген Лаэртский — личность полумифическая в истории античной культуры. Неизвестно, где и когда он жил, неизвестно название его сочинения. Неизвестно, что означает определение «Лаэртский», ибо оно обычно указывало на город, в котором жил обладатель имени, но ни города, ни местечка Лаэрты нет ни на одной карте Древней Греции. Полагают, что годы творчества Диогена Лаэртского приходятся на конец II — начало III в., а его трактат, читаемый как захватывающий роман из античной истории, переведен на русский язык под названием «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Не следует путать Диогена Лаэртского с Диогеном Синопским (ок. 412—323 до н. э.), речь о котором еще пойдет в нашей книге.

мудрость, если он был первым в естествознании и философии, если он не имел учителей, как утверждает традиция? Мудрость Фалеса питалась разносторонностью ионийского духа, вобравшего в себя и свежие соки пробуждающейся греческой культуры, и могучие потоки древних восточных цивилизаций. Европа, как чужеродный «гадкий утенок», выросла на задворках огромного подворья Азии; и именно Ионии, лежащей на перепутье торговых путей в азиатские дали, суждено было стать первым пристанищем *европейской культуры*. Но — и в этом источник греческого гения, — вступая в прямые контакты с великими восточными цивилизациями, греки усваивали их важнейшие уроки. Они не только впитывали мудрость восточных учений, но и творчески преломляли ее, а главное — сказочно обогащали.

«Что бы эллины ни перенимали от варваров, они всегда довели это до более высокого совершенства». Слова Платона из диалога «Послезаконие», хотя и принадлежат эллину, точно передают суть интеллектуальных отношений между Востоком и Элладой. И Фалес был первым, кто развивал эти отношения, кто возвел незримый интеллектуальный мост из Азии в Европу.

Традиция утверждает, что Фалес много путешествовал по странам Востока, посещал Финикию, Лидию, Египет и даже Вавилонию. Египет для греков являлся олицетворением мудрости и древности, а египетские пирамиды были для них столь же древними, как для нас развалины афинского Акрополя. Много загадок хранила удивительная страна: и ежегодные разливы Нила, которые Фалес объяснял дующими со стороны моря и подпирающими воды реки ветрами (подобно наводнениям на Неве); и безупречные грани пирамид — символов вечности и незыблемости Египта, их высоту Фалес измерил, дождавшись часа, когда тень человека равна его росту и, следовательно, тень пирамиды равнялась ее подлинной высоте. Но главные тайны этой страны жрецы прятали в сумерках храмов, чей покой стерегли шеренги каменных львов с человеческими лицами. Лишь перед посвященными открывались их тяжелые двери, и, судя по всему, распахнулись они и перед Фалесом.

Еще меньше сведений, у нас о путешествии Фалеса в Вавилон. Но одно событие, пожалуй, наиболее яркое во всей научной биографии Фалеса, явно свидетельствует в пользу этого путешествия. Речь идет о предсказании Фалесом солнечного затмения.

Как сообщает Геродот, Лидия в то время вела затянувшуюся войну с Мидией. И вот «на шестой год во время одной битвы внезапно день превратился в ночь. Это солнечное затмение предсказал ионянам Фалес Милетский и даже точно определил заранее год, в котором оно и наступило. Когда лидийцы и мидяне увидели, что

день обратился в ночь, то прекратили битву и поспешно заключили мир». Сегодня установлено, что Геродот описал затмение, произошедшее 30 сентября 610 г. до н. э., тогда как Фалес предсказал затмение на 28 мая 585 г. до н. э. Сдвиг событий на 25 лет привел Геродота к другой ошибке: свидание Солона и Креза, если его отсчитывать не от затмения 610 г., а от затмения 585 г., становится просто невозможным.

Гораздо важнее другой вопрос: каким образом Фалес мог предсказать затмение? Не на основании же расчетов по законам динамики и тяготения Ньютона?! Следовательно, только с помощью эмпирических (умозрительных) наблюдений. Но для этого необходим опыт многих поколений, а предшественников у Фалеса в Греции не существовало. Значит, Фалес был знаком с астрономией Востока, и прежде всего с вавилонской астрономией, которую лучше всего узнать можно было конечно же в самом Вавилоне!

И все-таки, как было предсказано затмение Солнца? Известно, что уже в VII в. до н. э. вавилонские жрецы (халдеи) сделали замечательное открытие. Они заметили, что через определенный промежуток времени (позднее его называли *саросом* — в переводе с египетского «повторение») затмения Солнца и Луны повторяются в той же последовательности. На основании не одной сотни лет наблюдений халдеи вычислили сарос, который составляет 6585 дней, или 18 лет и 10—11 суток (в зависимости от числа високосных лет в этом промежутке). В течение одного сароса бывает 43 затмения Солнца и 28 затмений Луны. Но дело осложняется тем, что в отличие от лунных затмений затмения Солнца видны только на небольшом участке земной поверхности и не всегда в одном и том же месте. Так что «одноименные» по саросу солнечные затмения происходят в разных точках планеты, и, таким образом, предсказывать их только по саросу рискованно. Как видим, Фалесу повезло, и предсказанное им по саросу солнечное затмение в Ионии наблюдалось.

Помимо определения относительных размеров Солнца и Луны и предсказания солнечного затмения, с именем Фалеса связывают и ряд других астрономических открытий: открытие годового движения Солнца на фоне звезд, определение времени солнцестояний (наивысшего и наименьшего в году положений Солнца над горизонтом), деление года на 365 дней, указание на Малую Медведицу как на созвездие, точнее других определяющее направление на север.

Ученику Фалеса Анаксимандру традиция приписывает изобретение солнечных часов — гномона — вертикального стержня, установленного на горизонтальной плоскости. Именно милетские

мудрецы Фалес и Анаксимандр впервые обнаружили, что тень от вертикального столбика равномерно движется по кругу и, следовательно, может служить для отсчета времени. По самой короткой в течение дня тени столбика определяется полдень и направление на юг, а по самой короткой и самой длинной полуденной тени за год — дни летнего и зимнего солнцестояний.

Увы, говоря о научных достижениях Фалеса, мы вынуждены довольствоваться только преданиями и свидетельствами более поздних авторов. Ни одной строки из сочинений самого Фалеса не сохранилось, хотя древние историки науки считают его автором трактатов «Морская астрология», «О солнцестоянии», «О началах», «О равноденствии».

Несмотря на преобладание в трудах Фалеса астрономической тематики, в историю науки он вошел прежде всего как философ, основатель *милетской школы натурфилософии* (философии природы). Фалеса и его последователей натурфилософов прежде всего занимала возможность усмотреть за многообразием явлений и вещей в природе некую единую основу, первоначало. В качестве такой первоосновы, из которой все возникает и в которую все в конечном итоге превращается, Фалес берет материальную стихию — «влажную природу», т. е. воду. Натурфилософское учение Фалеса, таким образом, можно свести к двум пунктам: 1) все есть вода; 2) Земля плавает в воде, подобно куску дерева. По прошествии 2500 лет такая философия выглядит наивной и куцей. Но не стоит спешить с оценками.

Философия Фалеса — первая попытка увидеть начало всех вещей и явлений в самой природе, взять за первооснову материальную стихию (воду), а не сверхприродные божественные силы, как это было ранее. Чтобы увидеть начало природы в самой природе, Фалесу потребовалось сделать решительный шаг: отойти от мифологических образов, отказаться от бесчисленного сонма олимпийских богов, от бесконечной вереницы нимф — океанид, nereид, наяд, ореад, лимониад, дриад и т. д., населяющих различные стихии, и вместо сказочного великолепия божественной поэзии древних мифов обратиться к обыденной «прозе» — воде. Это была подлинная революция в мировоззрении! Как образно заметил Герцен, «судьба Олимпа была решена в ту минуту, как Фалес обратился к природе».

Об основном философском тезисе Фалеса — «*Все есть вода*» — современный немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг отозвался так: «Во-первых, это высказывание со-

держит вопрос о материальной основе вещей. Во-вторых, оно содержит требование рационального ответа на этот вопрос без ссылки на мифы и мистические представления. В-третьих, оно содержит предположение о возможности понять мир на основе одного исходного принципа». Таким образом, предположение Фалеса о том, что все произошло из воды, следует рассматривать в качестве научной гипотезы, а отнюдь не как брошенное походя абсурдное замечание. Заметим, что еще в первой половине XX в. основным элементом мироздания физики считали водород, который составляет две трети воды и в более точном переводе с латыни означает «рождающий воду».

Идею первоначала, из которого происходят все стихии и все элементы мироздания и в которое в конечном итоге все они возвращаются, развили ученики Фалеса *Анаксимандр* (ок. 610—546 до н. э.) и *Анаксимен* (ок. 585 — ок. 525 до н. э.). Анаксимандр утверждал, что все вещи произошли из единого «архе» (греч. ἀρχή — начало), но таковым является не вода, как считал Фалес, и не любая другая из известных стихий, а нечто беспредельное, безграничное, бесконечное — по-гречески апейрон (греч. ἄπειρον, от ἄ — отрицательная частица и πέρας — конец, предел). Апейрон, согласно Анаксимандру, «не знает старости», он «бестелесен и неуничтожим», он вечно активен и вечно пребывает в движении.

Древние пребывали в полной уверенности, что апейрон веществен, но никто не знал, что это такое. Одни полагали его смесью четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня; другие — чем-то средним между огнем и воздухом, самыми подвижными стихиями; третьи — вообще чем-то неопределенным. Аристотель, исследуя причины возникновения столь абстрактного первоначала у Анаксимандра, верно заметил, что признание в качестве бесконечного и беспредельного «архе» любой из известных стихий привело бы к ее неправомерному господству в мироздании. Поэтому первоначало и должно быть нейтральным по отношению к природным стихиям, как предложил Анаксимандр, поправив своего учителя Фалеса.

Правда, столь глубокое соображение проигнорировал ученик Анаксимандра Анаксимен, сделав шаг назад к Фалесу и объявив первоосновой всего воздух — самую бескачественную материю. Анаксимен указал на свойство беспредельности воздуха. Но беспредельное и есть апейрон. Тем самым Анаксимен сделал загадочный апейрон своего учителя свойством обычного воздуха.

Возникновение мироздания милетские философы так или иначе связывали с движением. Анаксимандр утверждал, что

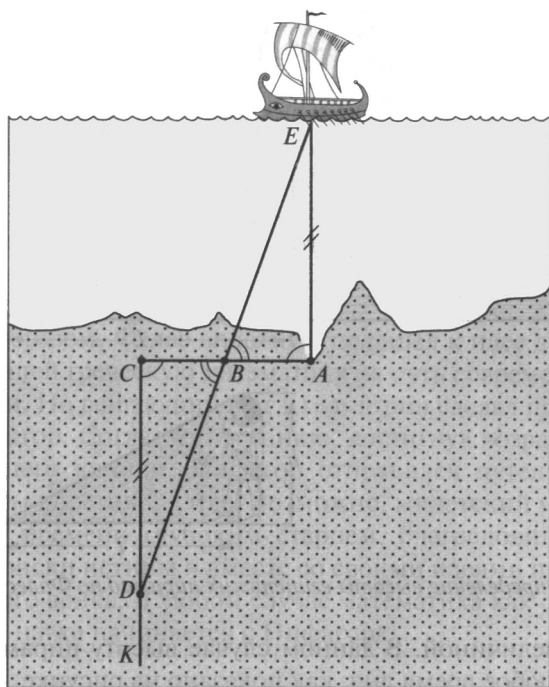
апейрон — единственная причина рождения и гибели. Анаксимен образование стихий из воздуха связывал с разряжением и сгущением: огонь есть разряженный воздух, вода — сгущенный воздух, который при дальнейшем сгущении становится землей и, наконец, камнем. Через 1000 лет христианский философ и теолог *Аврелий Августин* (354 — 430) упрекнет Анаксимандра за то, что он «ничего не оставил Божественному уму».

Просто удивительно, сколь резко и глубоко в милетской натурфилософской школе произошел поворот от религиозно-мифологической концепции происхождения мироздания к научно-атеистическому сознанию. В милетской философии природы мы находим и материализм, и атеизм, и рационализм, все они надолго стали считаться хорошим тоном среди естествоиспытателей. Откуда эти познания у Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена? Достаточно ли в качестве причины крутого разворота от мифа к логосу* указать только негативную реакцию милетских философов на архаическое мифологическое сознание древних греков? Фалес, Анаксимандр, Анаксимен — вот и вся милетская школа. Откуда она возникла и куда ушла? Возможно, трагическая судьба Милета сказалась и на милетской философской школе: в 494 г. до н. э., после неудавшегося восстания против персов, Милет был полностью разгромлен, а все оставшиеся в живых проданы в рабство**. Возможно, и нет, ибо три милетских философа были слишком разными и правомерность их объединения в одну философскую школу часто подвергается сомнению. Да, древние мудрецы оставили нам больше вопросов, нежели ответов.

Вернемся к основателю милетской школы, первому мудрецу Эллады *Фалесу*. Для полноты картины следует сказать еще несколько слов о нем как о первом геометре. В области геометрии с именем Фалеса связываются следующие достижения: 1) доказательство теоремы о том, что диаметр делит круг пополам; 2) открытие равенства вертикальных углов при пересечении двух прямых; 3) установление равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 4) обнаружение пропорциональности отрезков, образующихся на прямых, пересеченных несколькими параллельны-

* Л о г о с (греч. λόγος) — термин древнегреческой философии, означающий одновременно «слово» (или «предложение», «высказывание», «речь») и «смысл» (или «понятие», «суждение», «основание»). В данном случае «слово» понимается исключительно в смысле словом плане, а «смысл» — как нечто явленное, оформленное и «словесное».

** В 479 г. до н. э. Милет был восстановлен и окончательно исчез во II в. н. э.

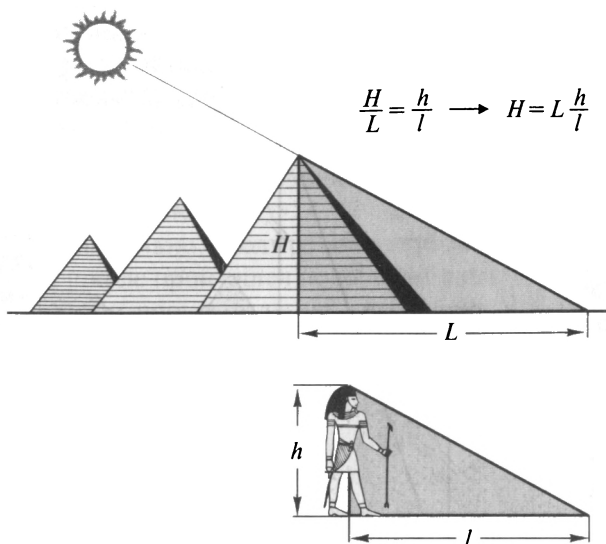


Геометрический дальномер Фалеса

ми прямыми (теорема Фалеса в школьных учебниках); 5) доказательство теоремы о равенстве треугольников по одной стороне и двум прилежащим углам.

Последней теореме Фалес нашел важное практическое применение: в гавани Милета был построен дальномер, определяющий расстояние до корабля в море. Не следует воображать дальномер Фалеса в виде сложного оптического прибора. На самом деле он представляет собой три вбитых колышка, отмечающих на одной прямой два равных отрезка, по разные стороны от которых строились два треугольника. Тогда, как легко видеть из рисунка, расстояние по земле CD равнялось искомому расстоянию до корабля AE по воде.

Вообще для Фалеса характерно стремление к практическому применению теоретических знаний. Как говорилось выше, применяя на практике свою теорему о пропорциональных отрезках, Фалес научился определять высоту египетских пирамид по их тени не только простейшим способом, «дождавшись часа, когда наша тень одной длины с нами», но и через установление пропорциональных соотношений между тремя поддающимися измерению величинами



Определение высоты египетских пирамид по Фалесу

и искомой величиной. В данном случае высоту пирамиды можно измерить в любое время дня, как показано на рисунке.

Конечно, сообщения о математических открытиях Фалеса требуют критического осмысления, поскольку в основном они известны из сочинений античного философа *Прокла* (ок. 410—485), жившего через 1000 лет после Фалеса. Прокл так же далек от Фалеса, как мы от князя Владимира, и за 1000 лет любые устные предания могут обрасти легендами.

Более того, при ближайшем рассмотрении математические открытия Фалеса кажутся совсем элементарными. И египетская, и вавилонская математики, с которыми Фалес, по-видимому, был неплохо знаком, имели в активе более значительные достижения. Египтяне, например, знали точную формулу для вычисления объема усеченной пирамиды, а вавилоняне непостижимым образом умели находить «пифагоровы тройки», причем достаточно сложные, как, например: (12709, 13500, 18541) : $12709^2 + 13500^2 = 18541^2$. На этом фоне теоремы Фалеса выглядят более чем скромно.

Но не будем торопиться. Дело в том, что и египетская, и вавилонская математики представляли собой собрание разрозненных рецептов, полученных полуинтуитивными методами на основе эмпирических закономерностей. Эти древние математики не знали

того главного, что отличает современную науку математику, — доказательства. А теоремы Фалеса, по-видимому, являются первыми в истории математики теоремами, которые он пытался доказать. *Фалес, возможно, первым в истории математики ощутил необходимость доказывать «очевидные» истины.* Как он это делал, мы не знаем. Скорее всего, он опирался более на чувственное восприятие, чем на строгую логику. Так, теорема о диаметре круга могла быть доказана простым перегибанием чертежа. Но главным здесь является сама идея строгого обоснования получаемых математических результатов.

Таким образом, Фалес вплотную подошел к идее доказательства, поставившей греческую математику на путь современной дедуктивной науки. Но решающий шаг в геометрии сделал преемник Фалеса — Пифагор. Согласно преданию, достигнув возраста эфеба — двадцатилетнего юноши, Пифагор отправился путешествовать и первым делом посетил Фалеса. Возможно, милетский мудрец, бывший к тому времени глубоким старцем, благословил пытливого юношу на поиски истины и вместе со своими идеями передал ему и ветвь от своего венка. В любом случае математика как современная дедуктивная наука начинается с Пифагора.



ПИФАГОР

(ок. 570 — ок. 500 до н. э.)

Все есть число.

Математика как современная дедуктивная наука начинается с Пифагора. Именно Пифагор первым заменил давние жреческие вопросы «как?» на современные научные вопросы «почему?». Именно Пифагор произвел революцию в математике, мирно дремавшей более 1000 лет в тиши жреческих и халдейских храмов, и придал ей ту форму, которую она сохраняет и поныне.

Но не только и не столько революция в математике принесла Пифагору славу. Подобно великим современникам — Будде в Древней Индии, Конфуцию в Древнем Китае, а возможно, и Заратуштре в Древнем Иране, он был еще и пророком, религиозным реформатором, властителем дум и проповедником собственной — пифагорейской — этики. Разносторонняя деятельность Пифагора — научная, религиозно-этическая, философская — сделала его личность необычайно популярной, еще при жизни окутала ее плотной завесой легенд и преданий, которые с течением веков постоянно приумножались.

«Я не знаю другого человека, который был бы столь влиятельным в области мышления, как Пифагор. Я говорю так потому, что кажущееся платонизмом оказывается при ближайшем анализе в своей сущности пифагореизмом». Так писал о Пифагоре английский математик и философ, лауреат Нобелевской премии по литературе Бертран Рассел (1872—1970). Продолжая мысль Рассела, мы можем указать на могучую ветвь мировой философии — *неоплато-*

низм — и ее славных представителей: Плотина (ок. 204—269/270) и Порфирия (ок. 233—304), Аврелия Августина (354—430) и Иоанна Скота Эриугену (810—877), Николая Кузанского (1401—1464) и Джероламо Кардано (1501—1576), Томмазо Кампанеллу (1568—1639) и Джордано Бруно (1548—1600), Фридриха Шеллинга (1775—1854) и Георга Гегеля (1770—1831), Владимира Соловьева (1853—1900) и Сергия Булгакова (1871—1944), Павла Флоренского (1882—1937?) и Алексея Лосева (1893—1988). Каждый из них в той или иной мере испытал на себе влияние бессмертных идей Пифагора.

Кто же он был, этот человек-загадка, получеловек-полубог, как его рисовали предания? Мы не знаем доподлинно ни биографии, ни портрета Пифагора, не сохранилось ни одной строки из его сочинений. Его жизнеописание, подобно жизнеописанию Христа, стало легендой, которая за 1000 лет античной истории обросла столь огромным количеством самых невероятных преувеличений, что Пифагора стали называть «на одну десятую гением, на девять десятых выдумкой». Тем не менее, отделяя части легенды от целого истины, в полумраке древних преданий можно разглядеть подлинный образ Пифагора.

Родился Пифагор около 570 г. до н. э. на острове Самос, что лежит в Эгейском море у берегов Малой Азии недалеко от Милета. Самосцам приписывается изобретение бронзового литья, основание множества колоний, рассыпанных по всему Средиземноморью, в том числе Кротона на юге Италии и Навкратиса в дельте Нила — городов, тесно связанных с судьбой Пифагора. Славился Самос и храмом богини Геры, состязаться в красоте с которым мог лишь храм Артемиды в Эфесе — одно из семи чудес света.

Своего расцвета остров достиг во второй половине VI в. до н. э. при тиране Поликрате. Захватив власть с помощью двух братьев и дружины в пятьдесят человек, Поликрат быстро избавился от братьев и стал единоличным и жестоким правителем Самоса. Тиран сколотил разбойничий флот, который не имел равных и господствовал в Эгейском море, не щадя ни чужих, ни своих. Разумеется, с могучими соседями — египетским фараоном Амасисом и персидским царем Камбизом — Поликрат старался поддерживать самые теплые отношения, что, впрочем, не помешало персам зверски убить его.

Отцом Пифагора был Мнесарх, резчик по драгоценным камням, славившийся среди мастеров искусством вырезать геммы, но стяжавший скорее «славу, чем богатство». Сохранилось предание, по которому Мнесарх вместе со своим прославленным учеником — скульптором Феодором — вырезал перстень дивной красоты. Перс-

тень перешел к Поликрату и ценился им выше всего на свете. Однажды Амасис сказал Поликрату, что он удачлив и богат, но боги ревнивы к людскому счастью, и, чтобы отвести гнев богов, посоветовал ему расстаться с самой дорогой вещью. Поликрат внял совету Амасиса и выбросил в море перстень, но через несколько дней перстень обнаружили в рыбе, подаренной к столу тирана. То был знак, указующий на неотвратимость судьбы, которая вскоре и свершилась.

Имя матери Пифагора не сохранилось. Говорят, якобы Мнесарх звал жену Пифайдой, а сына Пифагором в честь дельфийской прорицательницы Пифии*, предсказавшей самосскому камнерезу рождение необыкновенного сына. Известна и другая версия — о том, что Пифагор — не имя, а прозвище, которое дали мудрому учителю его ученики, ибо он высказывал истину столь же авторитетно, как и дельфийская Пифия. И это выглядит тем более правдоподобно, что и знаменитый философ Аристокл известен нам не по имени, а по прозвищу, которое он получил за свою мускулатуру гимнаста — широкий, широкоплечий, по-гречески — Платон (от греч. πλάτος — ширина). Предсказания Пифии сбылись: сын у Мнесарха родился на диво красивым, а вскоре проявился и острый ум мальчика. Старый рапсод** Гермодамант и философ Ферекид занялись его образованием; первый ввел юношу в звонкий круг муз, а второй обратил его ум к логосу. Единство музыки, поэзии и отточенной мысли, с малых лет усвоенное Пифагором, оказало на его мировосприятие огромное воздействие. Не является ли этот, столь характерный для античности *синкретизм* — соединение науки и искусства — проявлением не понятой нами до конца мудрости древних, мудрости целостного восприятия мира?

Скоро маленький остров становится для Пифагора тесным, и он отправляется путешествовать. Для жителя Самоса все дороги вели в

* П и ф и я — жрица-прорицательница Дельфийского оракула при храме Аполлона в Дельфах. Город Дельфы, расположенный у подножия горы Парнас, был крупнейшим религиозным центром Древней Греции. К Дельфийскому оракулу обращались с вопросами простые греки и цари. Прорицательница Пифия, сидя на золотом треножнике над расселиной скалы, в состоянии экстаза изрекала ответы вопрошавшим. Ответы Пифии трактовались как пророчества, данные богом Аполлоном. Полагают, что в экстатическое состояние Пифия приходила, вдыхая поднимавшиеся из расселины ядовитые испарения. Прорицания Пифии давались в нарочито неясной и двусмысленной форме и могли иметь самые противоречивые толкования. С 586 г. до н. э. один раз в четыре года в Дельфах проводились Пифийские игры — общегреческие празднества и состязания поэтов, музыкантов и атлетов.

** Рапсоды и аэды — странствующие певцы в Древней Греции.

Милет, и здесь юный Пифагор встречается с прославленными мудрецами Фалесом и Анаксимандром. Возможно, по совету Фалеса Пифагор едет в Египет, являвшийся для древних эллинов своеобразной научной Меккой. Начались годы учений, посвящений и испытаний. Беседы со жрецами перемежались с долгим затворничеством в келье, созерцанием звезд и размышлениями о смысле жизни.

Древнегреческий философ Ямвлих (ок. 250 — ок. 330), автор сочинения «Жизнь Пифагора», сообщает, что Пифагор провел в Египте 22 года, затем в 525 г. до н. э., когда Египет был завоеван персидским царем Камбизом, попал в плен к персам и еще 12 лет пробыл в вавилонском плену. Надо сказать, что сочинение Ямвлиха, написанное через 800 лет после смерти Пифагора, — одна из наиболее поздних и наиболее приукрашенных биографий самосского мудреца. На наш взгляд, цифры Ямвлиха преувеличены примерно вдвое.

Несмотря на крайне противоречивые сведения о путешествиях Пифагора, само научное творчество, религиозно-философское учение и образ жизни мудреца говорят о том, что он в избытке почерпнул восточной мудрости. Например, Пифагор доказал свою знаменитую теорему, но открытое им свойство прямоугольного треугольника было известно вавилонянам по крайней мере в эпоху царя Хаммурапи, т. е. более чем за 1000 лет до Пифагора! Метемпсихоз — религиозно-мистическое учение о переселении души умершего во вновь рожденное животное, которое проповедовал Пифагор, определяло весь строй мысли и жизни египтян, отсюда и их ритуал бальзамирования тел умерших. Как и египтяне, Пифагор носил ослепительно белые одежды и исполнял многие их обряды, имел чрезмерное пристрастие ко всякого рода таинствам, магии, числовой мистике.

В возрасте *акме*^{*}, т. е. около 530 г. до н. э., Пифагор возвратился на родной Самос. Жизнь на Самосе чрезвычайно изменилась: с приходом к власти Поликрата бурно развивались строительство и торговля. Строился новый рынок, вокруг Самосской гавани возводилась огромная дамба, перестраивался храм Геры. Но самым грандиозным и искусным сооружением стал самосский тоннель, по которому проходил водопровод, снабжавший город питьевой водой. Тоннель строился с двух сторон, причем углы проходки были рассчитаны настолько точно, что оба хода сошлись под горой с ничтожной погрешностью. Геродот сообщает, что строителем акведука был некий Евпалий. Но вполне возможно, что и Пифагор,

^{*} А к м е (греч. ακμή — край, вершина) — у греков возраст высшей степени расцвета мужчины, около 40 лет.

живший в это время на Самосе, участвовал в обсуждении геометрической части столь смелого инженерного проекта. Этот тоннель является чуть ли не единственным «живым» свидетелем прекрасной математической подготовки древнегреческих строителей — современников Пифагора. Только блестяще владеющий геометрией и верящий в ее непогрешимость строитель мог так дерзко проложить под землей прямую линию! Тем не менее Пифагор болезненно воспринял атмосферу тирании и насилия, царившую на Самосе. От ее гнета Пифагора не спасали даже толстые стены пещеры, которую он облюбовал в окрестностях Самоса для своих занятий. Мысль о том, что не пристало философу, свободному духом, жить в подобной атмосфере, не покидала Пифагора. И тогда он покинул Самос и переселился в Кротон — небольшую греческую колонию на юге Апеннинского полуострова.

«Достигнув Италии, он появился в Кротоне и сразу привлек там всеобщее уважение как человек, много странствовавший, многоопытный и дивно одаренный судьбой и природою... С виду он был величав и благороден, а красота и обаяние были у него и в голосе, и в обхождении, и во всем... Он так привлекал к себе всех, что одна только речь, произнесенная при въезде в Италию, пленила своими рассуждениями более двух тысяч человек; ни один из них не вернулся домой, а все они вместе с детьми и женами устроили огромное училище в той части Италии, которая называется *Великой Грецией*, поселились при нем, а указанные Пифагором законы и предписания соблюдали нерушимо, как божественные заповеди». Так описывал приезд Пифагора в Кротон в сочинении «Жизнь Пифагора» древнегреческий философ Порфирий (ок. 233 — ок. 304).

В Кротоне Пифагор учредил нечто вроде религиозно-этического братства или тайного монашеского ордена. Это был одновременно и религиозный союз, и политический клуб, и научное общество, члены которого обязывались вести так называемый *пифагорейский образ жизни*. Быстро завоевав в Кротоне широкую известность, пифагорейский союз стал центром духовной и общественной жизни полиса.

Чем же объясняется феноменальная популярность Пифагора в Кротоне? Прежде всего, конечно, незаурядными личностными качествами философа вкупе с ореолом вечного странника и, возможно, мученика. Но не только сила личности и мудрость Пифагора, но и высокий нравственный потенциал проповедуемых им идей привлекали к нему единомышленников.

«Для всех: и для многих, и для немногих, — было у него на устах правило: беги от всякой хитрости, отсекай огнем, железом и лю-

бым орудием от тела — болезнь, от души — невежество, от утробы — роскошество, от города — смуту, от семьи — ссору, от всего, что есть, — неумеренность».

«Вещей, к которым стоит стремиться и которых следует добиваться, есть на свете три: во-первых, прекрасное и славное; во-вторых, полезное для жизни; в-третьих, доставляющее наслаждение. Наслаждение имеется в виду не пошлое и обманчивое, но прочное, важное, очищающее от хулы».

Эти два отрывка из «Жизни Пифагора» Порфирия рисуют высокий нравственный облик великого эллина. Этические правила, завещанные Пифагором ученикам, были собраны в своеобразный моральный кодекс пифагорейцев, названный «Золотые стихи». Вот некоторые из дошедших до нас строк из этого сборника:

Через весы не шагай (т. е. не нарушай справедливости).

Огня ножом не вороши (т. е. не задевай гневных людей).

Не ешь сердца (т. е. не подтачивай душу страстями или горем).

Уходя, не оглядывайся (т. е. перед смертью не цепляйся за жизнь).

Будь с теми, кто ношу взваливает, а не с теми, кто ее сваливает (т. е. живи не праздно, а в труде).

Есть две поры, учил Пифагор, наиболее подходящие для размышлений: когда идешь ко сну и когда пробуждаешься ото сна. Поэтому день пифагорейцу надлежало заканчивать стихами:

Не допуская ленивого сна на усталые очи,

Прежде чем на три вопроса о деле дневном не ответишь:

Что я сделал? чего не сделал? и что мне осталось сделать?

и начинать со стихов:

Прежде чем встать от сладостных снов, навеваемых ночью,

Думой раскинь, какие дела тебе день приготовил.

Следуя правилам учителя, пифагорейцы вставали до восхода солнца и шли на морской берег встречать рассвет. В утренней прохладе обдумывали они труды предстоящего дня, делали гимнастические упражнения и принимали завтрак. Сам Пифагор в эти часы часто успокаивал душу игрой на лире и пением стихов Гомера. Пифагорейцы с равным усердием заботились и о физическом, и о духовном развитии. Именно у пифагорейцев родился термин *калокагатия* (от греч. *καλόν* — прекрасное и *ἀγαθόν* — добро), обозначавший греческий идеал человека — гармонию эстетических (прекрасное) и этических (добро) начал.

Даже философия являлась для Пифагора не просто абстрактным любомудрием, но и особой системой жизненных правил. Лю-

бовь к мудрости должна была охватывать не только ум, но и все существо философа, подчиняя его себе и делая его аристократом духа. Эта мысль нашла прекрасное выражение в одной из сентенций Пифагора: «Одни приходят на Олимпийские игры, чтобы состязаться, другие, чтобы покупать и продавать, а третьи, чтобы смотреть, — это люди высшей категории».

Кстати, и изобретение термина *философия* традиция приписывает Пифагору, видевшему себя не обладателем истины, а лишь человеком, стремящимся к ней как к недостижимому идеалу. Поэтому Пифагор утверждал, что он не есть воплощение мудрости — мудрец (софос), а лишь любитель мудрости — любомудр (философ) (от греч. φίλος — поклонник, любитель и σοφός — мудрец).

Но вместе с тем было в учении Пифагора и много мистического, туманного и недоступного не только для нас, но и для его современников. Например, учение о бессмертии души, о посмертном переселении души человека в животных, о том, «что все рожденное вновь рождается через промежутки времени, что ничего нового на свете нет и что все живое должно считаться родственным друг другу». Уже современник Пифагора поэт и философ Ксенофан подверг это учение язвительной критике.

Само учение Пифагора было окружено тайной, оно не подлежало разглашению и, видимо, не записывалось. Поэтому неудивительно, что не сохранилось ни одной строки из трудов Пифагора. Более того, в те времена считалось обычным приписывать учителю результаты открытий учеников, и по прошествии времени стало невозможным определить, что сделал в науке Пифагор, а что его ученики и последующие пифагорейцы. Споры вокруг «пифагорейского вопроса», начатые еще Аристотелем, не прекращаются вот уже третье тысячелетие, и сегодня принято вместо слов «учение Пифагора» говорить осторожнее — «пифагорейское учение», «пифагореизм».

Ритуал посвящения в члены пифагорейского братства также был окружен множеством таинств, разглашение которых сурово каралось. «Когда к нему приходили младшие и желающие жить совместно, — рассказывает Ямвлих, — он сразу не давал согласия, а ждал, пока их не проверит и не вынесет о них своего суждения». Но и попав в Орден, новички могли только из-за занавеса слушать голос Учителя, видеть его самого разрешалось только после нескольких лет очищения музыкой и аскетической жизнью.

За 1000 лет античной традиции немногие достоверные сведения о Пифагоре обросли множеством легенд, сказок и небылиц,

которые в новое время даже породили несерьезное отношение к Пифагору как к исторической личности. Легенды наперебой объявляли Пифагора чудотворцем; сообщали, что у него было золотое бедро; что люди видели его одновременно в двух разных городах говорящим со своими учениками; что однажды, когда он с многочисленной свитой переходил реку и заговорил с ней, река вышла из берегов и громко, сверхчеловеческим голосом воскликнула: «Да здравствует Пифагор!»; что он предсказывал землетрясения, останавливал повальные болезни, отвращал ураганы, укрощал морские волны и т. д. Надо сказать, что рождению этих мифов потворствовал и сам Пифагор, часто называвший себя *сыном бога Аполлона*.

Смерть Пифагора также окружена красивыми легендами. Сказано, что нет пророка в отечестве своем: пифагорейский союз просуществовал недолго и к концу VI в. до н. э. подвергся кровавой расправе. Пифагорейцы бежали из Кротона в другие города, что во многом способствовало распространению учения Пифагора по всей Элладе и даже за ее пределами. По одной из легенд, дом в Кротоне, где Пифагор собирался с учениками, был подожжен неким Килоном в отместку за то, что Пифагор не принял его в свое братство. Преданные друзья бросились в огонь и проложили в нем дорогу Учителю, чтобы по их телам, как по мосту, он вышел из огня. Друзья погибли, а сам Пифагор, спасенный столь дорогой ценой, затосковал и лишил себя жизни. Случилось это около 500 г. до н. э.

Много еще различных легенд можно рассказать о Пифагоре. Но главное чудо, прославившее в веках имя великого эллина, состояло в другом: Пифагор первым открыл человечеству могучий инструмент абстрактного знания. Он стал первым, кто советовал ученикам переходить от изучения «телесного», т. е. физических объектов, которые никогда не находятся в одном и том же состоянии, к изучению «бестелесного», т. е. к изучению абстрактных математических объектов, дарующих человеку вечные непреходящие истины. Поэтому математика у Пифагора становится орудием познания мира. А за ней следует и философия, ибо философия есть не что иное, как распространение специального (в данном случае математического) знания на область мировоззрения. Так рождается знаменитый пифагорейский тезис *«все есть число»* — кредо всей философии Пифагора. Так в недрах пифагорейского союза рождаются математика и философия.

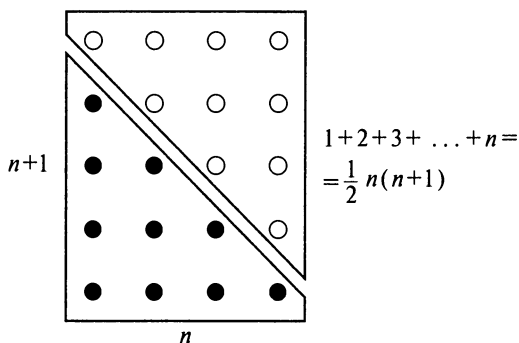
Термин «математика» также восходит к Пифагору. Пифагорейская система знаний — *μαθηματικά* — состояла из четырех разделов: арифметики (учения о числах), геометрии (учения о фигурах),

музыки (учения о гармонии) и астрономии (учения о строении Вселенной). С тех пор все четыре ветви пифагорейского учения стали объединяться одним словом — «матема» (греч. μάθημα — учение, знание), или «математика».

Поистине удивительно, что система знания и образования, заложенная Пифагором, просуществовала не просто века, а тысячелетия! И через 1000 лет, когда пал Рим, а вместе с ним и античная культура, данная система оставалась незабываемой. И через 2000 лет, в эпоху средневековья, *квадривиум* (лат. quadrivium — четырех-путье, пересечение четырех дорог) являлся расширенным курсом светского образования и объединял все те же четыре предмета: арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Средневековые монахи предпослали *квадривиуму тривиум* (лат. trivium — трех-путье, перекресток трех дорог) — начальный курс образования, состоявший из трех гуманитарных дисциплин: грамматики, риторики и диалектики. Тривиум вместе с *квадривиумом* соединялись в знаменитые *семь свободных искусств* — систему средневекового образования, которую только с наступлением эпохи Возрождения заменила классическая система образования.

Какой вклад внесли пифагорейцы в математику? Начнем с арифметики, где с пифагорейцами связывают идею *фигурных чисел*, т. е. идею представления чисел камешками, разложенными на песке в виде правильных геометрических фигур. Такое наглядное изображение чисел помогало увидеть (именно увидеть глазами!) многие числовые закономерности, например, найти сумму n натуральных чисел.

От фигурных чисел, представляемых в форме квадрата или куба, родилось выражение «возвести число в квадрат или куб». Вер-



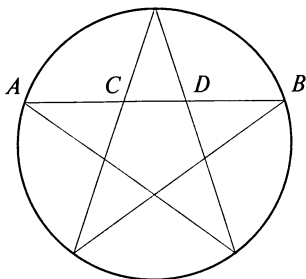
Фигурное представление суммы n натуральных чисел как половины прямоугольного числа $n(n+1)$

шиной пифагорейского учения о числе явилось нахождение алгоритма получения *совершенных чисел*, т. е. чисел, равных сумме всех своих делителей, кроме самого числа. Этот алгоритм в современных обозначениях имеет вид: если $p = 2^{n+1} - 1$ — простое число, то $q = 2^n(2^{n+1} - 1)$ — совершенное число. Пользуясь этим алгоритмом, пифагорейцы нашли первые четыре совершенных числа $q = 6, 28, 496, 8128$, соответствующих значениям $n = 1, 2, 4, 6$.

Но самое удивительное — до сих пор не обнаружено никакой другой формулы построения совершенных чисел, и до сих пор не удалось доказать, что никаких других совершенных чисел нет! Остается загадкой и то, каким образом сумели пифагорейцы в невинной, казалось, забаве с раскладыванием камешков на песке разглядеть математическую проблему, которая и по сей день ждет решения?!

Не меньших результатов достигли пифагорейцы и в геометрии. С именем Пифагора связывают доказательство теоремы *о сумме внутренних углов треугольника, изобретение геометрических способов решения квадратных уравнений*. Особое внимание пифагорейцы уделяли изучению правильных фигур и тел, которые благодаря своей «правильности», т. е. наличию многих типов симметрии, как нельзя более отвечали всей пифагорейской философии о закономерном и гармоничном устройстве мироздания. Пифагору приписывают доказательство теоремы о возможности покрытия плоскости только тремя правильными фигурами: треугольниками, квадратами и шестиугольниками. Некоторые античные авторы утверждают, что Пифагор знал и все пять правильных тел — тетраэдр, гексаэдр (куб), октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

Особое внимание пифагорейцы уделяли *пентаграмме* — пятиконечной звезде, образованной диагоналями правильного пятиугольника. В пентаграмме пифагорейцы обнаружили все известные в древности пропорции: арифметическую, геометрическую, гармоническую, а также знаменитую золотую пропорцию, или *золотое сечение*. Совершенство математических форм пентаграммы находит отражение в совершенстве ее формы. Пентаграмма пропорциональна и, следовательно, красива. Видимо, именно благодаря совершенной форме и богатству математических свойств пентаграмма была выбрана пифагорейцами в качестве символа здоровья и тайного опознавательного знака. С легкой руки пифагорейцев пятиконечная звезда и сегодня является символом многих государств и реет на флагах едва ли не половины стран мира.



$$AD = \frac{AB + CD}{2} \quad \text{— арифметическое среднее}$$

$$AD = \sqrt{AB \cdot AC} \quad \text{— геометрическое среднее}$$

$$AC = \frac{2AB \cdot CD}{AB + CD} \quad \text{— гармоническое среднее}$$

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AD}{DB} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \quad \text{— золотое сечение}$$

Пропорции пифагорейской пентаграммы

Самым популярным открытием Пифагора в геометрии является, безусловно, доказательство знаменитой теоремы, носящей его имя: квадрат, построенный на гипотенузе прямоугольного треугольника, равновелик сумме квадратов, построенных на его катетах. И хотя сегодня «теорема Пифагора» обнаружена в различных частных задачах и чертежах — в «египетском» треугольнике в папирусе времен фараона Аменемхета I (ок. 2000 до н. э.), и в вавилонских клинописных табличках эпохи царя Хаммурапи (XVII в. до н. э.), и в древнем китайском трактате «Чжоу-би суань цзинь», и в древнеиндийском геометрическо-теологическом трактате «Сутьва сутра» (XII—V вв. до н. э.), — сегодня принято считать, что Пифагор дал первое доказательство этой теоремы.

Таким образом, мы подошли к важнейшему научному достижению Пифагора — *введению доказательства в геометрию*. Строго говоря, только с этого момента математика начинает существовать как дедуктивная наука, а не как собрание древнеегипетских и древневавилонских практических рецептов. Гениальная догадка Пифагора (или его учеников) состояла в том, что в геометрии можно установить конечное число идеальных объектов (точки, линии, поверхности) и конечное число первоначальных истин об этих объектах (аксиом), из которых с помощью логических правил можно получить неограниченное число геометрических истин (теорем). Так, в геометрии на рубеже VI—V вв. до н. э. впервые возник аксиоматический метод построения науки, а уже в III в. до н. э. в «Началах» Евклида грандиозная программа аксиоматизации геометрии была полностью завершена!

Не менее грандиозным открытием Пифагора в математике является и открытие несоизмеримости, т. е. обнаружение таких величин, отношение которых не может быть выражено с помощью от-

ношения целых чисел. Это первый в истории науки чисто теоретический результат, который невозможно получить с помощью опыта. Скорее всего, попытки найти общую меру для стороны и диагонали квадрата привели пифагорейцев к столь революционному решению, стоящему в одном ряду с открытием дифференциального и интегрального исчисления Ньютоном и Лейбницем в XVII в., открытием неевклидовой геометрии Лобачевским в XIX в. или теории относительности Эйнштейном в начале XX в.

В астрономии у Пифагора нет столь блистательных результатов. Это и понятно, поскольку научным методом Пифагора являлась дедукция. Но только через 2000 лет, с открытием законов движения и тяготения Ньютоном, астрономия перешла в разряд дедуктивных наук, после чего стало возможным потрясающее воображение открытие за письменным столом планеты Нептун Джоном Адамсом и Урбенем Леверье.

Пифагорейская астрономия была чисто умозрительной. Она парила на крыльях поэтических фантазий, не отягощая себя грузом эмпирических обобщений, как вавилонская. Тем не менее пифагорейцам принадлежат три блестящие гипотезы: о шарообразности Земли; о кругообразной форме траекторий планет; гипотеза о том, что Земля не является центром мироздания, а наравне с другими планетами совершает круговое движение. Характерно, что к первым двум гипотезам пифагорейцев привел тезис о гармоничном устройстве мироздания. Пифагор считал самой совершенной линией окружность, а самым совершенным телом — шар, и он не мог видеть иными траектории планет и их форму. Мир создан по законам красоты — вера в данный постулат и привела Пифагора к верным астрономическим догадкам.

Не менее значительной оказалась и третья гипотеза Пифагора. И хотя пифагорец Филолай в центре мироздания помещал некий загадочный Центральный огонь, его космологическая модель является прообразом гелиоцентрической системы мира. Примечательно, что и через 2000 лет в своем бессмертном труде «Об обращении небесных кругов» великий Коперник ссылаясь на авторитет великого Пифагора как автора доктрины о движении Земли.

Но самое замечательное открытие Пифагор совершил, возможно, в музыке. Согласно преданию, сам Пифагор обнаружил, что приятные слуху созвучия — *консонансы* — получаются лишь в том случае, когда длины струн, издающих эти звуки, относятся как целые числа первой четверки, т. е. 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4. Кроме того, чем меньше число n в отношении $\frac{n}{n-1}$ ($n = 1, 2, 3$), тем созвучнее ин-

тервал. Это был одновременно и физический, и эстетический закон, имеющий математическое выражение.

Сделанное открытие потрясло Пифагора. Еще бы, столь эфемерное физическое явление, как звук (или приятное созвучие), поддавалось числовой характеристике! Именно данное открытие впервые указывало на существование числовых закономерностей в природе, и именно оно послужило отправной точкой в развитии пифагорейской философии, в формировании основного ее тезиса «все есть число». Поэтому день, когда Пифагор открыл закон консонансов, немецкий физик А. Зоммерфельд назвал *днем рождения математической физики*.

Идея музыкальных соотношений вскоре обрела у пифагорейцев «космические масштабы» и переросла в идею всеобщей, или мировой, гармонии. Согласно пифагорейской космологии, Солнце, Луна и другие планеты располагались на небесных сферах и совершали вместе с ними круговые вращения. Тогда, как и все движущиеся тела, вследствие трения об эфир они издавали звуки, которые соединялись в музыкальные созвучия. Таким образом рождалась чудесная музыка — «мировая музыка», или «гармония сфер» — музыка, без которой мир распался бы на части.

Учение о музыке сфер — самый поэтичный и самый мистический мотив всей пифагорейской математики. Восхищение открытым Пифагором *законом целочисленных отношений в музыке* было весьма велико. Учение о музыке сфер пережило тысячелетия, оно звучало на тысячи голосов, начиная от самого Пифагора и вплоть до «Гармонии мира» Иоганна Кеплера, написанной в XVII в.

Итак, число становится основой пифагорейской философии. Этим философия Пифагора и его школы резко отличается от философии Фалеса и ионийской школы, стремившейся свести все сущее к той или иной материальной стихии. Как отмечает Гегель, по сравнению с ионийской философией «пифагорейская философия представляет собой переход от реалистической философии к интеллектуальной». Первооснову всего сущего пифагорейцы стали понимать не как природную форму, а как форму определения мысли. И это стало первым шагом от стихийного материализма ионийской школы к объективному идеализму Платона.

Таким образом, впервые в истории человеческой мысли обратившись не к материальным стихиям мироздания, а к их геометрической структуре и арифметическим отношениям, пифагорейцы предвосхитили возникновение математического естествознания, стремительное развитие которого стало символом XX в.

«Но то ли по счастливому стечению обстоятельств, то ли благодаря гениальной интуиции пифагорейцам удалось сформулировать два тезиса, общезначимость которых подтвердило все последующее развитие науки: во-первых, основополагающие принципы, на которых зиждется мироздание, можно выразить на языке математики; во-вторых, объединяющим началом всех вещей служат числовые отношения, которые выражают гармонию и порядок природы». Так определил роль Пифагора в истории естествознания современный американский математик и историк науки М. Клайн. Пифагор более чем за 2000 лет предвосхитил возникновение математического естествознания, и в этом состоит его величайший вклад в сокровищницу мировой науки.

Эвристическое (от Архимедовой «Эврики») свойство математики, позволяющее делать физические открытия «на кончике пера», со времен Пифагора вызывает восторженный трепет у естествоиспытателей. «Чудесная загадка соответствия математического языка законам физики является удивительным даром, который мы не в состоянии понять и которого мы, возможно, недостойны», — восторженно писал об этом свойстве математики, открытом Пифагором, наш современник, лауреат Нобелевской премии по физике Юджин Вигнер.

Бессмертна и идея Пифагора о всеобщей гармонии, лежащей в основе мироздания. Заложенная Пифагором вера в красоту и гармонию Природы, в мудрую простоту и целесообразность ее законов, основанных на единых математических принципах, окрыляла творчество титанов естествознания от Иоганна Кеплера (1571—1630) до Альберта Эйнштейна (1879—1955).

Но отнюдь не безоблачным был путь Пифагора к признанию. Град насмешек и тень недоверия неизменно преследовали и самого философа, и его учение. И среди тех, кто первым обрушил на Пифагора потоки злой иронии, был его младший современник Гераклит.



ГЕРАКЛИТ

(ок. 544/541 до н. э. — ?)

Все течет, все меняется.

Среди тех, кто первым обрушил на Пифагора потоки злой иронии, был его младший современник Гераклит. «Пифагор, сын Мнесарха, предавался исследованию больше всех прочих людей и мудрость свою состряпал из многозначства и обмана». Откуда такой сокрушающий отзыв о человеке, которому поклонялись толпы учеников и которого при жизни почитали за полубога? Чтобы понять это, надо понять жизнь и судьбу самого Гераклита.

Происходил Гераклит из свергнутого царско-жреческого рода Кодридов. Если бы судьба распорядилась иначе, то он должен был стать царем в Эфесе — втором после Милета ионийском городе, славящемся своими богатствами и художественными сокровищами. Но власть греческой аристократии к концу VI в. до н. э. безнадежно трещала под натиском пробуждающихся демократических сил, и ее не смогли восстановить ни лидийцы, ни персы. В этих условиях Гераклит проявил присущую мудрецу дальновидность и уступил царский сан своему брату. Сам же наследник эфесского престола удалился от общества и нашел убежище в храме Артемиды Эфесской. На ступенях храма Гераклит демонстративно играл с эфесскими мальчишками в бабки, а на упреки окружавших его горожан отвечивал: «Чему дивитесь, негодяи? Разве не лучше так играть, чем управлять в вашем государстве?»

Тем временем, пока Гераклит играл с мальчишками, над Эфесом нависла смертельная опасность. К концу VI в. до н. э. вся Малая

Азия оказалась под владычеством персов, чьи земли распростерлись от Геллеспонта до Индии и от Нила до Черного и Каспийского морей. Ни олицетворявший богатство царь Лидии Крез, ни египетский фараон Амасис, умерший накануне вторжения персов, ни свободолюбивая Иония не смогли противостоять всепожирающему Молоху империи Ахеменидов. Попытка ионийских городов зимой 500/499 г. до н. э. поднять восстание против персов окончилась катастрофой. Милет — застрельщик Ионийского восстания — был безжалостно уничтожен. После чего полчища Дария осадили Эфес.

Персы хорошо знали, что эфесцы предоставляли свою гавань ионийскому флоту, кормили восставших и даже дали проводников в поход на Сарды, сожженные восставшими. Пробил час расплаты, мужество покинуло эфесцев. Два дня и две ночи, пока персы стояли у стен города, в Эфесе бушевал настоящий пир во время чумы. Эфесцы трусливо топили свой страх в вине, предавались разгулу и разбою, сводя последние счета с жизнью. Но вот на третью ночь осады пятна костров, окружавших город, рассыпались в зажженных факелах на мириады огненных брызг, заколыхались, забурили в ночной тьме и растворились на горизонте вместе с первыми лучами солнца. Персы неожиданно сняли осаду и ушли.

Большинство историков сходятся в том, что Гераклит спас Эфес от неминуемой гибели. Призванный своим другом Гермодором, бывшим в то время тираном* Эфеса, Гераклит вместе с ним вышел навстречу Дарию и провел в его стане успешные переговоры. Город был спасен. По всей видимости, мудрость Гераклита произвела на Дария глубокое впечатление, и вскоре эфесский мудрец получил от персидского царя официальное приглашение, текст которого сохранил для нас Диоген Лаэртский.

«Царь Дарий, сын Гистаспа, Гераклиту, мужу эфесскому, шлет привет. Тобою написана книга “О природе”, трудная для уразумения и для толкования. Есть в ней места, разбирая которые слово за словом, видишь в них силу умозрения твоего о мире, о Вселенной и обо всем, что в них вершится, заключаясь в божественном движении; но еще больше мест, от суждения о которых приходится воздерживаться, потому что даже люди, искушенные в словесности, затрудняются верно толковать написанное тобой. Посему царь Дарий, сын Гистаспа, желает приобщиться к твоим беседам и эллинскому образованию. Поспешай же приехать, дабы лицезреть меня в

*Тиран — в Древней Греции и средневековых городах-республиках Италии лицо, насильственно захватившее власть.

моем царском дворце. Эллины, я знаю, обыкновенно невнимательны к своим мудрецам и пренебрегают прекрасными их указаниями на пользу учения и знания. А при мне тебя ждет всяческое первенство, прекрасные и полезные повседневные беседы и жизнь, согласная с твоими наставлениями».

Гордый эфесец, остававшийся самим собой, дал грозному персидскому царю следующий ответ.

«Гераклит Эфесский царю Дарию, сыну Гистаспа, шлет привет. Сколько ни есть людей на земле, истины и справедливости они чуждаются, а прилежат в дурном неразумении своем к алчности и тщеславию. Я же все дурное выбросил из головы, пресыщения всяческого избегаю из-за смежной с ним зависти и по отвращению к спеси. Потому и не приеду я в персидскую землю, а буду довольствоваться немногим, что мне по душе».

Гераклит имел еще одну причину помогать Гермодору. С пришествием Гермодора к власти Гераклит связывал надежды на нравственное обновление эфесцев. Великий мудрец простодушно полагал, что вместе с другом им удастся вырвать эфесцев из объятий порока, праздной лени и склонности к изнеженной роскоши и возродить в городе древний «Кодекс чести» — систему нравственных принципов, включающих положения о праведном и умеренном образе жизни, о воинской доблести, о стремлении к гражданскому миру. Увы, по прошествии двух с половиной тысячелетий мы можем констатировать, что Гераклит возглавил длинный список подвижников, безуспешно пытавшихся переустроить нравственный облик рода человеческого.

Итак, эфесцы не вняли ни своему тирану Гермодору, ни своему мудрецу Гераклиту. Более того, вскоре они изгнали из города Гермодора, надоевшего им проповедями. Гнев Гераклита не имел границ: «Поделом бы эфесцам, чтобы взрослые у них все передохли, а город оставили недоросткам, ибо выгнали Гермодора, лучшего меж них, с такими словами: “Меж нами никому не быть лучшим, а если есть такой, то быть ему на чужбине и с чужими”».

С годами озлобление Гераклита против всех и вся приняло гипертрофированные формы. Гераклит щедро разбрасывает пригоршни насмешек и оскорблений современникам и предшественникам: «Многоснайство уму не научает, иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, да еще Ксенофана и Гекатея». Досталось даже Гомеру, обожаемому со священным трепетом каждым эллином. Слепому патриарху античной культуры, по словам Гераклита, «поделом быть выгнану с состязаний и высечену» — таковому наказа-

нию подвергались атлеты, уличенные в плутовстве. В данном контексте становится понятной и оценка Пифагора, с которой мы начали наш рассказ о Гераклите.

Но если к мыслителям и поэтам Гераклит обращается либо с желчным уничижением, либо с равнодушным неприятием, то сколь велико должно быть его презрение к народной массе! Толпа для Гераклита либо «подобна псам, лающим на того, кого они не знают», либо «подобна быкам, находящим счастье свое в пожирании гороха». В перепалках с толпой на ступенях храма Артемиды или в толчее эфесской агоры* неумный сарказм Гераклита оттачивался в обоюдоострую форму: «Ослы солому предпочитают золоту». «Всякое животное направляется к корму бичом». Надо сказать, что сами эфесцы давали Гераклиту повод для его неистовства. Уже более полувека Иония находилась под гнетом персов, однако, кроме оказания слабой помощи восставшим милетянам, эфесцы практически ничего не предприняли для обретения свободы. Утрата национальной независимости не укрепила, а, напротив, размягчила дух эфесцев. Сograждане Гераклита погрязли в мелких страстях и низменных пороках, что не могло не возмущать непримиримого общественного судию, каким являлся эфесский мудрец. Если Гераклит действительно единолично спас Эфес от персидского разорения, то легко догадаться, сколь тяжело было ему видеть царившую вокруг общественную апатию и падение нравов. В данном случае человеконенавистнические ноты в его речах можно легко понять.

Сколь щедро бросал Гераклит обвинения толпе, столь неудержимо расточал он дифирамбы в адрес яркой индивидуальности, интеллектуальной и нравственной элиты общества. Здесь аристократический дух Гераклита вздымался во весь могучий рост:

Один для меня есть десять тысяч — если он наилучший.

Лучшие люди предпочитают одно:

вечную славу всему тленному.

В жизни они стремятся к истине

и после смерти обретают бессмертие.

И вновь в речах Гераклита возвеличивание индивидуума, так что «повиновение воле одного есть закон», перемежается с бранью в адрес толпы, вобравшей в себя «много дурных, мало хороших», неспособной выслушать, высказать, выставляющей напоказ собст-

* А г о р а — народное, судебное или военное собрание свободных граждан. Позднее агорой стала называться площадь для проведения собраний, игравшая роль центра городской общественной жизни.

венное невежество. Не помогает ей и обучение, да и само рождение ее есть сплошное несчастье. Гераклит беспощадно бичует человеческие слабости, людскую наглость, которую нужно «тушить скорее, чем пожар», и которую он называет падучей болезнью.

Надо полагать, что в словесных баталиях с Гераклитом эфесцы также за словом в карман не лезли. В любом случае жизнь Гераклита среди людей стала невыносимой. Доверив жрецам храма Артемиды труд своей жизни — трактат «О природе», он удаляется из Эфеса в горы. Здесь в тени лесистых долин и на просторе высокогорных лугов, доступных лишь Солнцу, Небу и Ветру, и жил философ среди диких коз, питаясь дикими растениями. Добровольный изгнанник неспешно блуждал по склонам, где в горной вышине и в гордом одиночестве парил над долинами мятежный его дух. Гераклит чурался встреч даже с пастухами, да и сами соотечественники избегали свиданий на узких козьих тропах с надменным и мрачным мудрецом.

Шли годы. В повседневных заботах забывались обиды, и постепенно стало забываться имя странного старика, который целыми днями бродил среди гор. Все чаще его подлинное имя стали заменять прозвищами: Темный — за странный образ жизни и малопонятное учение или Плачущий — за скорбный облик отшельника. Со временем эти эпитеты прочно срослись с именем Гераклита.

Никто не знал, сколь долго блуждал Гераклит среди гор. Но однажды он заболел и вынужден был вернуться к людям. По свидетельству Диогена Лаэртского, Гераклит заболел водянкой. Он возвратился в родной Эфес и обратился к врачам с загадкой: могут ли они обернуть многодождее засухой? Врачи не поняли иносказания мудреца, а говорить по-простому он уже не мог. Тогда Гераклит занялся лечением самостоятельно. Он закопался в бычьем хлеву, надеясь теплотою навоза испарить дурную влагу. Однако данный способ не принес Гераклиту облегчения, и вскоре он умер.

Согласно другой версии, врачи отказались лечить Гераклита. Тогда он лег на солнце и велел рабам обмазать тело его навозом с той же лечебной целью. Так он пролежал два дня, но облегчения не почувствовал. Однако потом не смог очиститься от навоза и стал добычей собак, которые и растерзали старца.

Увы, трагический конец Гераклита является в какой-то мере закономерным для человека, противопоставившего себя обществу. Мудрецы в Элладе пользовались безмерным и неизменным уважением. В каждом греческом полисе был свой мудрец, как и свой бог. Мудрец являлся посредником между богами и горожанами. Он

толковал знамения, разглядывая в них волю богов, участвовал в разрешении споров, составлении законов, да и вообще во всех значительных событиях полиса. К несчастью, вздорный характер Гераклита сделал для него все эти радости невозможными. На исходе жизни Гераклит оказался совсем один, и даже год его смерти остался неизвестным.

Таковы немногие сведения, известные нам из биографии Гераклита. Да и сама жизнь эфесского мудреца, по-видимому, оказалась скупа на внешние события. Зато необычайно богатым был внутренний мир Гераклита, и это богатство сохранилось для нас в его философском наследии. В отличие от семи мудрецов, бывших государственными людьми и владевших мудростью «по долгу службы», в отличие от пифагорейцев, которых к занятиям математикой обязывал устав их союза, Гераклит был не только первым «чистым» ученым-философом, т. е. человеком, не владевшим ни одним специальным знанием, а бравшимся судить обо всем, но и первым ученым, проявившим самостоятельный и бескорыстный интерес к науке.

Начиная от античности и вплоть до наших дней имя Гераклита остается одним из популярнейших в истории философии. Философы самых разнообразных и противоположных направлений считали своим долгом не только высказаться о Гераклите, но и причислить его к своему лагерю. Гераклита объявляли эмпириком и сенсуалистом, рационалистом и метафизиком, материалистом и даже экзистенциалистом. С ним полемизировали Платон и Аристотель, его цитировали стоики и первые христианские отцы церкви, его поднимали на щит теологи и мистики. Даже Ницше — безудержный ниспровергатель авторитетов — признавался, что чувствовал себя теплее и уютнее только вблизи Гераклита.

В 1961 г. по рекомендации Всемирного Совета Мира отмечалось 2500-летие со дня рождения Гераклита. Подобный юбилей в истории, например, города вызывает глубокое уважение, но применительно к человеку подобная дата просто не умещается в сознании. Насколько невероятным должен быть взлет человеческого гения, чтобы имя его не стиралось в тысячелетней истории человечества!

Но почему Гераклита поднимали на щит практически все философы самых противоположных направлений? Дело даже не в том, что от главного труда Гераклита «О природе» сохранилось немногим более ста фрагментов, да и то в пересказе более поздних авторов, сколько в своеобразном образе мышления и стиле Гераклита, действительно туманном и неоднозначном. По этой-то причине Гераклита и прозвали Темным. Позднее Сократ, обожавший ясные и точные оп-

ределения, был озадачен замысловатыми высказываниями эфесского мудреца и, прочитав Гераклитово сочинение, сказал: «То, что я понял, превосходно. Думаю, что таково же и то, чего я не понял».

«Темноту» Гераклитова стиля объясняли по-разному: Аристотель — небрежностью изложения, Цицерон и Диоген Лаэртский — умышленным желанием оградить свой труд от праздного любопытства толпы, Плотин — стремлением заставить читателя самостоятельно потрудиться над объяснением природы. Подобные толкования «темноты» Гераклита, разумеется, недостаточны.

Главная причина, на наш взгляд, заключалась в другом: Гераклит первый из философов осуществлял титаническую работу по переходу от мифологического мировоззрения к философскому. Но новое мировоззрение и его научная оболочка — философия — требовали и нового языка. И здесь перед Гераклитом возникают неожиданные трудности: «сквозь магический кристалл» гигантской интуиции он угадывает новое философское содержание, но с трудом находит для него адекватные формы в арсенале образного поэтического языка. В этом несоответствии между философским содержанием и поэтической формой, в которую оно было облечено, по-видимому, и заключается главная причина «темноты» Гераклита. Зато там, где данное соответствие все-таки достигалось, мы видим во всем блеске сияние Гераклитовых метафор, мы ощущаем бездонную глубину Гераклитовых обобщений и обжигающую остроту Гераклитовой мысли, мы слышим торжественный, энергичный, вдохновенный и пророческий гимн рождающейся новой науке — философии — гимн, сложенный Гераклитом.

Была, конечно, и сугубо личная причина Гераклитовой «темноты». Уверовав в то, что его словами глаголет Логос — Вселенский Разум, Гераклит без тени сомнения следовал страстному и загадочному языку Сивилл* и Пифий. Пафос и таинство — это ски-

* Сивиллы — полумифические женщины-прорицательницы. Как и дельфийские Пифии, Сивиллы в экстатическом состоянии предсказывали будущее в нарочито двусмысленной форме, а их ответы толковались жрецами. Культ Сивилл от греков перешел к римлянам, у которых наибольшей известностью пользовалась Куманская Сивилла. По преданию, она предложила римскому царю Тарквинию Гордому купить у нее девять Сивиллиных книг, написанных на пальмовых листьях. Когда царь отказался, пророчица сожгла три книги, затем повторила свое предложение и при повторном отказе сожгла еще три. Уцелевшие три книги царь все-таки купил по совету авгуров, и они хранились в храме Юпитера на Капитолии. Содержание Сивиллиных книг представляло собой причудливое нагромождение греко-римских, иудейских и христианских верований, афоризмов и пророчеств.

петр и держава, вложенные в руки Гераклита Сивиллой и Пифией, о чем свидетельствуют два фрагмента из творений самого Гераклита: «Сивилла вдохновенными устами вещает мрачное, неприкрашенное и непримазанное и, побуждаемая божеством, пророчествует сквозь тысячелетия» и «Владыка, чье прорицалище находится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает». Данные высказывания можно смело поставить эпиграфами ко всему философскому наследию Гераклита.

Гераклит по праву считается крупнейшим материалистом и диалектиком Эллады. Как материалист, Гераклит продолжил традиции философской школы родной Ионии, полагая, что в основе мироздания лежит конкретный вид материи. Однако в качестве данного материального первоначала всего сущего Гераклит берет не воду, как Фалес, не воздух, как Анаксимен, и не бескачественный апейрон, как Анаксимандр, а огонь — стихию наиболее легкую и подвижную*. Путем сгущения, по Гераклиту, из огня появляются все вещи — и вода и воздух, и земля, и любое тело и вещество, а путем разряжения в огонь же возвращаются. «Все обменивается на огонь, и огонь — на все, подобно тому, как золото обменивается на товары, а товары на золото». Этот мировой огонь «мерами вспыхивает и потухает», так что «из огня все рождается и в огне все в конце концов уничтожается». Таким образом, мир, по Гераклиту, пребывает в вечном движении: либо он целиком воспламеняется и достигает таким образом совершенства, либо постепенно угасает, обращаясь во мрак и небытие, чтобы затем вновь разгореться и вновь прийти к совершенству. Не правда ли, это очень напоминает самую современную теорию пульсирующей Вселенной?!

Поскольку мир, по Гераклиту, есть форма существования первоогня — вечно движимого и вечно активного, то и материя, как одна из ипостасей первоогня, неотделима для Гераклита от энергии и по сути своей есть форма существования энергии. Подобные воззрения на мироздание — самые передовые, свидетельством тому служит мнение одного из творцов современной физики Вернера

* Не прошло и полувека, как еще один мудрец Эллады, Эмпедокл (ок. 490 — ок. 430 до н. э.), пытаясь разрешить трудности объяснения с помощью одного первоначала всего многообразия вещей и событий, царским жестом примирил эти теории и выдвинул идею о четырех элементах мироздания — земле, воде, воздухе и огне. Еще через столетия Платон развил данное учение, дополнив четыре стихии Эмпедокла пятой — мировым эфиром — и сопоставив с пятью стихиями пять правильных геометрических тел, называемых с тех пор телами Платона.

Гейзенберга: «Если заменить слово “огонь” словом “энергия”, то почти в точности высказывания Гераклита можно считать высказываниями современной науки. Фактически энергия — это то, из чего созданы все элементарные частицы, все атомы, а потому и вообще все вещи. Одновременно энергия является движущей силой. Энергия есть субстанция, ее общее количество не меняется, и, как можно видеть во многих атомных экспериментах, элементарные частицы создаются из этой субстанции. Энергия может превращаться в движение, в теплоту, в свет и электрическое напряжение. Энергию можно считать причиной всех изменений в мире».

Свое учение о мире как вечном превращении огня Гераклит обобщил в знаменитом изречении: «Этот космос, единый для всех, не создан никем из богов и никем из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, в полную меру разгорающимся и в полную меру угасающим». Заметим, что здесь же Гераклит вполне недвусмысленно отрицает и мифологическую картину мира, хотя мифологическое начало, разумеется, еще очень сильно в сознании Гераклита, и в другом месте он с пафосом восклицает: «Огонь грядущий все обоймет и всех рассудит!». Но не так ли о судном огне сказано и в Апокалипсисе: «Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем»?!

Но если мир состоит из огненной первоосновы, то она должна находиться в вечном движении и непрерывно переходить из одной формы в другую, иначе мир стал бы морем огня. Для иллюстрации этой мысли Гераклит находит образ в гончарной мастерской: «Подобно тому, как из одной и той же глины можно лепить животных, а затем смешивать и вновь лепить и смешивать, и так делать одно за другим без перерыва, точно так же природа из одной и той же материи первоначально вывела наших предков, затем непрерывно вслед за ними породила наших отцов, затем — нас, а затем снова одних за другими в круговороте будет рождать. И поток происхождения, текущий столь непрерывно, никогда не остановится, как и противоположный ему поток гибели... Из смерти земли рождается вода, из смерти воды — воздух, из смерти воздуха — огонь...»

Гениальная идея вечного движения нашла у Гераклита воплощение в гениальном образе вечно текущей реки. Вечно текущая и потому вечно новая река является для Гераклита символом и вечно обновляющегося бытия. Этот постулат о всеобщей изменчивости мира — один из краеугольных камней всей диалектики — сжат у Гераклита в знаменитые формулы: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», ибо «на входящих в ту же самую реку набегают все новые и новые воды». Впоследствии данная мысль обыгрывалась бо-

лее поздними философами, пока, наконец, не обрела у Платона чеканную форму: «Все течет, и ничто не остается на месте», и еще более выразительно и кратко: «Все течет».

Образ вечно текущего потока, в который нельзя войти дважды и в котором ничто не повторяется, в Гераклитовом мироздании приобретает космические масштабы, а в философии вырастает в универсальный принцип диалектики — учение о всеобщем становлении. Сегодня невозможно представить себе диалектики без этого учения, высоко оцененного и творцом систематической теории диалектики Георгом Гегелем.

В чем же причины вечного движения и вечного становления в мире? Гераклит находит эти причины и извлекает из них квинтэссенцию всей диалектики — учение о единстве, борьбе и гармонии противоположностей, учение, составившее ядро всего диалектического метода. Идея о раздвоении всего сущего на противоположные начала и о борьбе этих начал как источнике самодвижения мира сыграла колоссальную роль в истории человеческой мысли. Именно в противоречиях, органически присущих всем явлениям окружающего мира, и видел Гераклит истинный источник развития Вселенной. Поскольку прямое заимствование данной идеи у древнекитайских философов* представляется невероятным, следует признать, что по крайней мере в Элладе, следовательно, и во всей европейской философии концепция единства и борьбы противоположностей восходит к Гераклиту.

Развивая концепцию о раздвоении всего сущего на противоположности, Гераклит приходит к фундаментальному положению диалектики — идее единства противоположностей. Это единство может проявляться в виде непрерывного перехода из одной противоположности в другую: «холодное становится теплым, теплое холодным, влажное — сухим, сухое — влажным»; и в виде тождества противоположностей: «одно и то же в нас — живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое», «все едино: делимое —

* Имеется в виду знаменитое учение об Инь — Ян в древнекитайской философии, согласно которому из первоначально бесформенного мрака родились два начала, гармонизировавшие мир и приведшие его в движение: женское начало Инь, символизирувавшее Землю, тьму, ложь, зло, бездействие, безобразие, и мужское начало Ян, олицетворявшее Солнце, свет, добро, правду, действие, красоту. В столкновении и борьбе этих двух мировых начал, по древнекитайским воззрениям, и заключался источник жизни. Отметим, что в VI в. до н. э. в математике и философии Древнего Китая, Древней Индии и Древней Греции возникло немало поразительно схожих идей, одновременное появление которых до сего дня остается загадкой.

неделимое, рожденное — нерожденное, смертное — бессмертное», «в окружности начало и конец совпадают».

Единство противоположностей представляет собой сложный диалектический процесс становления, включающий два противоположных начала: борьбу и гармонию. Именно поэтому Гераклит утверждает, что «война есть отец всего, царь всего», «она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными». Эти слова Гераклита — отнюдь не проповедь войны, как их иногда трактуют, памятуя характер мрачного эфесца, а лишь необходимое условие становления.

Но если борьба постоянно разрушает противоположности, то гармония, напротив, постоянно их восстанавливает. В результате «расходящееся с самим собой приходит в согласие, в самовосстанавливающуюся гармонию лука и лиры». *Гармония лука и лиры* — знаменитый образ Гераклита, имевший массу толкований. Одни видели в нем единство внешних форм лука и лиры при противоположном назначении, другие — напряжение двух уравнивающих друг друга противоположных сил, третьи — символы тождества жизни и смерти (лира — инструмент, сопровождающий радости жизни, лук — орудие смерти), четвертые — атрибуты бога Аполлона и образы добра и зла.

Итак, гармония для Гераклита — внутреннее единство, согласованность противоположностей, образующих целое. «Враждующее соединяется, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию, и все происходит через борьбу». Борьба обновляет и сохраняет гармонию, не дает ей онеметь в покое, ибо покой — «свойство мертвых». Со времен Гераклита гармония понимается как важнейшее слагаемое красоты и искусства, когда «из всего единое и из единого все» образуется. Именно Гераклитово определение гармонии привело через 2000 лет итальянского ученого — гуманиста и архитектора Леона Батиста Альберти (1404—1472) к знаменитому определению красоты, которая, по Альберти, «есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединенных тем, чему они принадлежат, — такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже».

Борьба противоположностей, по Гераклиту, не есть случайный, хаотический процесс, а совершается по всеобщему закону движения, который он называет логосом. Учение Гераклита о логосе вот уже третье тысячелетие служит предметом оживленных дискуссий: религиозно-идеалистическая традиция, зародившаяся в античности, поставила это учение под свои знамена, трактуя его в качестве учения о божественной силе мира; напротив, материалистическая традиция, но менее древняя, понимает логос как необходимость и

универсальную закономерность; известны также толкования логоса как судьбы, вечности, мудрости, закона и, наконец, слова.

Любопытно, что в греческой мифологии слово «логос» означало «словоблудие», «пустые речи», тогда как «правдивые речи» назывались «мифосами». С развитием философской мысли, особенно после Гераклита, значения «логоса» и «мифоса» меняются на противоположные: «мифос» стал обозначать сказки, пустые рассказы, плоды ничем не сдерживаемых фантазий, а «логос» — разумное слово, результат логических и даже математических построений.

Как же понимал логос сам Гераклит? Для эфесского мудреца логос — это образ-понятие, разумная необходимость, всеобщий закон, который определяет все процессы окружающего мира. Логос внутренне присущ мирозданию; он вечен, ибо вечен и сам мир; он не связан природе никем из богов и никем из людей. «Сущность судьбы проявляется в логосе, который управляет всем через свою сущность».

«Не мне, но логосу внимаая...» В этих словах Гераклита с присущей ему страстью звучит убежденность в том, что логос — это непреходящий, вечный и неизменный порядок, царящий в природе, это движущая сила мироздания.

Однако Гераклитов логос не есть только чистая абстракция и не есть только объективный закон природы. Душе человека — *психе* — также присущ собственный внутренний субъективный логос. Субъективный логос человека и объективный логос мироздания едины, а в душе лучших из людей они находятся в гармонии и согласии, ибо «мышление — великое достоинство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно». И все-таки логос духовной жизни, по Гераклиту, особенно трудно постижим и доступен: «По какому бы пути ты ни шел, границ психеи не найдешь, столь глубок ее логос». Таким образом, эфесский мудрец оказался одним из первых философов, кто осознал глубину и безбрежность внутреннего мира человека, все нескончаемые кручи, завалы и пропасти, которые разверзаются перед каждым, кто осмелится приблизиться к великой тайне, скрытой в трех знаменитых древних словах «познай самого себя».

Много еще можно рассказывать о философском наследии Гераклита, вглядываясь в отдельные вершины его творчества — высокие, неприступные и часто окутанные плотной пеленой тумана, обсуждать их самые противоречивые толкования. На сотню небольших фрагментов сочинения Гераклита, часто содержащих не более пяти слов, написаны тысячи статей и монографий объемом в сотни тысяч страниц. Однако столь безудержное «раскладывание по косточкам» философии Гераклита, как и любого творческого

наследия вообще, таит в себе новую опасность, о которой предупреждает выдающийся знаток и ценитель античности профессор А. Ф. Лосев (1893—1988)*: «Стремясь “знать очень много” о Гераклите, мы часто расчленяем его философию на множество концепций и при этом начинаем забывать о том, что восприятие мира у него было очень цельное». Да, Гераклит был цельной личностью, полностью отдавшей себя философии, и столь же цельными были его учение, его воззрения на великие тайны мироздания. Но...

Нарисованная Гераклитом картина мира — мира, сотканного из противоречий, непрерывно меняющегося, мира, в котором «борьба — отец всему и всему царь» и в котором «все течет», вряд ли могла принести отдохновение философу, да и любому мыслящему человеку вообще. «Поиски чего-то вечного — один из глубочайших инстинктов, толкающих людей к философии» — это признание современного философа Бертрانا Рассела. Но вечный покой всегда ближе и комфортнее для человека, нежели вечное движение. Человеку гораздо приятнее осознавать, что Вселенная, в которой он живет, вечна и неизменна, чем ходить под тяжестью мысли о том, что когда-нибудь она непременно разлетится на части или уменьшится до бесконечно малого объема. И вот Гераклитова доктрина вечного потока а priori разрушала надежды философов на обретение душевного покоя и равновесия.

Но греки всегда отличались страстью и безудержностью — как в любви к жизни, так и в мечтах и научных теориях. И если Гераклит учил, что все течет, *все изменяется*, то его современник, а возможно, и сверстник Парменид в противовес великому эфесцу утверждал: в этом мире *ничто не изменяется*.

* Судьба последнего философа русского серебряного века Алексея Федоровича Лосева счастлива и трагична. Счастлива, потому что до последнего дня своей 95-летней жизни Лосев сохранил поразительную работоспособность и успел завершить главный труд — восьмитомную «Историю античной эстетики». Трагична, потому что другие восемь томов его сочинений, написанных на полвека ранее (1927—1930), были преданы анафеме, а сам автор, будучи незаконно репрессирован, продолжал свои философские изыскания на строительстве Беломорско-Балтийского канала, откуда писал: «Я закован в цепи, когда в душе бурлят непочатые и неистошимые силы». И все-таки судьба А. Ф. Лосева счастлива, ибо «рукописи не горят». Сегодня огромное философское наследие А. Ф. Лосева обретает второе рождение. И это безмерно весомее, чем титул академика, которого Алексей Лосев так и не получил.



ПАРМЕНИД

(ок. 544/541 или ок. 515 до н. э. — ?)

Ибо мыслить — то же, что быть.

Если Гераклит учил, что все течет, *все изменяется*, то его современник, а возможно, и сверстник Парменид в противовес великому эфесцу утверждал: в этом мире *ничто не изменяется*. Если Гераклит жил на самом востоке Эллады, в овеванном жаркими ветрами Малой Азии Эфесе, то Парменид жил на самом ее западе, в Великой Греции, в Элее, куда доносился грозный рев огнедышащей горы Везувия. Если фигура Гераклита одинокой глыбой возвышается среди великих мудрецов Эллады, то Парменид окружен верными учениками — *элеатами*, первым среди которых был славный Зенон. Если Гераклит считается первым великим диалектиком античной философии, то Парменид по праву называется ее первым метафизиком*.

О жизни Парменида мы практически ничего не знаем. Известно, что он родился и вырос в Элее, а его затворническая

* **Метафизика** (от греч. μετά τὰ φυσικά — после физики) — область философии, рассматривающая сверхчувствительные принципы и начала бытия. В отличие от диалектики (греч. διαλεκτική — искусство беседы, спора), усматривающей внутренний источник развития природы и общества в единстве и борьбе противоположностей, метафизика отрицает качественное саморазвитие бытия через противоречия, рассматривает «бытие само по себе», тяготея к статичной и умозрительной картине мира. Термин «метафизика» ввел в употребление Андроник Родосский (I в. до н. э.), систематизировавший произведения Аристотеля и назвавший этим термином группу трактатов Аристотеля, следовавших после его работ по физике.

жизнь напоминает жизнь другого великого философа, отстоящего от Парменида на два с лишним тысячелетия, — Иммануила Канта. Правда, в отличие от «кенигсбергского затворника» Канта, безвыездно прожившего все восемьдесят лет в родном Кенигсберге, Парменид отлучался в Афины, но и эта поездка преследовала чисто научные цели.

Как утверждает Платон в диалоге «Парменид», однажды на Великие Панафиней* в Афины прибыли Парменид и его любимый ученик Зенон. «Парменид был уже очень стар, совершенно сед, но красив и представительен; лет ему было примерно за шестьдесят пять. Зенону же тогда было около сорока, он был высокого роста и приятной наружности; поговаривали, что он был любимцем Парменида. Они остановились у Пифодора, за городской стеной, в Керамике. Сюда-то и пришли Сократ и с ним многие другие, желая послушать сочинения Зенона, ибо они тогда впервые были привезены им и Парменидом. Сократ был в то время очень молод».

Зная год рождения Сократа (469 до н. э.) и учитывая, что для беседы на равных с прославленными мудрецами ему должно быть по крайней мере лет двадцать, легко подсчитать, исходя из сообщения Платона, год рождения Парменида. Получаем 514 г. до н. э. или несколько ранее, поскольку в момент встречи Пармениду было «за шестьдесят пять». С другой стороны, Диоген Лазертский указывает, что акме Парменида, как и Гераклита, приходилось на 69-ю Олимпиаду, т. е. на 504—501 гг. до н. э., соответственно, время рождения Парменида приходится на 544—541 гг. до н. э. Поэтому дата рождения Парменида часто указывается двойко. Относительно года смерти Парменида, как и Гераклита, мы не имеем даже приблизительных ориентиров.

Элея, родной город Парменида, ничем не выделялась среди остальных южноиталийских колоний: в ней не было ни мощи и богатства Сиракуз, ни изысканной роскоши и праздности Сибариса. В отличие от других колоний-полисов Великой Греции, расположенных

* Празднество Великих Панафиней, т. е. Всеафинское празднество, устраивалось в июле — августе третьего года каждой Олимпиады (четырёхлетнего цикла греческого календаря). Во время празднества чествовали Афины Палладу, покровительницу города. Торжественная процессия несла в дар богине расшитый пеплос (верхняя женская одежда) с изображением подвигов Афины. Процессия поднималась на Акрополь, где в храме Эрехтейон в день рождения Афины совершался обряд ее одевания. По преданию, именно на Панафинях в VI в. до н. э. комиссией под руководством афинского тирана Писистрата был составлен первый официальный список гомеровских поэм.

на плодородных землях с интенсивным земледелием, жители Элеи, как сообщает Страбон, «из-за скудности почвы были вынуждены обратиться главным образом к занятиям морскими промыслами и устраивать заведения для засола рыбы и другие подобные предприятия». А на засолке рыбы, как известно, богатства не сколотишь.

Подлинную славу Элее, как и соседнему Кротону, принесли не хозяйственные нововведения тиранов и не громкие походы полководцев, а мудрость ее законов. И как в соседнем Кротоне Пифагор и его ученики дали городу законы, возглавили успешные военные кампании, взрастили прославившуюся по всей Ойкумене плеяду врачей и атлетов-олимпийцев, так и Парменид с Зеноном, по словам Плутарха, благоустроили свою родину наилучшими законами, так что «власти ежегодно брали с граждан клятву оставаться верными законам Парменида». Заметим, что, начиная с Солона, затем в связи со знаменитыми «Законами» Платона и далее вплоть до Бозция принятие наилучших законов, оставленных тем или иным мудрецом родному полису, почиталось греками как событие чрезвычайной важности.

Итак, место рождения и законы, данные родной Элее, — вот и все жизнеописание Парменида. Ни даты рождения, ни даты смерти! По скудости сведений биография Парменида представляется уникальной. Но это только подчеркивает величие идей, обессмертивших его имя.

О славном элейце Пармениде Сократ вспоминал: «Парменид же мне кажется, по слову Гомера, внушающим благоговение и в то же время трепет: я познакомился с ним, когда был очень молод, а он очень стар, и мне показалось, что он обладает прямо-таки совершенно исключительной глубиной». Известный своею желчностью афинский скептик Тимон говорил о Пармениде: «...и не следующий мнению толпы, могучий, надменный Парменид, который поистине освободил мышление от обмана воображения». Что же представляло собой учение Парменида, прославившее в веках его имя и «освободившее мышление от обмана воображения»?

Кони, несущи меня, куда только мысль достигает,
Мчали, вступивши со мной на путь божества многовещий,
Что на крылах по Вселенной ведет познавшего мужа.
Этим путем я летел, по нему меня мудрые кони,
Мча колесницу, влекли, а Девы вожатыми были.
Ось, накалившись в ступицах, со скрежетом терлась о втулку...

Таким прологом, или проэпием, начинается философская поэма Парменида «О природе» — главное и единственное сохранив-

шеся его сочинение, написанное архаическим гомеровским стихом, полным туманных недосказанностей и оставляющим широкий простор для самых различных толкований.

Сегодня поэма Парменида напоминает склеенную из кусков античную амфору, в которой подлинные расписные фрагменты перемежаются с безликой массой, заполняющей утраты. Время сохранило для нас лишь 155 строк (стихов) поэмы, что составляет примерно половину целого. Какова же должна быть концентрация мысли в этих 155 строках, чтобы по сей день они вызывали потоки толкований, прочтений, статей и монографий, чтобы через два тысячелетия другой величайший философ Георг Гегель в «Лекциях по истории философии» мог сказать, что «с Парменида началась философия в собственном смысле этого слова»!

Пролог поэмы аллегоричен. В нем в красочной художественно-мифологической форме повествуется о фантастическом путешествии юного Парменида к богине справедливости, правосудия и возмездия Дике, которая открывает философу высшее знание. Парменид едет на обычной двуколке — одноосной двухколесной повозке, запряженной парой коней. Однако кони у Парменида не простые, а «многоумные», да и путь философа необычен, поскольку лежит он «вне людской тропы».

Сопровождающие Парменида «Девы Солнца» Гелиады, «ночи покинув чертог» и «откинув с голов покрывала», так торопят бег коней к свету, что ось колесницы раскалилась и свистит, подобно свирели. Там, наверху, в горном эфире, путь Парменида упирается в «Ворота путей Дня и Ночи». Ворота заперты.

Громовозмездная Правда ключи стережет к ним двойные.
Стали Девы ее уговаривать ласковой речью
И убедили толково засов, щеколдой замкнутый,
Вмиг отпереть от ворот. И они тотчас распахнулись...

Вмиг окрестности озаряются волшебным светом, из которого выходит окруженная сонмом Эриний богиня справедливости Дике. Она приветствует юношу, берет его за правую руку, и затем до конца поэмы следует ее непрерывный монолог:

«Юноша, спутник бессмертных возниц! О ты, что на конях,
Вскачь несущих тебя, достигнул нашего дома,
Радуйся! Ибо тебя не злая Судьба проводила
Этой дорогой пойти — не хожено здесь человеком, —
Но Закон вместе с Правдой. Теперь все должен узнать ты:
Как убедительной Истины непогрешимое сердце,
Так и мнения смертных, в которых нет верности точной».

Итак, два пути открывает перед Парменидом богиня Дике: *Путь Истины* и *Путь Мнения*. Дике приказывает Пармениду побороть силу привычки, слепую привязанность к чужому мнению, воздержаться от болтовни и обратиться к разуму: «Разумом ты рассуди трудную эту задачу, данную мною тебе». Но — и в этом одно из открытий великого элейца, — указав философу путь к вечной, нетленной Истине, богиня Дике открывает ему и путь к «лишенному подлинной достоверности мнению смертных» — *Путь Мнения*. Далее вся поэма строится именно по этому плану: в первой части — «Пути Истины» — излагается учение об истинном, умопостигаемом бытии, которому чуждо мнение смертных; во второй части — «Пути Мнения», — напротив, открывается картина обманчивого мира явлений.

Но зачем философу, смысл жизни которого видится в отыскании столбовой дороги к бессмертной, незыблемой Истине, запутанные, теряющиеся на каждом шагу тропинки Пути Мнения? В чем суть учения Парменида?

Заметим, что учение Парменида вызывает естественный протест у каждого, кто впервые с ним сталкивается. Действительно, можно ли после самоочевидного, подтверждаемого на каждом шагу нашим каждодневным опытом Гераклитова «все течет, все изменяется» найти что-либо более странное и противоестественное, чем утверждение, что мир неизменен и неподвижен, что все в мире едино и неделимо, что все, что мы видим, воспринимаем и понимаем, есть не более чем иллюзия, заблуждение и обман? Этот протест имеет древние корни, как и учение Парменида, которые Аристотель однажды назвал «похожим на сумасшествие», а элеатов — «неподвижниками и противоестественниками».

Между тем, если тщательно взвесить мотивы и аргументы концепции Парменида, она покажется не столь уж абсурдной. Более того, учение Парменида во многих отношениях является философским развитием учений его предшественников — Фалеса и Пифагора. Однако в отличие от предтеч, которые главным образом изрекали, а в лучшем случае опирались на аналогии и метафоры, Парменид впервые в истории философии дает логическое доказательство собственных тезисов. И хотя основные законы логики — закон тождества и закон противоречия — в четком виде у Парменида еще не сформулированы, он стал первым, кто не только осознал, но и попытался последовательно применить эти законы в своих логических построениях.

В центре внимания Парменида лежит старая главная философская проблема — проблема единой, неизменной первоосновы, скрытой под пеленой изменчивых сиюминутных явлений. Однако Парменид, по-видимому, осознал всю наивность философии Фалеса, видевшего в качестве основы мироздания воду, или Анаксимена, рассматривавшего как первопринцип воздух, и даже Пифагора, объявившего, что «все есть число». В качестве всеобщего первопринципа, полагает Парменид, должна быть положена некая всеобщая идея, в качестве которой он рассматривает *идею Бытия*.

Что такое бытие? Отличительным признаком бытия, по Пармениду, является то, что оно есть, т. е. существует, в отличие от того, что не существует и может быть названо небытием. «*Есть бытие, а небытия вовсе нет*» — первый основной постулат Парменида, из которого он логическим путем выводит следствия. Важнейшее из них — знаменитое свойство *неизменности* Парменидова бытия.

Действительно, рассуждает Парменид устами богини Дике: бытие — то, что есть, а небытие — то, чего нет. Следовательно, не может быть ни возникновения, ни уничтожения, ибо всякое возникновение есть переход от небытия к бытию, а любое уничтожение, напротив, — переход от бытия к небытию. Следовательно, *бытие неизменно*, оно не возникло и не подвержено гибели, оно не имеет ни начала, ни конца, оно всегда равно самому себе.

Аналогичным образом Парменид доказывает, что *бытие неподвижно*, ибо передвигаться оно могло бы только туда, где его нет, т. е. в небытие, но поскольку небытия нет, то, значит, и передвигаться бытию некуда. Те же рассуждения приводят Парменида к свойству единственности и непрерывности бытия.

Сегодня основной постулат Парменида о бытии может показаться повторением давно пройденного. Однако во времена Парменида его тезис о бытии имел прежде всего острую полемическую направленность как против гераклитовцев, считавших, что бытие и небытие суть одно и то же и переходят одно в другое (вспомним Гераклитово «мир существует и не существует» или «путь вверх и путь вниз один и тот же»), так и против пифагорейцев, признававших существование и бытия, и небытия. Первых Парменид объявляет «пустоголовым племенем», а вторых — «двухговыми». Сам Парменид не допускает ни тождества двух взаимоисключающих понятий, ни их одновременного существования в едином организме мироздания и тем самым вплотную подходит к закону запрещения противоречия — основному закону мышления. Таким образом,

Парменида по праву можно считать предтечей основного закона логики — закона отрицания противоречия, сформулированного через 150 лет Аристотелем: «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же и в одном и том же смысле».

Прекрасно осознавая полемический характер своего учения, Парменид тщательно продумывает систему аргументов и дает выверенное логикой доказательство концепции. Мудрый элеец не только доказывает следствия из своего главного постулата, но пытается доказать основное утверждение: бытие есть, небытия нет. Небытие не существует, рассуждает Парменид, потому что «небытие невозможно ни познать, ни в слове выразить». Итак, небытие не существует, потому что оно невысказуемо. Невысказуемо небытие потому, что сама мысль о небытии делает небытие бытием в качестве предмета мысли.

Таким образом, доказывая свой первый основной постулат, Парменид с неизбежностью приходит к замене его вторым основным постулатом: «Мышление и бытие суть одно и то же». Через 200 лет после Парменида великий математик античности Евклид, живший в III в. до н. э., показал, что любая цепочка доказательств, дабы не стать бесконечной, должна быть остановлена на группе утверждений, которые составляют фундамент теории, принимаются без доказательства и которые Евклид назвал *аксиомами* или *постулатами*. Через 2000 лет основной постулат Парменида о единстве бытия и мышления почти дословно повторил другой великий философ, Рене Декарт (1596—1650), в знаменитом афоризме «Cogito ergo sum» — «Мыслю, следовательно, существую».

В постулате Парменида о тождестве бытия и мышления прежде всего нашла отражение древняя античная традиция, не различавшая еще духовное и материальное начала, — это и бого-вода Фалеса, и вещь-число Пифагора, и огне-логос Гераклита. Но Парменид делает и шаг вперед по сравнению с предшественниками к разъединению мышления и бытия, различению субъективного и объективного начал в мировосприятии, с которого начинается собственно философия и которое последовательно осуществил через 100 лет великий Платон. Утверждая, что «мышление и бытие суть одно и то же», Парменид фактически провозглашает не тождество бытия и мышления и не первичность мысли перед бытием, как часто трактуют Парменида, считая его родоначальником субъективного идеализма. В своем основном постулате Парменид прежде всего гово-

рит о возможности мысли только при наличии бытия, о неразрывной связи мышления с бытием, с подлинно сущим.

Помимо установления связи бытия и мышления, Парменид вскрывает тесные отношения между мышлением и языком, тем самым впервые рассматривая логико-лингвистические аспекты процесса мышления. Если только слова употребляются человеком значимо, т. е. в них содержится определенный смысл, то слово всегда должно обозначать *нечто*, а не *ничто*. Следовательно, рассуждает философ, обозначаемое словом должно в известном смысле существовать. *Бытие — мысль — слово* — вот неразрывная триада, определяющая, по Пармениду, необходимое и достаточное условие существования человека разумного.

И снова, начиная с мысли «небытие невозможно ни познать, ни в слове выразить», Парменид приходит к свойству неизменности бытия. Еще раз воспроизведем ход мысли великого элейца. Когда мы думаем, то мы всегда думаем о чем-либо, равно как и когда мы говорим, то говорим также о чем-либо. Значит, и мышление, и речь требуют объектов вне себя. Но поскольку мыслить и говорить об объекте можно всегда, значит, все, что может быть мыслимо или высказано, должно существовать всегда. Следовательно, объекты мысли и слова не возникают и не уничтожаются, а значит, и бытие неизменно.

Как же сегодня, по прошествии двух с половиной тысячелетий, воспринимать философию Парменида, которая упрямо идет вразрез с очевидностью реального мира? Как бытие может оставаться неизменным, когда существуют день и ночь, дождь и снег, молодость и старость, война и мир? Прежде всего заметим, что Парменид, которого по праву называют отцом онтологии (от греч. *ὄντος* — сущее и *λόγος* — слово) — философского учения о бытии, интересовался онтологическими, т. е. сущностными, а не физическими характеристиками бытия. Парменид ищет характеристики бытия, отражающие всеобщую связь всех сторон сущего. Но что можно сказать о всеобщей связи, обо всем сущем в мироздании? Да только то, что и говорит Парменид: эта связь едина и неизменна, она неразрывна и вечна, у нее нет границ, она есть всюду и всегда.

Сегодня такую внутренне единую объективную реальность, позволяющую за изменчивым многообразием внешних проявлений увидеть неизменную устойчивость внутренних закономерностей, философы называют субстанцией (от лат. *substantia* — сущность). Фактически к этому важнейшему философскому понятию

и подводит нас Парменид, о чем пишет Бертран Рассел: «Последующая философия, включая и философию самого новейшего времени, восприняла от Парменида не учение о невозможности всякого изменения, которое было слишком невероятным парадоксом, но учение о неразрушимости *субстанции*. Слово “субстанция” еще не употребляется его непосредственными преемниками, но соответствующее ему *понятие* уже присутствует в их рассуждениях. Под субстанцией стали понимать постоянный субъект различных предикатов. В данном значении она была и остается в течение более двух тысяч лет одним из главных понятий философии, психологии, физики и теологии». Итак, неподвижность и неизменность Парменидова бытия означает не отрицание физического движения, но неподвижность и неизменность субстанциальных свойств бытия.

Как понимать единство слова и бытия в философии Парменида? Разве сирены — полуптицы-полуженщины, увлекающие своим пением доверчивых мореходов, или теорема Пифагора существуют в подлунном мире? И да, и нет. Нет, потому что их существование отлично от существования объектов природного мира — рек, лесов, животных и человека — или объектов рукотворного мира «второй природы» — зданий, машин, книг и произведений искусства. Да, потому что, однажды созданные, эти продукты воображения художника или плоды мысли ученого, запечатленные в бессмертных памятниках скульптуры, архитектуры, живописи, литературы или в толстых фолиантах мудрецов, очень скоро образуют особую область существования, особый мир бытия, имя которому культура. Парменид еще не различает предмет мысли и мысль о предмете. Небытие, очевидно, может быть предметом мысли и речи, не переставая от этого быть небытием. Но кто отважится сказать, что такое есть небытие?

Как видим, философия Парменида оставляет больше вопросов, нежели ответов. Впрочем, истинная глубина философа состоит не столько в том, чтобы отвечать на вечные вопросы, сколько в том, чтобы их ставить. «Философские теории, — пишет Бертран Рассел, — если они значительны, могут, вообще говоря, возрождаться в новой форме после того, как в своем первоначальном варианте они были отброшены. Опровержения редко бывают окончательными; в большинстве случаев они знаменуют собой только начало дальнейших усовершенствований».

Очевидно, Парменид и сам осознавал, что Путь Истины чистого разума уводит его слишком далеко от реалий земного мира. Не случайно богиня Дике резко обрывает свой рассказ об истине:

Здесь достоверное слово и мысль мою завершаю
Я об Истине: мненья смертных отныне учти ты,
Лживому строю стихов моих нарядных внимая,

и переходит к «лживому строю стихов» — Пути Мнения. Богиня обещает философу, что, встав на Путь Мнения,

Ты познаешь природу эфира и все, что в эфире,
Знаки, и чистой лампы дела лучезарного Солнца
Незримотворные, также откуда они родились.
И круглоокой Луны колобродные также узнаешь
Ты и дела, и природу, и Небо, что все обнимает,
Как и откуда оно родилось, как его приковала
Звезд границы стеречь Ананке*...

а также «как начали возникать Земля, Солнце, Луна, вездесущий эфир, Млечный Путь, крайний Олимп и горячая сила звезд». Скорее всего, богиня сдержала обещание — на то она и богиня. Однако из сохранившихся фрагментов поэмы мы этого уже никогда не узнаем.

Но и уцелевших фрагментов из «Пути Мнения» достаточно, чтобы задаться главным вопросом — вопросом, который задавали себе уже древние. Зачем вообще понадобилась Пармениду вторая часть поэмы, которая чуть ли не отрицает первую часть? Почему, объявив в первой части поэмы Путь Истины — путь чистого разума — единственно верной дорогой к постижению законов вечного бытия, во второй части Парменид приглядывается к зыбкому, изменчивому миру явлений — Пути Мнения? Уж не два ли разных человека написали эти две части поэмы?

Текстологический анализ поэмы сегодня категорически отмечает последний вопрос: обе части поэмы написаны Парменидом. Значит, «Путь Мнения» в поэме не случаен, и мы, таким образом, подходим к ответу на первые два вопроса, которые, напомним, были поставлены еще в начале нашего очерка о Пармениде.

* А н а н к е (греч. Ανάνκη — необходимость) — в греческой мифологии богиня необходимости, неизбежности. Платон считал Ананке матерью *мойр* — вершительниц человеческих судеб. Первоначально полагали, что у каждого человека своя мойра, впоследствии их число было сведено к трем: Атропа, Клото и Лахесис. Мойр представляли в виде старух, в чьих руках находилась нить человеческой жизни: Клото прядет нить, Лахесис пронесит ее через все превратности судьбы, Атропа перерезает нить и обрывает жизнь человека. В отличие от мойр, ведающих персональными судьбами, Ананке вершит глобальные мировые процессы, вращая между колен веретено, ось которого определяет ось мироздания. Ананке олицетворяет высшую силу — Необходимость, которой подчинены даже боги.

Очевидно, Парменид осознал, что только Путь Истины не способен раскрыть многообразия окружающего мира. Парменид должен был показать, что, встав на Путь Истины, «знающий» человек осведомлен и о Пути Мнения, о чувственно воспринимаемом мире, что он может приобщиться к этому пути, иметь собственные взгляды и соображения об изменчивом чувственном мире. Но это будет не более чем *мнение* об этом мире.

Да, Парменид объявляет сомнительным и обманчивым знание, полученное не абстрактными рассуждениями, а с помощью органов чувств. Да, Парменид считает, что это знание не ведет к Истине, но лишь порождает «доксу» (греч. δόξα — мнение), что это не совершенное, приблизительное, второстепенное знание.

Но, как честный мыслитель, как рыцарь Истины, Парменид не может отвергнуть «путь доксы». Пытаясь примирить два пути познания мира, Парменид покидает мир чистой логики и пытается предоставить «пути доксы» хотя бы какое-то место в бытии. Он полагает, что изменчивый Путь Мнения — колеблющийся, распадающийся на части и вновь собирающийся в единое целое мираж — возникает только на поверхности неизменной, неделимой вечной первосущности бытия.

Строки из поэмы Парменида «Разумом ты разреши трудную эту задачу, данную мною тебе» знаменуют великий момент в истории философии. В них отказ от наивного доверия к чувственному опыту, в них начало великих открытий разума, остановившего Солнце, совершающего кажущийся ежедневный бег по небосводу, и двинувшего вокруг него Землю. Но есть в поэме и строки, посвященные «пути доксы». В нем философ видит ту почву, на которой произрастают открытия чистого разума, в нем он усматривает и неиссякаемый источник, питающий чистый разум.

Таким образом, главная задача Парменида состояла из двух частей: разделить и сравнить два возможных пути постижения мира — пути разума и пути опыта. С поставленной задачей Парменид блестяще справился, и в этом состоит одно из важнейших открытий философа. «Установление качественного различия между разумом и чувственностью, мышлением и ощущением, между логическим и эмпирическим, — пишет современный философ Ф. Кессиди, — явилось величайшим философским открытием. И честь этого великого открытия принадлежит Пармениду из Элеи. Это было открытием разума в истории европейской и мировой философии».

фии, в истории теоретического мышления вообще. Открытие разума означало падение мифологии, отход от нее и утверждение нового мировоззрения».

Эту характеристику значения Парменида в истории мировой философской мысли прекрасно дополняют слова А. Ф. Лосева, который так писал о поэме Парменида: «Это — первые восторги перед успехами абстрагирующего мышления: и вполне естественно, что эти восторги требуют не спокойной прозы уравновешенного философа, а поэтического энтузиазма, который легко принять за мистику. На самом деле мистики здесь не больше, чем в других системах древнейшей греческой натурфилософии. Здесь происходит разделение мышления и ощущения, что ведет, как и прочих греческих натурфилософов, к падению мифологии, к отходу от нее как от единственно возможного мировоззрения».

Конечно, сегодня, по прошествии двух с половиной тысячелетий, данное открытие Парменида может показаться не более чем банальной истиной. Но вспомним еще раз слова Рассела о непреходящем значении великих философских идей. Уместно напомнить и точный афоризм Аристотеля: «Известное известно лишь немногим». Намеченные Парменидом путь разума и путь чувства вылились за прошедшее время в два мощных философских потока — рационализм и сенсуализм (от лат. *ratio* — разум и *sensus* — чувство), — связанных тысячью рукавов, проток, капилляров, истинная гидрография которых не вполне изучена и сегодня.

В 155 строках поэмы Парменид предстает перед нами не только как великий философ, но и как вдумчивый естествоиспытатель. Множество самых разнообразных проблем мироздания волнуют элейского мудреца: и вопрос о происхождении живых существ, и загадки небесных и атмосферных явлений, и тайна рождения мальчика или девочки, и проблема материальных первоначал мира. Большинство из предложенных Парменидом решений, да и многие из поставленных им проблем кажутся сегодня наивными, но одна из них — проблема пространства и времени — и по сей день будоражит умы естествоиспытателей.

Что есть пространство и время? Парменид мудро уходит от прямого ответа на эти вечные вопросы. Взглядом Сивиллы он видит, что и через 1000 лет, на рубеже античной и средневековой культур, другой мудрец, Аврелий Августин (354—430), скажет, что философия начинается с попыток ответить на очевидные вопросы,

каким является вопрос о том, что есть время*. Он будто знает, что в конце второго тысячелетия на тот же вопрос будет пытаться ответить наш соотечественник, лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин. Тем не менее из учения Парменида следует, что не существует самих по себе пространства и времени в отрыве от бытия. По существу, Парменид не отделяет пространство и время от материи, что является сверхсовременным взглядом на пространство и время.

Не прошло и ста лет, как Демокрит отверг Парменидово единство пространства — времени и бытия и стал рассматривать пространство и время как пустые вместилища, в которых происходит движение. Демокритовы представления об абсолютных пространстве и времени легли в основу механики Ньютона и просуществовали вплоть до начала XX в. Только великий Эйнштейн позволил себе порвать с двухтысячелетней традицией, связав течение времени и протяженность тел с их скоростью и доказав тем самым относительный характер пространства и времени, а также невозможность их существования в отрыве от материи и вне связи друг с другом. Нам еще не раз предстоит убедиться в том, как спираль науки, сделав гигантский виток во времени, возвращается к старой философской концепции, подтверждая ее самыми современными данными естествознания.

На этом можно было бы закончить наш краткий обзор учения Парменида, но следует сказать еще несколько слов о влиянии идей элейского мудреца на последующее развитие античной философской мысли. Мы уже отмечали, что Парменид предвосхитил идею субстанции — неизменной основы сменяющихся вещей. Единое бытие Парменида есть принцип единства всего во всем. Как сущее, оно материально, как мыслимое — идеально. Таким образом, Парменидово единое есть материально-идеальное бытие, поэтому идеи Парменида оказались плодотворными и для материалиста Демокрита, и для идеалиста Платона. Атомы Демокрита — это материальное единое Парменида, каждый в отдельности они сохраняют

* Дабы донести до читателя мудрость Августинова слова, приведем отрывок из его «Исповеди», где Блаженный Августин размышляет о времени: «Что такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре как о совсем привычном и знакомом, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое, и, когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю».

все свойства Парменидова бытия — они вечны, неизменны, самоидентифицируемы. Эйдосы Платона — это идеальное единое Парменида, хранящее в себе те же свойства единого и вечного Парменида. Итак, два важнейших направления в философии, знаменитые «две линии в философии» — «линия Демокрита» (материализм) и «линия Платона» (идеализм) — исходят из одной точки, коей является учение элейского мудреца. Нам представляется, что этим двум линиям в философии вовсе не суждено вечно сохранять прямолинейность и в будущем они вновь сойдутся в одной точке.

А как же быть с Гераклитом и Парменидом, которых Путь Истины привел к двум прямо противоположным выводам: для первого «*все течет*», а для второго — «*все неизменно*»? Возможны только два выхода из данного затруднения: либо считать путь разума неверным, либо искать примирения точек зрения Парменида и Гераклита. Большинство философов склонны предпочитать второе. Только объединение двух исключаящих друг друга представлений, только включение в путь разума противоречивых начал позволит понять противоречивую объективную реальность. По существу, философское примирение Гераклита и Парменида состоялось еще при их жизни в признании ими мира как единства противоположностей: для Гераклита — это локальное противостояние всех элементов бытия, для Парменида — глобальное противостояние Пути Истины и Пути Мнения. По существу, сходятся Гераклит и Парменид и в признании неизменной субстанции, без существования которой невозможно никакое научно-рациональное знание: для Гераклита — это мировой огонь, который «мерами вспыхивает и потухает», для Парменида — единое бытие.

Сегодня нам трудно судить, как в действительности соотносили свои учения современники, а возможно, и сверстники Гераклит и Парменид. Впрочем, если под «пустоголовым племенем» Парменид прежде всего имел в виду Гераклита, их отношения вряд ли были идиллическими. Легко догадаться, что и противоположная сторона не скупилась на выражения, тем более что парадоксальное учение Парменида словно выставляло напоказ свои «очевидные» нелепости и противоречия. Именно злые нападки на учение Парменида побудили другого элейца, Зенона, написать полемическое сочинение, в котором любимый ученик Парменида с помощью хитроумных логических ловушек доказывал, что неприятие единого неподвижного бытия Парменида, т. е. допущение множественности вещей и возможности движения, приводит к еще большим нелепостям и противоречиям.



ЗЕНОН ЭЛЕЙСКИЙ

(ок. 490 до н. э. — ?)

То, что движется, не движется ни в том месте, где оно есть, ни в том, где его нет.

Злые нападки на учение Парменида побудили другого элейца, Зенона, написать полемическое сочинение, в котором любимый ученик Парменида с помощью хитроумных логических ловушек доказывал, что неприятие единого неподвижного бытия Парменида, т. е. допущение множественности вещей и возможности движения, приводит к еще большим нелепостям и противоречиям. Найденные Зеноном доказательства неделимости и неподвижности бытия, которые сами древние стали называть «эпихейремами» (греч. ἐπιχειρήματα — сжатое умозаключение) или «апориями» (греч. ἀπορία — непроходимость, затруднение), настолько глубоко схватывали фундаментальные философские аспекты непрерывности и движения, т. е. по существу пространства и времени — первооснов бытия, что и по сей день остаются предметом оживленных философских дискуссий. Эпихейремы Зенона — предельно сжатые кристаллы философской мысли — сияющими алмазами украсили веноч мудрости Эллады. Блеск апорий Зенона не меркнет вот уже третье тысячелетие.

О Зеноне мы знаем почти так же мало, как и о его учителе Пармениде, хотя одна строка биографии философа — героическая смерть Зенона — восполняет эти утраты, заставляя замереть перед духовной мощью мудреца. Родиной Зенона, как и Парменида, стала провинциальная Элея — «город скромный и умеющий лишь воспитывать доблестных мужей» (Диоген Лаэртский). Относитель-

но времени рождения Зенона имеются некоторые расхождения в пределах 10—15 лет; наиболее часто указывается дата, восходящая к Платону, — около 490 г. до н. э.

По-видимому, Зенон очень многим был обязан Пармениду, и их отношения были настолько тесными, что античная традиция называла Зенона не только учеником Парменида, но и его приемным сыном и даже любовником. Впрочем, последнее с возмущением отметалось многими древними, в частности некто Афиней писал: «Но что всего отвратительнее и всего лживее — так это безо всякой нужды сказать, что согражданин Парменида Зенон был его любовником!»

Однако античная традиция единодушна в том, что «был он человеком исключительных достоинств и в философии, и в политической жизни, сохранились его книги, полные большого ума». Диоген Лаэртский отмечает, что «помимо прочих доблестей Зенон отличался презрением к сильным мира сего: подобно Гераклиту, который предпочел Эфес Афинам, он также предпочел великолепию Афин свой родной город, прежде называвшийся Хюэле, а впоследствии Элеей... За некоторыми исключениями, он не посещал Афин и прожил всю жизнь на месте». Зенон был не просто верным учеником Парменида, но и сам имел множество преданных слушателей. Из разных концов Эллады, в том числе и из столичных Афин, стекались к славному элейцу юные любители мудрости.

Зенон был первым из философов, кто стал брать деньги за обучение, и в этом его можно считать предшественником софистов (о них речь еще впереди), для которых странствия в поисках богатых учеников и их обучение стали единственным способом добытия хлеба насущного. Однако софисты — и этим часто заканчиваются многие хорошие начинания — довели искусство спора до логического абсурда. Истина перестала интересовать софистов, и ради достижения победы в споре они не гнушались никакими средствами, в том числе и явными нарушениями законов логики, которые старались спрятать за блестящими словесными мишурами.

В те времена деньги за обучение мудрости платили немалые, правда, и учителями были великие философы, память о которых не стерли тысячелетия. Известно, что Зенон за обучение брал 100 мин (43,6 кг серебра) — по современным меркам, целое состояние. В числе учеников Зенона Плутарх называет даже знаменитого афинского стратега Перикла.

Чему же учил Зенон? За что платили ему огромные деньги? Зенон учил искусству спора — диалектике (греч. τέχνη διαλεκτική — искусство вести беседу, спор)*, изобретателем которой его назвал Аристотель. Согласно Плутарху, диалектика есть «искусство опровергать противника и через противоречие загонять его в безвыходное положение (в “апорию”. — А. В.)». Конечно, диалектика Зенона не являлась еще объективной диалектикой в высоком, платоновском смысле слова, понимаемой как расчленение и связывание воедино понятий, как путь к обретению философской истины и постижению тайн мироздания. То была еще субъективная диалектика — искусство доказывать и оспаривать собственное мнение посредством логических умпостроений. В условиях греческой демократии, когда в небольшом полисе-государстве каждый гражданин вел активную общественную жизнь и имел реальные шансы занять любой государственный пост, умение убеждать и спорить было столь же важным для истинного мужа, как и умение владеть собственным телом и мечом.

Но главная добродетель, к которой подводит нас жизнь и смерть элейского мудреца, состоит в следующем: образ мысли истинного философа неотделим от образа его жизни. В этом разгадка удивительного феномена, каждый истинный мудрец являет нам образец не только искрометной мудрости, но и высокой нравственности, душевной красоты, гражданского долга, мужества и даже героизма. Знаменитая античная триада истины, красоты и добра отмечает жизненный путь каждого подлинного мыслителя, ибо невозможно быть глубоким мудрецом перед учениками и жалким перевертышем перед самим собой. Смерть Зенона, мужественная и красивая, явилась достойным венцом его жизни, гордой и свободной.

«Легче окунуть в воду мех, наполненный воздухом, — говорил Зенон, — чем заставить силой какого-либо хорошего человека совершить что-нибудь вопреки его воле». Судьба неоднократно предоставляла элейцу возможность подтвердить свое слово делом. Однажды, рассказывает римский писатель и богослов Тертуллиан (ок. 160 — после 220), на вопрос тирана Дионисия, *что дает философия*, Зенон ответил: «Презрение к смерти!» Разъяренный столь гордым ответом, тиран приказал подвергнуть философа бичеванию плетьюми. Однако Зенон остался равнодушным к страданиям, так и

* «Технэ» (τέχνη), от которого произошло современное слово «техника», в античную эпоху означало и науку, и искусство, и технику.

не дав тирану возможности упрекнуть его в неверности собственным словам. Следующее испытание судьбы оказалось для философа роковым. Об этом событии рассказывает античный историк Диодор Сицилийский (ок. 90—21 до н. э.).

«Когда его родной город был под властью жестокой тирании Непарха, он организовал заговор против тирана. Уличенный и допрашиваемый тираном под пыткой, кто были соучастники, он воскликнул: “О если бы я владел своим телом так же, как я владею языком!” Когда тиран стал еще больше ужесточать пытки, Зенон до поры до времени терпел, а потом — спеша избавиться от пытки и заодно отомстить Непарху — придумал вот что. Во время сильнейшего ужесточения пытки он притворился, что дух его поддался мукам, и закричал: “Пустите! Скажу всю правду!” Когда его высвободили, он попросил тирана подойти и выслушать его приватно: потому как, мол, многое из того, что собирается сказать, лучше сохранить в тайне. Тиран обрадовался, подошел и поднес ухо к устам Зенона, а тот впился в царское ухо зубами. Подручные быстро подбежали и усилили пытку нещадно, чтобы заставить Зенона разжать зубы, но тот впивался еще сильнее. Наконец, не в силах сломить мужество Зенона, подручные закололи его, чтобы он разжал зубы. Благодаря этой уловке он избавился от мучений и, как мог, отомстил тирану».

Диоген Лаэртский предлагает иную версию трагической смерти Зенона. После раскрытия заговора тиран Непарх (по другим источникам — Диомедонт) подверг элейского мудреца публичным пыткам. Тирана прежде всего интересовали сообщники главного заговорщика, и Зенон охотно донес на всех друзей и прихлебателей тирана, чтобы оставить его в одиночестве. Потом тиран спросил философа, есть ли еще кто-нибудь, на что он ответил: «Есть ты, проклятье города!» — и, обращаясь к присутствующим, сказал: «Удивляюсь я вашей трусости: вы рабски служите тирану ради того, чтобы вас постигла та же участь, что и меня!»; под конец он откусил себе язык и плюнул им в тирана. Это так подействовало на присутствующих граждан, что они тотчас же побили тирана камнями. Разъяренные исступленной дерзостью Зенона, приспешники тирана бросили философа в ступу и истолкли его в ней.

Так закончился земной путь Зенона — философа и героя, героя и философа, ибо эти понятия, как Парменидово бытие, неразделимы, ибо смелая и вызывающе дерзкая смерть Зенона неотделима от дерзких и вызывающе смелых философских идей элейского мудреца. Так началась вечная жизнь Зеноновой мудрости.

Философия Зенона сохраняет молодость и искрометность, она манит каждого, кто встал на Путь Истины. Хотя вся она дошла до нас всего-навсего в девяти кратких, порой в несколько строк, апориях! Всего не более чем в пятидесяти строках! Это все, что сохранилось от многочисленных трудов Зенона, среди которых традиция называет «Споры», «Против философов», «О природе» и др. Если ввести некий «коэффициент концентрации значимости автора в истории культуры», равный отношению возраста произведений автора к их объему, то у Зенона и Парменида данный коэффициент будет наибольшим во всей истории мировой культуры.

Как отмечалось, сверхзадачей Зенона являлось желание защитить два тезиса философии Парменида: *бытие едино* и *бытие неподвижно*. Собственные обоснования данных тезисов Зенон строит методом от противного, т. е. для доказательства истинности единства и неподвижности бытия доказывает ложность множественности и подвижности бытия. Последнее утверждение также доказывается методом от противного, приведением его отрицания к двум взаимоисключающим суждениям. Во времена Зенона, когда закон исключенного третьего еще не был сформулирован, такой метод рассуждения вызывал затруднения даже у Сократа, свидетельством чему следующий отрывок из платоновского диалога «Парменид».

« — Я замечаю, Парменид, — сказал Сократ, — что наш Зенон хочет быть близок тебе во всем, даже в сочинениях. В самом деле, он написал примерно то же, что и ты, но с помощью переделок старается ввести нас в заблуждение, будто он говорит что-то другое: ты в своей поэме утверждаешь, что все есть единое, и представляешь прекрасное доказательство этого; он же отрицает существование многого и тоже приводит многочисленные и веские доказательства. Но то, что вы говорите, оказывается выше разума нас остальных: действительно, один из вас утверждает существование единого, другой отрицает существование многого, но каждый рассуждает так, что кажется, будто он сказал совсем не то, что другой, между тем как оба вы говорите почти одно и то же.

— Да, Сократ, — сказал Зенон, — но только ты не вполне постиг истинный смысл сочинения. Хотя ты, подобно лаконским щенкам, отлично выискиваешь и выслеживаешь то, что содержится в сказанном, но прежде всего от тебя ускользает, что мое сочинение вовсе не притязает на то, о чем ты говоришь, и также вовсе не пытается скрыть от людей сей великий замысел. Ты говоришь об обстоятельстве побочном. В действительности это сочинение подерживает рассуждение Парменида против тех, кто пытается вы-

смеять его, утверждая, что если существует единое, то из этого утверждения следует множество смешных и противоречащих ему выводов. Итак, мое сочинение направлено против допускающих многое, возвращает им с избытком их нападки и старается показать, что при обстоятельном рассмотрении их положение «существует многое» влечет за собой еще более смешные последствия, чем признание существования единого».

Введем обозначения для высказываний: А — бытие, В — едино (неподвижно), С — заключительное высказывание в той или иной апории. Метод Зенона состоит в том, что вместо утверждения $A \Leftrightarrow B$ — «бытие едино (неподвижно)» доказывается равносильное ему утверждение $\neg(A \Leftrightarrow \neg B)$ — «не верно, что бытие множественно (подвижно)», доказательство которого в свою очередь сводится к доказательству равносильного утверждения $(A \Leftrightarrow \neg B) \Rightarrow (C \wedge \neg C)$ — «если бытие множественно (подвижно), выполняются два взаимоисключающих утверждения С и $\neg C$ ». Тогда в символах математической логики метод Зенона будет выглядеть следующим образом:

$$A \Leftrightarrow B \cong \neg(A \Leftrightarrow \neg B) \cong ((A \Leftrightarrow \neg B) \Rightarrow (C \wedge \neg C)).$$

Напомним значения символов: \cong — равносильность, \neg — отрицание, \wedge — конъюнкция (логический союз «и»), \vee — дизъюнкция (логический союз «или»), \Rightarrow — импликация («если... то»), \Leftrightarrow — эквивалентность*.

* Для тех, кто знаком с элементами математической логики, приведем доказательство равносильности утверждений в методе Зенона. Цифры над знаками равносильности обозначают ссылку на тот или иной логический закон, используемый при доказательстве и приведенный после доказательства:

$$\begin{aligned} (A \Leftrightarrow \neg B) \Rightarrow (C \wedge \neg C) &\stackrel{1}{\cong} \neg(A \Leftrightarrow \neg B) \vee (C \wedge \neg C) \stackrel{2}{\cong} \neg(A \Leftrightarrow \neg B) \vee 0 \stackrel{3}{\cong} \\ &\cong \neg(A \Leftrightarrow \neg B) \stackrel{4}{\cong} \neg((A \Rightarrow \neg B) \wedge (\neg B \Rightarrow A)) \stackrel{1}{\cong} \neg((\neg A \vee \neg B) \wedge (\neg \neg B \vee A)) \stackrel{5}{\cong} \\ &\cong \neg((\neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee A)) \stackrel{6}{\cong} \neg(\neg A \vee \neg B) \vee \neg(B \vee A) \stackrel{7}{\cong} (\neg \neg A \wedge \neg \neg B) \vee (\neg B \wedge \\ &\neg A) \stackrel{5}{\cong} (A \wedge B) \vee (\neg B \wedge \neg A) \stackrel{8}{\cong} ((A \wedge B) \vee \neg B) \wedge ((A \wedge B) \vee \neg A) \stackrel{8}{\cong} (A \vee \neg B) \wedge (B \vee \\ &\neg B) \wedge (A \vee \neg A) \wedge (B \vee \neg A) \stackrel{9}{\cong} ((A \vee \neg B) \wedge 1) \wedge (1 \wedge (B \vee \neg A)) \stackrel{10}{\cong} (A \vee \neg B) \wedge (B \vee \\ &\neg A) \stackrel{11}{\cong} (\neg B \vee A) \wedge (\neg A \vee B) \stackrel{1}{\cong} (B \Rightarrow A) \wedge (A \Rightarrow B) \stackrel{4}{\cong} A \Leftrightarrow B. \end{aligned}$$

- 1) $P \Rightarrow Q \cong \neg P \vee Q$; 2) $P \wedge \neg P \cong 0$; 3) $P \vee 0 \cong P$; 4) $P \Leftrightarrow Q \cong (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$;
5) $\neg \neg P \cong P$; 6) $\neg(P \wedge Q) \cong \neg P \vee \neg Q$; 7) $\neg(P \vee Q) \cong \neg P \wedge \neg Q$; 8) $P \vee (Q \wedge R) \cong$
 $\cong (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$; 9) $P \vee \neg P \cong 1$; 10) $P \wedge 1 \cong P$; 11) $P \vee Q \cong Q \vee P$.

Символ 1 соответствует истинному высказыванию, символ 0 — ложному.

Итак, с точки зрения логики, апории Зенона безупречны, поэтому все попытки найти в них скрытый логический дефект, подобный спрятанной в рассуждениях софистов логической ошибке, заканчивались неудачей. Но апории Зенона содержат трудности более высокого порядка — это философские затруднения, сопряженные с трудностями умопостижения окружающего бытия. Нам не остается ничего иного, как сделать шаг навстречу этим трудностям.

Апории Зенона принято разделять на две группы. Первая группа посвящена доказательству единства бытия, вторая — его неподвижности. Вторая группа — апории *движения*, сохранившиеся в «Физике» Аристотеля, наиболее популярные, поскольку касаются важнейшего и «очевиднейшего» мировоззренческого понятия — понятия *движения*. Недаром некто Антисфен, возражая против апорий Зенона о невозможности движения, просто встал и начал ходить. Найденный Антисфеном остроумный выход из «непроходимостей» Зенона стал популярнейшим историческим анекдотом, который не обошел вниманием и А. С. Пушкин:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить,
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

Как видим, коллизия Зенона и Антисфена потому и пережила тысячелетия, что в ней нашло отражение противостояние двух путей познания мироздания — логического и чувственного, Пути Истины и Пути Мнения. Зенон, как здравый человек, не помышлял отрицать физическое движение, он только указывал на трудности его умопостижения. В целом обе группы апорий Зенона затрагивают сложнейшее математико-философское понятие бесконечности и непрерывности.

Первая апория против множественности гласит:

«Если есть много сущих, их по необходимости должно быть столько, сколько их есть, и не больше их самих, и не меньше. Если же их столько, сколько есть, то они конечны.

Если есть много сущих, то сущие бесконечны по числу, так как между сущими всегда есть другие сущие, а между этих последних — опять другие. Следовательно, сущие бесконечны».

Легко видеть, что данная апория, как, впрочем, и все остальные, полностью отвечает логической цепочке метода Зенона. Предполагая, что сущее множественно, Зенон приходит к двум противоречивым выводам: сущее конечно и сущее бесконечно. Следовательно, не верно, что сущее множественно, значит, сущее едино. Здесь опять-таки, как и в остальных апориях, высвечивается главное противоречие, замеченное Зеноном: внешнее проявление сущего — то, что мы видим, согласно чувственному Пути Мнения, — конечно, тогда как внутренняя структура сущего — то, что мы постигаем разумом на Пути Истины, — *бесконечна*.

Во *второй атории против множественности* говорится:

«Если сущее множественно, то оно должно быть и малым, и большим: настолько малым, чтобы вовсе не иметь величины, и настолько большим, чтобы быть бесконечным». Данный тезис доказывается рассуждением, что если сущее множественно, т. е. представляет совокупность бесконечного числа неделимых элементов, равных нулю, то и бесконечная сумма нулей есть нуль, т. е. сущее не имеет величины. В антитезисе, напротив, утверждает: если неделимые элементы, составляющие сущее, конечны, то бесконечная сумма конечных элементов бесконечна, т. е. сущее бесконечно.

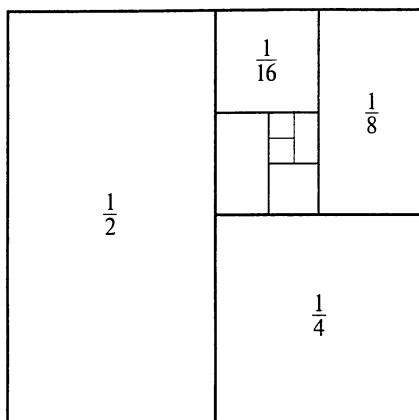
Исторически критика Зенона была направлена против пифагорейцев, которые считали, что любая конечная величина состоит из бесконечного числа лишенных величины неделимых точек — монад. Отметим, что Зенон поставил одну из «вечных» математико-философских проблем: как непрерывное и протяженное складывается из дискретных и непротяженных элементов? как из нульмерных точек можно сложить имеющие измерение величины? как возможно существование «одинакового», согласно Пути Истины, количества точек на разных по длине, т. е. согласно Пути Мнения, отрезках? Мы еще вернемся к поставленным вопросам при рассмотрении апорий движения, пока отметим, что Зенон подготовил парадоксальное представление о математической точке, которая, с одной стороны, есть ничто, так как не имеет величины, а с другой стороны, есть нечто, так как определяется своим положением в пространстве. Но если точка есть ничто, то как в ней можно определить движение или покой? Таким образом, мы подходим ко второй группе апорий Зенона — апориям движения, апориям настолько популярным и знаменитым, что каждая из них имеет собственное имя. Рассмотрим некоторые эпихейремы движения.

«Дихотомия». В «Физике» Аристотеля мы читаем: «Есть четыре аргумента Зенона о движении, которые доставляют трудности тем, кто пытается их решить. Первый — о невозможности движения, так как перемещающееся тело прежде должно дойти до половины, нежели до конца». Апория «Дихотомия» (греч. διχотомία — деление надвое) утверждает, что движение невозможно, так как прежде чем дойти до конца какого-либо отрезка $AB = S$, необходимо пройти его половину, прежде чем дойти до конца половины, нужно пройти половину половины, т. е. четверть пути AB , и так далее до бесконечности. Следовательно, движение вообще не может начаться.

Здесь же, в «Физике», Аристотель пытается преодолеть эту «непроходимость». Согласно Аристотелю, ошибка Зенона состоит в том, что он смешивает два различных понимания бесконечного — бесконечное «в отношении деления» и бесконечное «в отношении границ». Если бесконечное «в отношении границ», считает Аристотель, нельзя преодолеть в ограниченное время, то бесконечное «в отношении деления» — можно, ибо само ограниченное время в отношении деления бесконечно.

Легко видеть, что в данном рассуждении Аристотель просто переложил процесс бесконечного деления с пространства на время, поставив проблему по-другому, но не решив ее. Аристотель, осознавая уязвимость собственного решения, отмечал: «Но такое разрешение достаточно для ответа тому, кто так поставил вопрос... а для сути дела и для истины недостаточно... В непрерывном заключается бесконечное число половин, но только не актуально, а потенциально». Иначе говоря, Аристотель признает, что дихотомия возможна только как мысленный процесс, потенциально, а не фактически, актуально. Но Зенона интересовал именно мыслительный процесс: как мыслить движение, а не как его ощущать. И если движение мыслить по принципу дихотомии, то процесс мышления оказывался незавершенным, а само движение не могло бы начаться. Таким образом, возражение Аристотеля, хотя и разграничивало впервые важнейшие математико-философские понятия, как актуальная и потенциальная, т. е. завершенная и незавершенная бесконечность, существа апории Зенона не затрагивало.

Сегодня любой школьник, знакомый с понятием бесконечно убывающей геометрической прогрессии, без труда «решит» апорию Зенона. Действительно, принимая длину отрезка за S , а скорость движения за V , легко находим общее время движения $t = \frac{S}{V}$, а также вре-



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1$$

Геометрическое суммирование бесконечного ряда посредством дихотомии квадрата площади 1

мя, необходимое на преодоление половины пути $t_1 = \frac{S}{2V}$, четверти пути $t_2 = \frac{S}{4V}$... откуда

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + \dots = \frac{S}{V} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \right) = \frac{S}{V} \frac{1/2}{1-1/2} = \frac{S}{V},$$

т. е. время в пути, согласно чувственному опыту (Пути Мнения) и по схеме Зенона (Пути Истины), одинаково.

Но не следует спешить с выводами по поводу наивности и «малограмотности» древних. Во-первых, просуммировать ряд $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \dots$ скорее всего умел и Зенон, причем без геометрических прогрессий, а просто глядя на картинку, на которой квадрат со стороной 1, т. е. площади $S = 1$, разбивался по принципу дихотомии, т. е. на фигуры площади $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8} \dots$ откуда и следовало, что $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$.

Смысл апории для Зенона заключался в том, как физически представить данный математический процесс. Означает ли дихотомия, что пространство и время бесконечно делимы? Но тогда процесс деления становится незавершенным и движение действительно никогда не начнется? Существует ли завершенная актуальная бесконечность? Последний вопрос до сего времени служит предметом ожесточенных споров математиков, логиков и философов.

«Ахиллес и черепаха» — вторая апория движения, которая по существу ничем не отличается от «Дихотомии» и говорит о том, что

«самое медленное во время бега не будет достигнуто самым быстрым, ибо то, которое преследует, сначала должно пройти туда, откуда отправилось преследуемое, так что более медленное всегда должно быть несколько впереди».

Обозначая расстояние между Ахиллесом и черепахой через S , скорость Ахиллеса — V , а скорость черепахи — W ($V > W$), легко находим время, за которое Ахиллес догонит черепаху:

$$t = \frac{S}{V - W}.$$

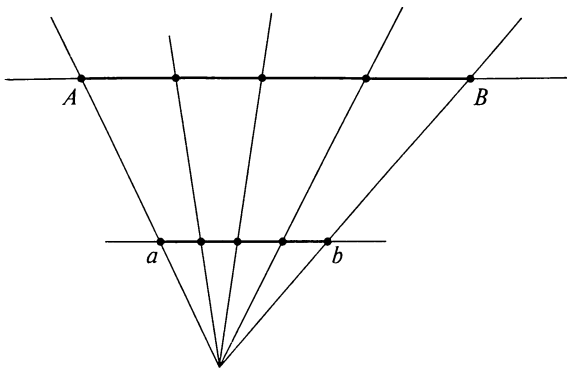
Согласно схеме движения Зенона, время встречи Ахиллеса и черепахи ищется следующим образом. Расстояние S Ахиллес пройдет за время $t_1 = \frac{S}{V}$. За это время черепаха пройдет путь $S_1 = Wt_1 = S \frac{W}{V}$. Расстояние S_1 Ахиллес пробежит за время $t_2 = \frac{S_1}{V} = \frac{S}{V} \cdot \frac{W}{V}$, а черепаха за это время преодолеет расстояние $S_2 = Wt_2 = S \left(\frac{W}{V}\right)^2$. Ахиллес расстояние S_2 пройдет за время $t_3 = \frac{S_2}{V} = \frac{S}{V} \left(\frac{W}{V}\right)^2$ и т. д. Таким образом, Ахиллес догонит черепаху за время

$$\begin{aligned} t = t_1 + t_2 + t_3 + \dots &= \frac{S}{V} + \frac{S}{V} \cdot \frac{W}{V} + \frac{S}{V} \left(\frac{W}{V}\right)^2 + \dots = \frac{S}{V} \left[1 + \frac{W}{V} + \left(\frac{W}{V}\right)^2 + \dots \right] = \\ &= \frac{S}{V} \cdot \frac{1}{1 - \frac{W}{V}} = \frac{S}{V} \cdot \frac{V}{V - W} = \frac{S}{V - W}. \end{aligned}$$

Это то же самое время.

Сегодня от математиков иногда приходится слышать, что Зенон просто не разрешает Ахиллесу переступить за время $t = \frac{S}{V - W}$ и поэтому быстроногий герой Троянской войны у Зенона никогда не догонит черепаху. Но это вульгарная трактовка идей великого элейца. В действительности в «Дихотомии» и «Ахиллесе» Зенона волнует более глубокая проблема: как может начаться (в «Дихотомии») или закончиться (в «Ахиллесе») движение, если пространство и время мыслить бесконечно делимыми, непрерывными?

В неявном виде в апории «Ахиллес и черепаха» Зенон рассматривает и еще одно парадоксальное свойство непрерывного или, по-латыни, континуума. Возьмем две параллельные прямые, на которых отложим пути, пройденные Ахиллесом и черепахой соответственно. Проведем через начала и концы этих путей прямые до точки их пересечения. Проводя внутри полученного угла произвольные



Доказательство «одинаковости» путей Ахиллеса и черепахи

лучи и просто глядя на рисунок, выясняем, что между точками, составляющими пути Ахиллеса AB и черепахи ab , устанавливается взаимно однозначное соответствие, так что, согласно внутренней структуре, оба отрезка получаются одинаковыми, и тогда вполне естественно выходит, что Ахиллес никогда и не должен догнать черепаху! Снова умопостигаемый Путь Истины и осязаемый Путь Мнения расходятся! И снова апория Зенона подводит нас к сложнейшей проблеме современной математики — проблеме континуума.

Сегодня хорошо известно, что два неравных «на вид» множества, обладающих свойством континуума, — например, два различных отрезка или отрезок прямой и вся прямая, или даже прямая и плоскость и даже любое n -мерное пространство — являются равными с точки зрения их внутренней структуры или, как говорят математики, обладают равной мощностью. Факт внутреннего структурного равенства двух внешне неравных множеств поражает каждого, кто впервые с ним сталкивается. Сам Георг Кантор, доказавший уже в наше время равномощность подобных континуальных множеств, испытал острейшую «драму идей», осмысливая собственные результаты. Кантор долгое время отказывался верить своим доказательствам и только после мучительных сомнений признался в них в письме своему другу, математику Дедекинду.

Но атории Зенона за два с половиной тысячелетия до Кантора подводят нас к основному свойству множества мощности континуума, согласно которому между двумя сколь угодно близкими точками существует бесконечное множество точек. Это свойство континуума доступно только разуму, его отказывается понимать чувство. Но именно благодаря этому свойству континуума, пойманному

чуткой интуицией Зенона, и путь, пройденный быстроногим Ахиллесом, и путь неуклюжей черепахи становятся одинаково бесконечно долгими или попросту равными. По той же причине и движение, постигаемое разумом, никогда не может начаться, ибо с самого начала мысль пробуксовывает на пути к ближайшей точке, от которой ее отделяет также бесчисленное множество точек.

Две другие апории против движения — «Стрела» и «Стадий» — являются своеобразными антитезами к рассмотренным двум. Если тезы «Дихотомии» и «Ахиллеса» по существу идентичны и состоят в том, что движение не может ни начаться, ни закончиться в предположении, что пространство и время бесконечно делимы, то «Стрела» и «Стадий» образуют к ним антитезы: движение невозможно и в том случае, если допустить, что пространство и время дискретны, атомарны. Мы ограничимся рассмотрением только одной апории.

«Стрела». «Третий аргумент... гласит, что летящая стрела стоит на месте. Этот вывод проистекает из постулата о том, что время состоит из отдельных “теперь”»: без этого допущения умозаключение невозможно. Если всякое тело покоится там, где оно движется, всякий раз, как занимает равное себе пространство, а движущееся тело всегда занимает равное себе пространство в каждое “теперь”, то летящая стрела неподвижна».

Содержание «Стрелы» таково. Поскольку время полета стрелы представим в виде множества мельчайших, неделимых далее моментов, то в каждом из таких моментов стрела находится в каком-то вполне определенном месте, и это означает, что в каждое мгновение стрела находится в покое. Следовательно, стрела покоится в течение всего полета.

Будучи наиболее простой и вопиюще парадоксальной, апория «Стрела» породила грандиозную дискуссию, начатую Аристотелем и не законченную по сегодняшний день. Аристотель справедливо заметил, что по отношению к мгновению нельзя говорить ни о движении, ни о покое, т. е. понятия движения и покоя имеют смысл не в момент времени t и в точке с координатой x , а в некоторых интервалах времени Δt и в окрестности точки Δx . Тогда, перекидывая мостик от Аристотеля к Ньютону, мы можем охарактеризовать движение стрелы за время Δt и в интервале Δx их отношением, именуемым средней скоростью $\frac{\Delta x}{\Delta t}$. Переходя к пределу в этом отношении при $\Delta t \rightarrow 0$, мы, следуя Ньютону, получим мгновенную характеристику движения или мгновенную скорость тела, именуемую производной:

$$V = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}.$$

Если скорость тела $V = 0$, то тело покоится, если $V \neq 0$, то тело движется.

Но скорость тела — это внешняя характеристика движения, найденная на Пути Мнения. А как покоится и как движется тело? Каковы внутренние пружины этого механизма? Как происходит переход, согласно Пути Истины, от одной точки к ее бесконечно близкой соседке? Чтобы понять данный процесс, интервалы Δx и Δt необходимо устремить к нулю, но это значит допустить бесконечную делимость времени и пространства, и тогда апория «Стрела» перейдет в апорию «Дихотомия». Мы же вновь останемся один на один с непреодолимыми трудностями Зеноновых «непроходимостей».

Мы не можем погружаться в бездну обсуждений и поисков выхода из Зеноновых апорий. Сделаем только замечание по поводу одного их решения, до недавнего времени почитавшегося в нашей философии как единственно верного. Первым данное решение нашел Георг Гегель, который заметил, что движущийся предмет в каждый момент времени находится в данном месте и не находится в нем. Идею противоречивости движения затем разработал Ф. Энгельс: «Движение — само есть противоречие; уже простое механическое перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно — в другом, что оно находится в одном и том же месте и не находится в нем. А постоянное возникновение и одновременное разрешение этого противоречия — и есть именно движение». Казалось, выход найден — все дело в диалектическом понимании движения: в каждый момент времени тело движется и покоится, находится в данной точке и не находится в ней. Но как совместить исключаяющие друг друга утверждения с законами логики, в частности с основным законом логики — законом исключенного третьего, запрещающим одномоментное совмещение двух взаимоисключающих утверждений? Следовательно, необходимо отказаться от логики вообще или строить некую новую, диалектическую логику, в которой закон исключенного третьего может не выполняться? И круг вопросов разрастается вновь.

Таковы в общих чертах трудности, которые с божественной прозорливостью вкладывал в свои апории великий Зенон. В XX в., с развитием квантовой механики, началась новая жизнь Зеноновых эпихейрем в физике элементарных частиц. Атомная физика с удивительной точностью стала воспроизводить противоречия, содержащиеся в апориях Зенона: с одной стороны, она допускает существование неделимых квантов, с другой — признает их чем-то непротяженным; с одной стороны, микрочастицы обладают дискретными

свойствами частиц, с другой — непрерывными свойствами полей. Неожиданное истолкование Зенонова «Стрела» находит в теории регенерационного движения элементарных частиц, согласно которой элементарная частица движется, исчезая в одной пространственной ячейке и возрождаясь в соседней, подобно бегущему по гирлянде огоньку. «Смерть» и «возрождение» частицы объясняются ее взаимодействием с полем, в котором происходит движение.

Таков был Зенон — отважный гражданин и дерзкий философ. Гражданин, не искавший легкой смерти и не заискивавший перед ней. Философ, не избегавший трудностей, а выходявший им навстречу. С именем Зенона открывается новый этап в истории античной философии: Зенон резко обрывает мифолого-эпические повествования предшествовавших ему натурфилософов и смело вводит в философию логико-математическое начало. Философия Зенона — уже не красивая натурфилософская сказка, а скрупулезное логико-математическое исследование. Не случайно и в нашем повествовании в главе о Зеноне появилось так много математики.

Отныне математика и философия пошли рука об руку, и если предшествовавшего Зенону Пифагора можно назвать первым философом в математике, то Зенон — это первый математик в философии. Через сто лет Платон на вратах своей Академии начертит: «Негеометр — да не войдет!», а через 2300 лет «русский Архимед» математик В. А. Стеклов напишет: «Математика всегда являлась и является источником философии, она создала философию и может быть названа “матерью философии”». Апориям Зенона — этому крепчайшему сплаву философской универсальности и математической остроты, как и любой истинной философской проблеме, уготована вечная жизнь на Пути Истины.

Но если сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Зенон пытался защитить учение о едином и неподвижном бытии своего учителя Парменида, то не совсем ясно, против кого именно направлял элейский мудрец стрелы апорий. Возможно, против пифагорейцев, считавших мироздание разложимым на неделимые монады, возможно, против современника Зенона Анаксагора, допускавшего бесконечную делимость элементов мироздания. Так в бескомпромиссных спорах о сущности бытия скрестили философские шпаги два эллинских мудреца, два философа, которые, скорее всего, и в глаза друг друга не видели, — безоглядный подвижник мысли из провинциальной Элеи, дерзкий боец с тиранией Зенон и салонный завсегдатай из столичных Афин, обласканный властью и ею же отринутый, первый афинский философ Анаксагор.



АНАКСАГОР

(ок. 500—428 до н. э.)

*Все вещи были вверх дном, затем
пришел ум и их упорядочил.*

В бескомпромиссных спорах о сущности бытия скрестили философские шпаги два эллинских мудреца, два философа, которые, скорее всего, и в глаза друг друга не видели, — безоглядный подвижник мысли из провинциальной Элеи, дерзкий боец с тиранией Зенон и салонный завсегдатай из столичных Афин, обласканный властью и ею же отринутый, первый афинский философ Анаксагор.

Анаксагор не был коренным афинянином. Он родился около 500 г. до н. э. на противоположном берегу Эгейского моря в Клазоменах — уютном и процветающем полисе малоазийской Ионии. Отец Анаксагора Гегесибул был зажиточным человеком и оставил значительное состояние. Однако юный наследник, не питая страсти к приумножению семейного капитала, забросил земельные владения, уступив их вскоре родственникам. Двадцатилетним эфебом около 480 г. до н. э. Анаксагор появляется в Афинах. То было тревожное, но счастливое для Афин и всей Эллады время.

За полвека до рождения Анаксагора с раскаленных нагорий далекой Персии пахнуло на берега Ионии жаром грядущих пожарищ, впервые услышали там о сыне безвестного вождя полудиких персидских племен Ахемена — новом властителе мира Кире Великом, основоположнике могучей царской династии Ахеменидов. В 546 г. до н. э. Кир завоевал Лидию, захватил в плен ее царя Креза, а вскоре добрался и до берегов Ионии, поработив большинство ее

полисов. Около 500 г. до н. э. ионийские города под предводительством Милета восстали против персов. Однако восстание окончилось полным поражением греков, оно было потоплено в крови и стало прологом полувековой череды греко-персидских войн (500—449 гг. до н. э.).

Начавшийся столь трагично для Древней Греции V в. до н. э. вскоре принес ей ряд блестящих побед, немеркнущую в веках славу и беспримерный культурный взлет. 490 г. до н. э. — знаменитая битва при Марафоне, окончившаяся сокрушительным поражением персидского царя Дария I. 480 г. до н. э. — легендарное сражение при Фермопилах, принесшее греческим воинам смерть и славу, а Ксерксу — недолгую победу. 480 г. до н. э. — разгром персидского флота у острова Саламин. 479 г. до н. э. — поражение персидской армии при Платеях, персидского флота при мысе Микале и начало уникального в истории Эллады *пятидесятилетия* (479—431 гг. до н. э.) — времени высочайшего расцвета классической Греции, закончившегося в 431 г. с началом злосчастной для Эллады, и в особенности для Афин, междоусобной Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами (431—404 гг. до н. э.). Наконец, апогей расцвета — знаменитый «Периклов век», длившийся всего 32 года, с 461 по 429 г. до н. э., — от прихода Перикла к власти до его смерти. Таковы важнейшие исторические события, сопровождавшие жизнь Анаксагора, который только на один год пережил своего друга Перикла.

Итак, около 480 г. до н. э. Анаксагор появился в Афинах, и Афины стали его второй родиной. Хотя Анаксагор был чужестранцем и потому не мог обладать политическими правами, коими наделялись коренные афиняне, он не считался провинциалом. Напротив, это Афины оставались пока интеллектуальной провинцией Эллады, ибо философская мысль Древней Греции происходила либо из Ионии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит), либо из Великой Греции, также населенной выходцами с малоазийского побережья (Пифагор, Парменид, Зенон, Эмпедокл). Однако уже на глазах Анаксагора афинская философская школа вместе со всей Элладой совершила невиданный взлет и вскоре подарила миру трех величайших философов — Сократа, Платона и Аристотеля. Лавры основоположника афинской школы по праву принадлежат Анаксагору.

Традиция рисует Анаксагора отрешенным от мирской суеты ученым. Мы уже упоминали о том, что будущий философ забросил доставшиеся ему владения, а когда родственники упрекнули его в нерадении к отцовскому наследству, ответил: «Так что же вы не ра-

деете о нем!» — и к обоюдному удовлетворению уступил им свои земли. Впрочем, родственники явно переоценили свое рвение к землеустройству, и спустя много лет, найдя отцовские владения в еще большем запустении, Анаксагор заметил: «Я не был бы спасен, если бы они не погибли».

Однако Анаксагор вовсе не был праздным повесой, он знал, ради чего следует жить: «для того, чтобы наблюдать небо и на нем звезды, Луну и Солнце». Через 500 лет эту мысль Анаксагора повторил римский философ Луций Анней Сенека (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.), так и не сумевший привить ее своему воспитаннику Нерону: «Если бы на Земле было только одно место, откуда можно наблюдать звезды, к нему непрерывно со всех концов стекались бы люди». А еще через 2000 лет русский поэт Константин Бальмонт (1867—1942), вторя Анаксагору, писал:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце
И выси гор.

Без промедлений окунулся юный клазоменец в бурлящую жизнь Афин и вскоре стал в ней заметной фигурой. Победа над персами при Саламине и Платеях, вдохнув в афинян заряд энергии, наполнила их сердца кипучим патриотизмом, а души — светлой радостью. Сожженные персами после их скоротечной победы при Фермопилах Афины отстраивались заново. И вместе с новым городом, вместе с бессмертными шедеврами высокой классики росло и новое здание афинской философии.

Мы не знаем, при каких обстоятельствах Анаксагор сблизился с Периклом, но небольшая разница в возрасте — около десяти лет, — безусловно, позволяла выходцу из просвещенной Ионии стать не просто наставником, но и другом юного афинянина. Дружба Анаксагора и Перикла, длившаяся почти полвека, благотворно влияла на их судьбы. Перикл, рано занявший центральное место в общественной жизни города, а с 443 г. до н. э. ставший во главе афинского государства, ввел чужеземца в среду городской элиты, а впоследствии защищал свободную мысль философа от нападков той же элиты. Анаксагор, по свидетельству Плутарха, был «самым близким Периклу человеком, который вдохнул в него величественный образ мыслей, возвышавший его над уровнем обыкновенного вожака народа, и вообще придал его характеру высокое достоинство».

Знания, полученные великим стратегом от великого философа, не только обогатили внутренний мир Перикла, но и нередко

помогали ему в трудную минуту. Так, в начале Пелопоннесской войны произошло полное солнечное затмение, вызвавшее среди афинян панику. «Уже войска сели на суда и сам Перикл взошел на свою триеру, — рассказывает Плутарх, — как вдруг.. наступила темнота, все перепугались, считая это важным предзнаменовани-ем. Перикл, видя ужас и полную растерянность кормчего, поднял свой плащ перед его глазами и, накрыв его, спросил, неужели в этом есть какое-нибудь несчастье или он считает это предзнамено-ванием какого-нибудь несчастья. Тот отвечал: “Нет”. “Так чем же то явление отличается от этого, — сказал Перикл, — как не тем, что предмет, который был причиной темноты, больше плаща?” Затем Перикл объяснил, что это Луна заслоняет диск Солнца, что такое возможно только в новолуние, хотя и не каждое, и что эти знания ему сообщил мудрец Анаксагор. Страх воинов прошел, и триеры благополучно отплыли».

К тому времени авторитет Анаксагора как мудреца, постигающего тайны мироздания, был огромен, чему в значительной мере способствовало предсказанное философом падение крупного метеорита в далекой от Афин Фракии. Сегодня совершенно оче-видно, что никакого рационального начала за этим предсказанием не стоит, и самое большее, на что мог опираться Анаксагор, — это знание периода выпадения метеоритных дождей. Однако на совре-менников пророчество афинского мудреца произвело неизгла-димое впечатление, оно вошло в анналы античной науки, так что и полтысячелетия спустя римский ученый и государственный деятель Плиний Старший (23/24—79) в «Естественной истории» — 37-томной энциклопедии естественнонаучных знаний антично-сти — писал: «Греки восхваляют Анаксагора Клазоменского за то, что он во втором году 78-й олимпиады (467/466 до н. э. — *А. В.*) предсказал с помощью науки о небе, когда упадет с Солнца боль-шой камень, что и случилось днем в той части Фракии, которая примыкает к Эгоспотамам. Этот камень показывают и теперь: он — величиной с воз, опаленного цвета. В то время по ночам пылала в небе комета». Возможно, рассматривая упавший метеорит, Анак-сагор и пришел к «крамольной» мысли о том, что не только мете-ориты, но и все небесные светила, в том числе и божественное Солнце, есть не более чем раскаленные камни, — мысли, за кото-рую он впоследствии чуть было не поплатился жизнью.

Тем временем, пока Анаксагор размышлял о природе небес-ных светил, о разумном устройстве и красоте мироздания, его друг Перикл был сражен неземною красотой юной гетеры Аспазии и

совсем потерял разум. Перикл оставил жену с двумя сыновьями и женился на пленительной милетянке. Надо сказать, что Аспазия была не просто трепетной красавицей гетерой, не только обжигающей танцовщицей и умиротворяющей флейтисткой, любящей женой и хранительницей очага, но умнейшей, образованнейшей женщиной. Чары Аспазии не только сразили Перикла, но и собрали вокруг нее едва ли не всех лучших мужей города.

Сегодня трудно вообразить, как одна женщина могла объединить столь многих и столь разных индивидуальностей, как в одно время под одной крышей могло уместиться столько гениев! Помимо мужа Аспазии, великого стратега Эллады Перикла, сюда приходили и «отец истории» Геродот — неутомимый путешественник, страстный собиратель и глубокий аналитик событий всей Ойкумены, и лучшие ученики опального «отца трагедии» Эсхила Софокл и Еврипид*, и прославленный скульптор Фидий, к гению которого только единожды и лишь через две тысячи лет смог приблизиться великий Микеланджело, и знаменитые создатели Парфенона зодчие Иктин и Калликрат, и, наконец, «отец афинской философии» Анаксагор. Не хватало здесь только босоногого насмешника с афинской агоры Сократа — он был слишком молод, да и чересчур задирист.

Воистину Аспазия была доброй музой для каждого из членов ее кружка, а ее дом стал подлинным афинским Парнасом. Однако вне стен дома Аспазии жизнь ее друзей протекала отнюдь не спокойно. Чем больше Перикл и Фидий делали для Афин, тем большую озлобленность у толпы вызывали плоды их трудов. А дела Перикла и Фидия были поистине грандиозны.

Перикл довел до совершенства начатое Солоном демократическое устройство афинского общества. Вся власть в государстве принадлежала народному собранию, которое выбирало высших должностных лиц по гражданским делам — архонтов — и по военным — стратегов. Структура государственного механизма была отлаженной: 10 стратегов руководили вооруженными силами, 10 астиномов надзирали за состоянием улиц и построек, 10 агораномов ведали торговлей, 500 пританов осуществляли исполнительную власть, 6000 гелиастов составляли суд присяжных (гелия), который обновлялся каждый год, причем в рассмотрении граждан-

* Традиция так соотносит биографии трех звезд античной трагедии: в 480 г. до н. э., когда участник Марафонской битвы сорокапятилетний Эсхил сражался с персами при Саламине и победил, юный Софокл праздновал эту победу в хоре мальчиков в Афинах, где в то же время родился Еврипид.

ских дел участвовало до 500, а уголовных — до 1000 судей. Три принципа: исегории — свободы слова, исотимии — равенства в занятии должности, исономии — равенства перед законом — составляли основу деятельности народного собрания, собираемого раз в месяц. Каждый афинянин мог выступить на суде истцом против любого гражданина или государственного деятеля и потребовать для обвиняемого любой меры наказания: от ostracism* (изгнания из Афин) до смертной казни. При всех достоинствах столь совершенной демократии очевидно, что популярные в Афинах личности и не только государственные деятели, но даже служители муз, как Фидий, философы, как Анаксагор или Сократ, — становились заложниками афинского демоса. Причины данного явления верно объясняет Гегель в «Лекциях по истории философии»: «От своих повелителей, которым он разрешал превосходство, афинский народ в своей свободе требовал актов, которые давали чувствовать этим повелителям их унижение перед народом; последний сам был Немезидой (богиней справедливости и возмездия. — *А. В.*) за превосходство, которое имели над ним великие люди, восстанавливая, таким образом, равновесие между ним и ими».

Ярким свидетельством подобного положения дел служит история афинского архонта Аристиды, прозванного за неподкупность Справедливым. Во время перевыборов Аристиды его сосед, неграмотный афинянин, попросил архонта написать имя Аристиды на черепке, что означало недоверие архонту. Аристид исполнил просьбу соседа и спросил: «Что плохого сделал тебе этот человек?» — «Ничего, — последовал ответ. — Я даже не видел его в глаза. Но мне надоело слышать, что его постоянно называют Справедливым». Аристиды приговорили к десяти годам изгнания.

Помимо государственного строительства Перикл развернул грандиозные работы по возрождению Афин и прежде всего по реконструкции Афинского акрополя, который он мыслил превратить в символ величия и славы Афин. Замыслы Перикла воплощал в мраморе его друг Фидий. В необычайно короткие сроки священный холм Акрополя украсили жемчужины мирового искусства: бронзовая статуя Афины-Воительницы, чье сверкающее на солнце копые было видно уже с моря, торжественный вход на Акрополь — Пропилеи, главный храм Акрополя — величественный и изящный

* **О с т р а к и з м** (греч. ostracismós — суд черепков, от ostrakon — черепок) — в Древних Афинах изгнание из города отдельных лиц по постановлению народного собрания. Функцию бюллетеня для голосования исполнял обыкновенный глиняный черепок.

Парфенон, внутри которого находилась двенадцатиметровая статуя из слоновой кости и золота Афины-Девы (Афины-Парфенос). Уже современники осознавали уникальность шедевров Афинского акрополя. «Они так хороши и многочисленны, — сказал в IV в. до н. э. оратор Демосфен, — что ни для кого из следующих поколений не осталось возможности их превзойти».

Поражают масштабы строительства: каждая из 58 десятиметровых колонн Парфенона — это 350 тонн мрамора, обтесанного вручную и поднятого вручную на стометровую высоту священного холма; рельефный фриз Парфенона — 160 метров непрерывной скульптуры, каждый обломок которого является сегодня предметом вождения любого из лучших музеев мира; 365 фигур людей и 227 фигур животных — гимн в камне неистощимой фантазии Фидиевого гения; статуя Афины-Девы — не только повергавшее всех в изумление изображение богини, но и бесчисленное число пригнанных друг к другу кусочков слоновой кости и 1200 килограммов чистого золота. Поражают темпы строительства: Парфенон, который и по сей день изумляет исследователей скрупулезной продуманностью деталей, включая поправки на оптические иллюзии, был сооружен за 9 лет (447 — 438 гг. до н. э.). Пропилеи построены за 5 лет (437 — 432 гг. до н. э.).

И этот титанический труд Перикла и Фидия ждала «благодарность» афинского демоса. Понимая, что Перикла не так-то легко свергнуть, возглавившие толпу вождь радикалов Клеон и вождь аристократов Фукидид решили действовать более тонко и начали кампанию против кружка Аспазии. Первым в их списке стоял Фидий. Скульптора обвинили в краже дорогой слоновой кости и золота. Последовала кропотливая и унижительная процедура разборки статуи Афины-Девы и взвешивания ее драгоценностей. Фидий был оправдан. Но атакующая сторона зашла с другого фланга. Теперь скульптора обвиняли в святотатстве — лику богини Афины он придал черты гетеры Аспазии, а на щите Афины изобразил себя в облике легендарного скульптора Дедала и Перикла в виде героя Тесея. Эти обвинения не подлежали взвешиванию, и снять их было гораздо труднее. Измученного бесконечными разбирательствами, Фидия отпустили под крупный денежный залог жителей Олимпии, где он создал очередной шедевр — статую Зевса. Подследственный Фидий не тянул время. Как всегда, он творил в истовом упоении и завершил гигантскую семнадцатиметровую статую Зевса (одно из семи чудес света) в фантастически короткие сроки. Затем Фидий

вернулся в афинскую тюрьму, где в 431 г. до н. э., так и не дождавшись оправдания, нашел вечное упокоение.

Следующей жертвой клеветников стала Аспазия. Разумеется, красавицу гетеру, ради которой Перикл оставил жену, проще всего было обвинить в сводничестве и разврате. Так и было сделано, причем «богомерзким притоном» обвинители назвали мастерскую Фидия. Аспазию на суде защищал сам Перикл. Искусный оратор, Перикл говорил страстно и взволнованно, а под конец речи на его глазах блестели слезы. Обвинение с Аспазии сняли. Но стратег был унижен и морально сломлен, что и требовалось сделать.

Наконец пробил час и для Анаксагора. В 432 г. до н. э. жрец Диопиф протащил через народное собрание закон, классифицирующий непочитание богов и естественнонаучные взгляды на мироздание как государственное преступление. В принятии этого закона определенную роль сыграл и друг Анаксагора Софокл, который вместе с Эсхилом способствовал возрождению мифологического мироощущения у древних греков, вдохнув в него вторую жизнь. На фоне мифолого-поэтических трагедий Эсхила и Софокла рассуждение Анаксагора о том, что Солнце есть не колесница бога Гелиоса, а только огромный раскаленный камень, и впрямь выглядело святотатством.

Опытный политик, Перикл трезво оценил ситуацию и понял, что на этот раз его красноречие не поможет. Он уговорил друга тайно бежать из Афин. По другой версии, Анаксагор был заключен под стражу, где в ожидании суда занимался проблемой квадратуры круга. Суд якобы приговорил Анаксагора к смертной казни, но стратег добился ее замены — изгнанием. С величием мудреца принял Анаксагор известие о казни, произнеся крылатые слова: «Природа давно уже приговорила и меня, и моих судей к смерти». В любом случае около 430 г. до н. э. от Пирейской гавани к берегам Малой Азии отбыл корабль, увозивший Анаксагора. За горизонтом, где синева неба сливалась с лазурью моря, воображение рисовало берега родной Ионии. Крут жизни замыкался. «Не я теряю Афины, а Афины меня», — сказал изгнанник.

Вместе с Афинами Анаксагор прощался и с лучшими годами жизни, годами томительных сумерек раздумий и сверкающих молний озарений. Но как похожи (при всем многоцветье идей) судьбы мудрецов! За сто лет до Анаксагора такой же деревянный парусник увозил от родного Самоса не пришедшегося ко двору Поликрата философа Пифагора. А через два с лишним тысячелетия неугодных мудрецов вывозили уже стальными лайнерами: в 1922 г. несколько-

ми «философскими пароходами» лучшие умы России, ее пророки, ее совесть и слава — Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Лев Карсавин, Николай Лосский и десятки, сотни ведущих профессоров обеих российских столиц — навсегда были изгнаны из своего Отечества.

Благодаря покровительству влиятельного друга Анаксагор избежал смертной казни. Но ровно через 30 лет, в 399 г. до н. э., в тех же Афинах смерть за образ мыслей принял великий мудрец Эллады Сократ. Ровно через 2000 лет, в 1600 г., в Риме за космологические и философские взгляды взошел на костер Джордано Бруно. А в 1943 г. в саратовской тюрьме опять-таки за научные убеждения был замучен Николай Вавилов. Будет ли в третьем тысячелетии в этом трагическом списке поставлена точка? Или вечным приговором человечеству продолжат вершиться слова из Евангелия: *нет пророка в отечестве своем?*

Достигнув берегов Малой Азии, Анаксагор поселился в небольшом городке Лампсак на берегах Геллеспонтского пролива. Здесь опальный столичный мудрец был принят с почетом и остаток дней посвятил обучению юношества. Увы, жить ему оставалось совсем немного. Позорное афинское судилище над кружком Аспазии, унижительная смерть Фидия морально сломили философа, да и физические силы были уже на исходе. Возможно, последней каплей для него стало известие о нелепой смерти Перикла во время страшной эпидемии чумы, поразившей Афины. Только два года прибавил в Лампсак мудрец к своим семидесяти. В 428 г. до н. э. Анаксагор умер. Эпитафия на его могильном камне гласила:

Здесь лежит Анаксагор,
проникший до крайнего предела истины
в познании небесного космоса.

В своем последнем желании лампсакский учитель еще раз продемонстрировал несуетную мудрость и тонкое знание не только макрокосма Вселенной, но и микрокосма человека. По завещанию Анаксагора ежегодно, в месяц его кончины, в лампсакских школах объявлялись каникулы и устраивался детский праздник. Говорят, обычай этот сохранялся в Лампсак многие века. Так сотни юных эллинов чтит память своего мудрого Учителя.

Но был ли великий эллин, приговоренный афинским судом за безбожие к смертной казни, атеистом в сегодняшнем смысле этого слова? Пожалуй, нет. Напротив, Анаксагор стал первым из мыслителей, кому с особой остротой было присуще чувство религиозного восхищения перед красотой и совершенством мироздания. Анаксагор стал первым, кто пришел к идее *мирового Разума*.

Наблюдая за работой Фидия, Анаксагор все более убеждался, что только Разум есть истинный водитель рук скульптора, только Разум превращает бесформенные глыбы мрамора в прекрасные статуи, слагает каменные цилиндры и брусья в торжественные храмы, направляет руки гончара и мысль законодателя. Всматриваясь в звездное небо над Акрополем, философ все более укреплялся в мысли, что только Разум способен превратить клокочущую пучину первородного Хаоса в сияющий гармонией и совершенством порядок Космоса. Анаксагор не только первым уверовал в идею мирового Разума, творящего мировую гармонию, но и привил эту веру последующим естествоиспытателям вплоть до Галилея, Кеплера, Ньютона, Эйнштейна. Последний считал эту веру основой всякого научного творчества: «Без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло бы быть никакой науки. Эта вера есть и всегда останется основным мотивом всякого научного творчества».

Анаксагор назвал мировое разумное начало «Нусом», что в переводе с греческого означает «ум», «смысл», «разум». «И то, что смешивается, и то, что выделяется, и то, что разделяется, — все это порождает Ум, — утверждает Анаксагор. — И все, чему суждено было быть, и все, что было, но чего нет теперь, и все, что есть теперь и будет в будущем, — все это упорядочил Ум, равно как и это круговращение, в котором кружатся теперь звезды, Солнце и Луна, и эфир». Впоследствии и самого Анаксагора прозвали Умом. Произошло это, как поясняет Плутарх, «потому ли, что удивляясь его великому, необыкновенному уму, проявлявшемуся при исследовании природы, или потому, что он первый выставил принципом устройства Вселенной не случаи или необходимость, но ум, чистый, несмешанный». Итак, Нус сообщил порядок и структуру изначальному Хаосу материи. Нус сделал мироздание царством порядка, гармонии и красоты. Нус есть творец и «автократор» — самодержец Вселенной.

Учение Анаксагора о мировом Разуме — Нусе — было высоко оценено современниками и явилось основополагающей вехой в истории мировой религиозно-философской мысли. В IV в. до н. э. весьма скупой, если говорить мягко, на оценки предшественников Аристотель заметил, что Анаксагор, признавший Нус «виновником благоустройства мира и всего мирового порядка, представляется единственно трезвым среди зря болтавших». В конце XX в. выдающийся религиозный мыслитель отец Александр Мень в связи с учением о Нусе писал: «С учением Анаксагора впоследствии связывали первое, так называемое “космологическое” доказательство бы-

тия Божия. В строгом смысле “доказательством” назвать его невозможно. И вообще, Божественное сверхбытие не может быть “выведено” на основе данных тварного мира. Тем не менее познание природы может дать некое *свидетельство* о Творце, на которое указывал апостол Павел в Послании к римлянам и которое рождало у многих людей благоговейное преклонение перед мировым Разумом».

Необходимо отметить, что философская система Анаксагора явилась естественной реакцией на дерзко парадоксальное учение о бытии Парменида. С одной стороны, основные постулаты философии Парменида о том, что бытие едино и неизменно, безусловно, импонировали всякому философу, ибо открывали возможность находить единые и неизменные законы бытия, в чем и состоит смысл философии. С другой стороны, повседневный опыт каждого мудреца свидетельствовал о том, что бытие не едино и не неизменно. В попытках примирить противоречие между логикой и опытом, разумом и чувством родились философские системы Анаксагора, Демокрита и Платона. Все они стремились по-новому «склеить» мир, расколотый Парменидом на Путь Истины и Путь Мнения.

Пытаясь выделить некие устойчивые, неизменные первоначала бытия, Анаксагор приходит к идее мельчайших материальных частиц, которые не рождаются и не гибнут, но лишь соединяются и разъединяются в различных комбинациях, охватывая все многообразие мироздания. Эти частицы Анаксагор назвал «семенами», по-гречески «сперматами», а с легкой руки Аристотеля их стали именовать «гомеомериями», т. е. «себеподобными». Гомеомерии есть мельчайшие, сверхчувственные, невидимые, бесконечно делимые частицы. Их бесконечно много — столько, сколько существует в природе веществ. Это и вода, и земля, и золото, и железо, и кровь, и т. д. Таким образом, в отличие от Фалеса, считавшего первоосновой воду, или Анаксимена, видевшего началом мира воздух, или Эмпедокла, положившего в основу мироздания знаменитые четыре стихии — воду, воздух, землю и огонь, Анаксагор вводит бесконечное число себеподобных «первоначал».

Интересно, что к теории *гомеомерий* Анаксагор пришел не умозрительным, а индуктивным путем. Наблюдая за качественными изменениями вещества в природе и прежде всего в организме животных и человека, мудрец задумался: «Как из неволоса мог возникнуть волос и из немяса мясо?» Следуя Пармениду, Анаксагор считал, что ничто не может возникнуть из ничего, т. е. из небытия. Но если тело человека воспроизводит себя благодаря пище, значит,

в ней, в пище, должны содержаться все элементы — гомеомерии, составляющие все органы тела. Следовательно, в каждом веществе присутствует весь набор гомеомерий, и только их последующий количественный или структурный состав определяет признаки того или иного вещества. В воде преобладают гомеомерии воды, в воздухе — гомеомерии воздуха и т. д.

Далее Анаксагор принимает и второй тезис элеатов о неизменности, вечности бытия. Прилагая принцип неизменности бытия к теории гомеомерий, Анаксагор приходит к основополагающему принципу «все во всем». Другими словами, в любой части мироздания содержатся все гомеомерии, всех видов и всех качеств, так что «вещи, находящиеся в едином космосе, не отделены друг от друга, и не отсечено топором ни теплое от холодного, ни холодное от теплого». «Во всем есть часть всего» — гласит основной принцип Анаксагора.

Итак, желая отыскать единые и неизменные первоосновы бытия, Анаксагор принимает два тезиса элеатов: *бытие неизменно и небытия нет*. В то же время, пытаясь объяснить бесконечное многообразие мира, непрерывную текучесть природы, Анаксагор приходит к утверждению *множественности бытия и бесконечной делимости бытия*. Здесь он противоречит двум тезисам Парменида о том, что *бытие едино* и *бытие неделимо*. Не в эту ли часть учения Анаксагора и была направлена разящая «Стрела» Зенона, которая вместе с «Дихотомией» и «Ахиллесом» с математической убедительностью показывала, что допущение бесконечной делимости бытия (пространства или времени) приводит к абсурду?!

Несмотря на экзотичность учения о гомеомериях, многие содержащиеся в нем идеи выглядят удивительно современно. Основной принцип Анаксагора «все во всем» с точки зрения современной атомной физики означает самоподобие любой части — бесконечно большой или бесконечно малой — Вселенной, определяемое одинаковостью составляющих эти части современных «гомеомерий» — протонов, мезонов, нуклонов и т. д. Когда Анаксагор утверждает, что «золотом кажется то, в чем много золотого, хотя в нем есть все», его утверждение для современного физика покажется вполне логичным. «Золотое» в золоте определяет структура его атома — это 6 электронных уровней, 79 электронов ($1 + 18 + 32 + 18 + 8 + 2$), 79 протонов, 118 нейтронов и т. д. С любым другим атомом атом золота роднит именно качественный спектр элементарных частиц — все то, что есть и в других атомах, те же электроны, протоны, нейтроны и т. д.

Идея бесконечной делимости гомеомерий во второй половине XX в. также получила неожиданное развитие. Действительно, катастрофический рост числа «элементарных» частиц привел современную ядерную физику к критическому пересмотру воззрений об их элементарности. Сегодняшняя теория гласит, что «экс-элементарные» частицы — протон, нейтрон, мезон, гиперон и др. — состоят из различных комбинаций трех типов *кварков* — новых «кирпичиков мироздания». Однако физиков сегодня терзает вопрос: будут ли кварки последними неделимыми «гомеомериями» в дальнейшем погружении в тайны микромира? И не окажется ли прав негибачаемый материалист Ленин, запальчиво воскликнувший в начале прошлого века, что электрон неисчерпаем, так же как и атом, тем самым отвергнув учение своего любимого материалиста Демокрита и встав на сторону идеалиста Анаксагора? Воистину вопросы эти вечны, как вечно мироздание!

Заметим наконец, что определение Анаксагором бесконечной делимости гомеомерий, когда «в малом нет наименьшего, но всегда есть еще меньшее», явно перекликается с определением бесконечно малой величины или, точнее, определением предела — основополагающего понятия современной математики, точная формулировка которого была дана в середине XIX в. Огюстеном Коши (1789—1857).

Но что или кто определяет количество и структуру комбинируемых гомеомерий? Что или кто смешивает и расставляет гомеомерии по местам, т. е. в конечном счете творит то или иное вещество? Эту почетную роль Анаксагор отводит Нусу — мировому Разуму. Нус правит бал во Вселенной, он определяет пропорции, в которых комбинируются гомеомерии, он задает их структуру, он вершит прошлое, настоящее и будущее, он создает порядок, красоту и совершенство мироздания.

Каким образом это происходит? Нус приводит первородный Хаос в круговое движение. Под действием центробежных сил легкое отделяется от тяжелого, теплое — от холодного, светлое — от темного и т. д. В неподвижном центре мироздания собирается все тяжелое, влажное, темное. Так образуется Земля. Все легкое, сухое, светлое устремляется вверх, образуя Небо. Мировой эфир, прикасаясь с вращающейся Землей, отрывает от нее камни. Камни воспламеняются, образуя звезды, Луну, Солнце. Раскаленные камни удерживаются на небе благодаря вращению, однако иногда они срываются со своих орбит и падают на Землю. Это метеориты.

Как видим, космогония Анаксагора достаточно хорошо разработана. Нус выполняет в ней роль своеобразного «перводвигателя».

Он запускает механизм Вселенной, а затем не вмешивается в его работу. Именно так через 2000 лет представлял себе роль Творца во Вселенной первооткрыватель математических законов мироздания Исаак Ньютон.

Но как Нус из «немяса» делает мясо? Как Нус осуществляет построение живых организмов? Разумеется, на эти вопросы у Анаксагора ответов нет. Впрочем, и современная биофизика знает далеко не все ответы, в связи с этим вспоминаются слова Галилея о том, что мы хорошо знаем законы движения небесных светил, но мы не знаем законов журчащего у наших ног ручейка. После того как Нус сообщил миру первотолчок, у Анаксагора он бездействует.

Столь безучастное отношение Анаксагорова Нуса к судьбам мира вызывало критику уже у древних. Так, Платон устами Сократа в диалоге «Федон» говорит: «Однажды мне кто-то рассказал, как он вычитал в книге Анаксагора, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Разум; и эта причина мне пришла по душе, я подумал, что это прекрасный выход из затруднений, если всему причина — Разум... С величайшим рвением принялся я за книги Анаксагора, чтобы поскорее их прочесть и поскорее узнать, что же всего лучше, а что хуже. Но с вершины изумительной надежды, друг Кебет, я стремглав полетел вниз, когда, продолжая читать, увидел, что Разум у него остается без всякого применения и что порядок вещей вообще не возводится ни к каким причинам, но приписывается — совершенно нелепо — воздуху, эфиру, воде и многому иному».

Не только Платон, но и современники Анаксагора позволяли себе критические высказывания в адрес его философской системы. Видимо, не случайно имя Анаксагора, как и Гераклита, стоит особняком в истории греческой философии, от него не тянется шлейф учеников и последователей, как от Фалеса, Парменида и тем более Пифагора. Над учением Анаксагора открыто смеялся известный насмешник Демокрит, поэтому и не был принят Анаксагором в круг учеников. Тем более расходились Анаксагор и Демокрит во взглядах на природу материи: первый видел в основе мироздания бесконечно делимые гомеомерии, второй считал, что материя состоит из неделимых частиц — атомов.

Анаксагор и Демокрит не только расходились во взглядах на первоосновы бытия. Облик этих двух мыслителей также был диаметрально противоположным. Если Анаксагор вместе с Гераклитом за свой скорбно-сосредоточенный вид получил прозвище «плачущего философа», то Демокрита, который без смеха не появлялся на людях, молва окрестила «смеющимся философом».



ДЕМОКРИТ

(ок. 470 до н. э. — ?)

Найти одно причинное объяснение я предпочел бы сану персидского царя.

Если Анаксагор вместе с Гераклитом за свой скорбно-сосредоточенный вид получил прозвище «плачущего философа», то Демокрита, который без смеха не появлялся на людях, молва окрестила «смеющимся философом». Однако смех Демокрита скорее был смехом сквозь слезы — и это роднит его с Анаксагором и Гераклитом, ибо смеялся Демокрит, как утверждает Сенека, поскольку ему казалось несерьезным все, что делалось людьми всерьез. Смеялся он оттого, что достойной смеха ему представлялась вся людская суета. И в этом смысле все мудрецы оказываются «плачущими», ибо, как сказал на другом берегу Средиземного моря библейский мудрец Екклезиаст, «во mnogой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь». Жизнь и судьба Демокрита — лучшее тому подтверждение.

...Клубы пыли, поднимаемые всадниками и пехотой, заслоняли солнце. Зловещие змеиные извивы гигантской колонны начались за горизонтом и уходили за горизонт. Там, далеко впереди, где жаркая пыль Эллады еще не клубилась под сандалиями воинов, 365 юных магов в пурпурных одеждах несли священный вечный огонь. За ними шли бессчетные отряды различных народностей: прежде всех персы в пестрых хитонах и с плетеными щитами, мидяне с короткими копьями и большими луками с камышовыми стрелами, ассирийцы в медных шлемах, бактрийцы с обоюдоострыми боевыми секирами, скифы в островерхих тюрбанах, индий-

цы в хлопковых одеждах, арабы в длинных бурнусах, эфиопы с лошадиными шкурами на головах, ливийцы в кожаных доспехах, парфяне, хорасмии, согдийцы, гандарии, каспии, утии, парикании, пафлагонцы, мариандины, сирийцы, фригийцы, армении, мосхи, мары и т. д.

Через интервал, чтобы пыль если не осела, то хотя бы успокоилась, шествовала тысяча отборных персидских всадников и тысяча отборных копьеносцев. Потом следовали десять священных нисейских коней огромного роста и в роскошной сбруе, за ними восемь белых коней везли священную колесницу бога Солнца Ахурамазды. Возница шел позади коней, держа в руках узду, ибо никто из смертных не мог осквернить седалище колесницы. Далее снова шли знатные копьеносцы, отборные всадники, пешие воины, снова нестройные полчища покоренных народов и, наконец, повозка с матерью царя, повозка с женою, множество женщин из свиты обеих цариц, пятнадцать кибиток с детьми царя и их воспитателями, 365 царских наложниц, толпы евнухов. Следом на 600 мулах и 300 верблюдах везли царскую казну в сопровождении многочисленной охраны. Потом снова ехали женщины — теперь жены царских приближенных, толпы работорговцев, торговцев, снабженцев и др. В конце колонны шел арьергардный отряд, руководивший ее движением и беспрестанно сновавший вдоль нее.

Так в 480 г. до н. э. персидский царь Ксеркс начал шествие по земле Эллады. Еще не вступив ни в один бой, армия Ксеркса сметала все съедобное на своем пути, а конница персов, по свидетельству Геродота, выпивала целые озера. Казалось, не только ничто живое, но и никакая природная сила не в состоянии была удержать могучую людскую лавину.

Но свершилось чудо. В отчаянных схватках при Фермопилах, Саламине, Платеях греки разгромили персов или, по крайней мере, нанесли им серию смертельных ударов. Не прошло и года, как по той же дороге Ксеркс с остатками поверженной армии бежал к спасительной переправе через Геллеспонт.

Однако не все греки были единодушны в священной борьбе за независимость родины. Многие северные провинции равнодушно наблюдали за смертельной схваткой в центре Эллады, более того, некоторые из них помогали персам. Чем дальше отстоял полис от Афин, тем «ближе» оказывался он к персам, поэтому неудивительно, что наиболее неблагоприятную роль в войне с персами сыграла Абдера — самый северный полис самой северной провинции Фракии. Абдериты давно слыли среди греков хитрыми и коварными

лицемерами, прикидывающимися наивными простачками. Геродот свидетельствует, что «Ксеркс со времени бегства из Афин здесь впервые развязал свой пояс, чувствуя себя в безопасности». Царский прием и домашний уют поверженный Ксеркс нашел в доме абдерского богача Дамасиппа — отца будущего философа Демокрита.

Но, как говорится, нет худа без добра. Размягченный сладким вином и богатыми яствами, Ксеркс решил по-царски отблагодарить радушного хозяина. Он подарил Дамасиппу шитую золотом тиару, украшенный золотом меч (именно он, по словам Ксеркса, должен будет подсказать Дамасиппу правильное решение, если тот задумает нарушить союз с Ксерксом), а для воспитания сыновей Дамасиппа оставил своих лучших мудрецов — магов и халдеев. Персидский правитель сделал воистину царский подарок, ибо персам под страхом смерти запрещалось открывать свою мудрость чужеземцам. Заметим также, что Демокрит, младший из трех сыновей Дамасиппа, тогда еще и не родился. Тем не менее античная традиция единодушно утверждает, что именно Ксерксовы маги были первыми, кто привил юному Демокриту восточную мудрость и разбудил в юноше страсть к познанию тайн мироздания.

Как полагает крупнейший знаток творчества Демокрита С. Я. Лурье, наиболее вероятную дату рождения философа следует отнести приблизительно к 470 г. до н. э. Это на десять лет ранее традиционной даты — около 460 г. до н. э., указанной во многих энциклопедиях. Мы не знаем, дожили Ксерксовы маги до рождения Демокрита или нет, но в любом случае любовь к мудрости рано пробудилась в душе младшего из сыновей Дамасиппа. Юноша рано стал искать места для уединенных размышлений, находя их даже в могильных склепах. Рано стал столь глубоко погружаться в собственные мысли, что не замечал окружающих. Рассказывают, что однажды, размышляя в садовой беседке, юный философ не заметил даже жертвенного быка, привязанного отцом к беседке и отнюдь не безропотно ожидавшего своей участи.

Безмятежные раздумья юного Демокрита прервала смерть отца, оставившего сыновьям огромное наследство. Тут Демокрит совершает первое из своих легендарных чудачеств: он выбирает в наследство не землю, не постройки, не рабов и не скот, а деньги — самое ненадежное из всего состояния. Затем следует второй «безрассудный» поступок юного богача: в поисках истинной мудрости он отправляется путешествовать. А мудрость в те времена шла на Элладу с Востока.

Итак, путь Демокрита из Абдеры лежал на восток, точнее, вначале на юг — к египетским жрецам, затем на восток — к персидским магам, вавилонским халдеям и даже индийским гимнософистам*. Заметим, что маршрут Демокрита для странствующего эллина, тем более для жаждущего знаний любомудра выглядит достаточно традиционно. Греки боготворили египетскую древность — поскольку пирамиды для эллинов были столь же древними, как и развалины Акрополя для нас, — и отождествляли древность с мудростью. Орфей, Гомер, Солон, Фалес, Пифагор, Платон, Евдокс — все знаменитости Эллады непременно отправлялись почерпнуть египетской мудрости. Начиная с Фалеса к «научным» маршрутам греков прибавились Персия, Вавилон и Индия. Разумеется, столь давняя традиция не могла не иметь прочного основания: древнеегипетская геометрия, древневавилонская алгебра, астрономия, древнеиндийская философия могли многому научить пытливых эллинов.

Грекам чуждо было чванливое пренебрежение к достижениям другого народа. Они смело бросались в опасные путешествия, с жадностью впитывали чужие обычаи, легенды, учения, обогащались, заимствуя, и обогащали заимствованное. Не в этом ли состоит одна из загадок знаменитого «греческого чуда» — стремительного и высочайшего культурного расцвета греческой цивилизации?

Демокрит до конца дней гордился своими путешествиями и высоко ценил обретенные в них знания: «Я объездил больше земли, чем кто-либо из современных мне людей, подробнейшим образом исследуя ее; я видел больше, чем все другие, мужей и земель и беседовал с наибольшим числом ученых людей. И никто не обличил меня в ошибках при складывании линий, сопровождающимся доказательством, — даже так называемые гарпедонапты** у егип-

* Гимнософисты (от греч. γυμνός — нагой, голый; σοφιστής — мудрец) — греческое название касты брахманов (высшей касты в Индии), аскетический образ жизни которых служил в эллинистической Греции моральным образцом.

** Гарпедонапты — буквально «натягиватели веревок» — особая профессия в Древнем Египте, вроде инженера-строителя. С помощью веревки, имеющей 12 равноотстоящих узлов, гарпедонапты размечали на земле прямоугольный треугольник с отношением сторон 3 : 4 : 5 ($3 + 4 + 5 = 12$) — так называемый египетский треугольник. Построенный таким образом прямой угол являлся основой для любого архитектурного проекта. Разметка будущего храма или пирамиды гарпедонаптами сопровождалась торжественной церемонией, а сами гарпедонапты были высокопочитаемыми людьми.

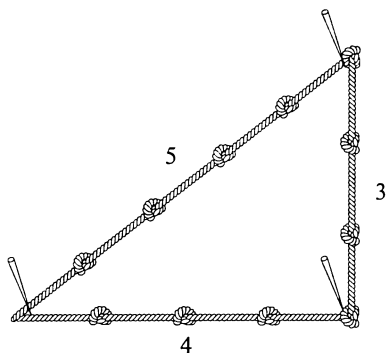
тян. Включая пребывание у последних, я провел на чужбине около восьми лет».

Однако, вернувшись около 430 г. до н. э. домой, Демокрит узнал, что появился еще один центр мировой мудрости. Это Афины, в которых к тому времени блистали Анаксагор, Сократ и земляк Демокрита Протагор. Смещение центра греческой мудрости из восточных провинций Эллады в Афины не могло оставить Демокрита равнодушным: с одной стороны, он радовался за славные Афины, подарившие независимость всей Элладе, с другой — огорчался за соседей-провинциалов, которые своими руками передавали пальму философского первенства в руки Афин. В любом случае Демокрит почувствовал острое желание побывать в Афинах и привычно отправился в путь к незнакомым берегам.

Афины поразили Демокрита масштабами Периклового строительства и совершенством Фидиевых творений. Однако столичный блеск и суэта пришлись не по душе абдерскому затворнику. Демокрит повидал всех прославленных афинских мудрецов, хотя и здесь остался верен самому себе и держался очень скромно. «Я пришел в Афины, и ни один человек меня не знал», — часто потом вспоминал он. Впоследствии Цицерон прокомментировал эти слова Демокрита: «Вот твердый и уверенный в себе человек, который гордится тем, что чужд стремлению к славе!»

Но существовали, очевидно, и более глубокие причины, по которым Демокрит не сошелся с афинскими мудрецами. С каждым из них он расходился в главном — в выборе философской системы, поэтому о плодотворном сотрудничестве не могло быть и речи. С другой стороны, Демокрит не любил устраивать шумные философские баталии — он просто молча отступил. Да и как мог материалист Демокрит, пытавшийся движением неделимых частиц атомов объяснить мироздание, сойтись с идеалистом Анаксагором, считавшим, что бесконечно делимые гомеомерии комбинирует некий мировой Разум-Нус? Как мог первый в античном мире естествоиспытатель-энциклопедист Демокрит найти общие интересы с моралистом Сократом, которого вопросы устройства мироздания вообще не интересовали? Что общего, кроме родных Абдер, было у Демокрита с Протагором, который смысл философствования видел не в том, чтобы вывести мысль из лабиринта сомнений, а в том, чтобы загнать мысль в тупик, за что и был прозван Демокритом «спорщиком» и «заковырщиком»?

Возможно также, что рассудительный Демокрит счел за благо уехать из Афин, не дожидаясь скандальных разбирательств по поводу его безбожных воззрений на устройство мироздания. Тем более уже шел судебный процесс над безбожником Анаксагором и сгушались



Построение прямого угла гарпедонаптами с помощью египетского треугольника $(3^2 + 4^2) = 5^2$

тучи над Протагором. Последний в сочинении «О богах» хотя и выражался достаточно осторожно, но для того времени более чем крамольно: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни».

В любом случае Демокрит принял решение — возвратиться домой, поскольку главная цель поездки в Афины была достигнута. Демокрит убедился в том, что афинские мудрецы не менее, но и не более мудрецы, чем и он сам, и ему вполне по плечу самостоятельный путь в философии. «Немного», — скажет иной скептик. Нет, много, ибо для одаренной личности, постоянно сомневающейся в выборе пути и в оценке собственных сил на этом пути, уверенность в себе есть основа будущих успехов.

Излишне говорить, что в родную Абдеру Демокрит вернулся совершенно без денег. В те времена сей прискорбный факт не являлся просто личной проблемой (для Демокрита, кстати, не столь уж и болезненной — семьи у него никогда не было, любви к роскоши тоже). По законам Абдеры гражданин, промотавший отцовское наследство, лишался права погребения на родине. Так что прямо с корабля странствующий философ попадал на «бал» — судебное разбирательство.

Демокрит не мог ничего сказать в свое оправдание. Отцовские деньги действительно рассеялись как дым. Он не имел ни собственного дома, ни собственного ремесла, ни земли — ничего. Вместо оправдания Демокрит попросил разрешения прочитать перед судьями лучшее из своих сочинений — «Большой мирострой».

Эффект от чтения оказался неожиданным. И не только для философа, но и для судей. И судьи, и любопытствующая публика

были потрясены открывшейся перед ними глубиной мысли соотечественника. Все вдруг поняли, что перед постыдным судилищем оказался человек, который составляет подлинную славу безвестной Абдеры. Демокрит был не только оправдан, но и жалован пятьюстами талантами — суммой по тем временам немалой.

Демокрит поселился на краю Абдеры в небольшом домике, который снял для него средний брат Дамос. Ничто не отвлекало теперь мыслителя от главного дела жизни — философской мысли. За свою долгую жизнь — а прожил он, по единодушным свидетельствам всех античных авторов, более ста лет — философ написал около семидесяти трактатов. Поражает не только число, но и разнообразие тем, рассматриваемых Демокритом: естественнонаучные произведения — «Большой мирострой», «Малый мирострой», «Космография», «О планетах», «О природе»; математические сочинения — «О касании круга и шара», «О геометрии», «О числах»; трактаты по теории искусств — «О ритмах и гармонии», «О поэзии», «О красоте слов», «О живописи»; этические работы — «О душевном настроении мудреца», «О мужестве, или О добродетели», «О ровном настроении духа»; биографические — «Пифагор», медицинское — «Врачебная наука»; военные — «Тактика», «Военное дело» и т. д.

Увы, ни одно из произведений Демокрита не сохранилось. Мы не знаем, когда они были утрачены: через тысячу лет, в эпоху средневековья, или сразу после смерти мыслителя. Как ни горько, но есть основания подозревать в их уничтожении самого Платона. Во всяком случае, Диоген Лаэртский явно указывает на то, что «Платон хотел сжечь все те сочинения Демокрита, которые он смог собрать, но пифагорейцы Амикл и Клиний помешали ему, говоря, что это бесполезно: ведь эти книги уже на руках у многих людей. И это ясно из следующего: Платон упомянул почти всех древних философов, но не упоминает только одного Демокрита, даже в тех случаях, когда он должен был бы возражать ему. Ясно, он знает, что ему придется спорить с лучшим из философов».

Конечно, за долгую жизнь Демокрит нажил немало врагов не только в стане философов. Да и кому из простых смертных мог понравиться «смеющийся» старик, который без устали бичевал стяжательские страстишки сограждан? Кому из вечно суетящихся абдеритов могла прийти по душе такая оценка их труда: «Копая землю, ищут серебро, найдя серебро, хотят купить землю, купив землю, плоды ее продают, продав плоды, снова получают деньги...»? Какую из абдерских красавиц могли растрогать слова старого насмешника: «Телесная красота человека есть нечто скотоподобное, если под ней

не скрывается ум»? Кто из абдерских купцов ожидал услышать такое: «Как из ран самая худшая болезнь есть рак, так при обладании деньгами самое худшее — желание постоянно прибавлять к ним»?

В конце концов обозленные сограждане объявили Демокрита сумасшедшим и пригласили для его освидетельствования знаменитого врача Гиппократ^{*}. И здесь жизнь преподнесла им очередной урок. Гиппократ не только не подтвердил диагноз, поставленный абдеритами, но и в очередной раз устыдил их в бессердечном отношении к великому старцу. Причуды Демокрита, заметил Гиппократ, — это причуды великого человека, гения. И в том, что абдериты не понимают соотечественника, не его вина, а их беда. Гиппократ и Демокрит, к изумлению абдеритов, не просто познакомились, но и подружились. После отъезда Гиппократа между прославленным врачом и великим философом завязалась оживленная переписка, и они еще долгое время делились друг с другом своими идеями.

К концу своих дней, чувствуя недостаток физических и душевных сил на сосредоточение мысли, Демокрит решился на отчаянный шаг. Он выжег себе глаза, дабы чувственное зрение не мешало внутреннему умозрению. Ибо «зрение глаз препятствует зрению души», ибо, не различая черное и белое, он с еще большей остротой стал различать «хорошее и дурное, справедливое и несправедливое, благородное и позорное, полезное и вредное, великое и малое». Ибо, оставаясь слепым, он, по словам Цицерона, «странствовал по всему бесконечному пространству, не задерживаемый каким-либо пределом».

Беспрецедентный поступок Демокрита никого не оставил равнодушным. Уже в древности о нем ходили всякие пересуды. Говорили, что Демокрит просто ослеп от старости, или что история о самоослеплении есть чистая выдумка. Были и оскверняющие память философа объяснения сумрачного любителя парадоксов Квинта Тертуллиана (ок. 160 — после 220 н. э.): «Демокрит ослепил себя, так как не мог смотреть на женщин без вожделения и страдал, если не мог ими овладеть». Думается, что в действительности (хотя теперь уже никто никогда ничего не узнает) сам факт появления этой легенды именно о Демокрите свидетельствует о глубочайшей преданности великого элина единственной женщине, которую он любил и боготворил всю свою долгую жизнь, — Философии.

^{*} Прославленного древнегреческого врача Гиппократ Косского (460—ок. 370 до н. э.), «отца медицины», автора знаменитой «Клятвы Гиппократ» — морального кодекса врача — не следует путать с Гиппократом Хиосским (вторая половина V в. до н. э.) — известным древнегреческим геометром, автором изящной теоремы о «Гиппократовых луночках».

Таков был Демокрит — «смеющийся», а по существу, «плачущий» философ, великий эллин, к которому в полной мере относятся слова А. С. Пушкина: «и гений, и парадоксов друг». Примечательно, что Демокрит прожил жизнь, неразрывно связанную с лучшей порой античной культуры, тем более когда он родился, еще был жив «отец диалектики» Гераклит, а когда умер, Сократ уже выпил смертоносную чашу с цикутой и Платон написал большую часть из диалогов, ставших бессмертными.

Важнейшей научной заслугой Демокрита являются введение им в философию и естествознание понятия *атома* и разработка на его основе учения о дискретном* строении материи — *атомизма*, или *атомистики*. Исходя из единого фундаментального принципа — атомизма, универсальный гений Демокрита построил величественную модель, обнимающую все мироздание и проникающую в каждую его деталь. Но несравненно важнее то, что «атомистические» идеи Демокрита явились основой грандиозной трансэпохальной естественнонаучной программы, разработка которой самым интенсивным образом продолжается и сегодня.

Атом (ατομος) по-гречески означает «неделимый, неразрезаемый». Атомы — это неделимые, а потому неизменные, вечные сущности, составляющие основу бытия. Один из многочисленных античных комментаторов Демокрита говорит следующее: «Демокрит полагает, что вечные атомы по своей природе суть маленькие сущности, бесконечно многие по числу. Кроме них он предполагает сущим еще другое — место, бесконечно большое по величине. Называет он это место следующими именами: “пустотой”, “ничем”, “беспредельным”... Он полагает, что сущности настолько малы, что недоступны восприятию наших органов чувств. У них разнообразные формы и разнообразные фигуры, и они различны по величине. И вот из них, как из элементов, возникают вследствие их соединения видимые и ощущаемые массы. Вследствие несходства и прочих указанных различий они пребывают в беспорядочном движении и носятся в пустоте, носясь же, они встречаются и переплетаются друг с другом, так что приходят в соприкосновение и располагаются рядом».

Интересно, что через 2000 лет это описание атомов почти дословно повторяет Ньютон: «Мне представляется, что Бог с самого начала сотворил вещество в виде твердых, непроницаемых подвижных частиц и что этим частицам он придал такие размеры и та-

* Д и с к р е т н ы й (от лат. discretus) — прерывистый, состоящий из отдельных частей.

кую форму, и такие другие свойства и создал их в таких относительных количествах, как ему нужно было для этой цели, для которой он их сотворил». Но и сегодня, когда атомная физика открывает целые миры в строении атома, Демокритова идея неделимости составляет существо современного определения атома как наименьшей неделимой частицы химического элемента, сохраняющей свойства этого элемента.

Итак, атомы Демокрита неделимы, вечны, неизменны, однородны, бескачественны. Кроме того, они бесчисленны, обладают формой и величиной, пребывают в непрерывном движении и в различных комбинациях порождают все многообразие мироздания. Но откуда у Демокрита возникает именно этот набор свойств атомов? Чтобы ответить на данный вопрос, мы вновь должны обратиться к онтологическим проблемам, поставленным Парменидом.

Как и гомеомерии Анаксагора, атомы Демокрита явились очередной попыткой распутать клубок парадоксов онтологии Парменида. Демокрит наделяет атомы почти всеми свойствами Парменидова бытия. Не само бытие, т. е. не мир в целом един, неделим, вечен, неизменен, однороден, бескачественен, но каждый из атомов — «единиц» бытия, «кирпичиков» мироздания — един, неделим, вечен, неизменен, однороден, бескачественен. Легко заметить, что из свойств Демокритовых атомов выпало только свойство неподвижности Парменидова бытия, а поскольку атомов бесконечно много, то в целом нарушается и свойство единства бытия. Таким образом, при единых и неизменных субстанциальных основах в атомах сам мир у Демокрита стал множественным и подвижным. Тем самым Демокрит разрешил Парменидово противоречие между единым и неподвижным умопостигаемым миром и множественным и текучим чувственно воспринимаемым мирозданием, или, по Пармениду, между Истиной и Мнением.

Впрочем, стоп! Не так ли разрешает противоречие между истиной и Мнением Анаксагор? Почти так, но не так. Да, гомеомерий у Анаксагора так же бесконечно много, как и атомов у Демокрита. Но атомы выгодно отличаются от гомеомерий. Во-первых, атомы неделимы, а гомеомерии бесконечно делимы. Но неделимость есть важнейшее из субстанциальных свойств, точно подмеченное Парменидом. Только свойство неделимости дает нам надежду, встав на Путь Истины, в конце концов добраться до самой Истины. Именно свойство неделимости атома побуждало естествоиспытателей познавать основы мироздания. И когда атом распался, тем же Демокритовым свойством неделимости, «атомности» были наделены

элементарные частицы, а сегодня тем же свойством физики наделяют кварки.

Во-вторых, атомы Демокрита бескачественны. (Тогда как гомеомерии Анаксагора сохраняют все чувственно воспринимаемые свойства вещества — цвет, запах, вкус и т. д.) Данным постулатом Демокрит сразу отмечает возможность постижения атомов (читай — субстанциальных первооснов бытия) органами чувств. По Демокриту, в телах, например, сахаре, нет качества сладости, но присутствует только определенное сочетание атомов. Человеческие органы чувств, взаимодействуя с телом (тем же сахаром), получают от него какие-то ощущения, которые для каждого индивидуума будут своими. Этим индивидуальным в каждом случае процессом взаимодействия объекта (сахара) и субъекта (человека) и объясняется релятивизм, относительность наших восприятий. Демокрит подчеркивает условность, относительность этого процесса: «Лишь в общем мнении существует цвет, в мнении — сладкое, в мнении — горькое, в действительности же... атомы и пустота». Таким образом Демокрит разрешает еще одно Парменидово противоречие между Истиной и Мнением. Заметим, что гипотеза о бескачественности, недоступности нашим органам чувств атомов также подтверждается современной атомной физикой. При нарастающей мощи современных приборов, делающих наши органы чувств (прежде всего зрение) неизмеримо сильнее, «кирпичики» мироздания упорно ускользают от наших глаз, слуха и т. д. Они остаются доступными только разуму, и, возможно, это также есть их фундаментальное свойство. Учитывая вышеизложенное, становится непонятным, как постигать чувствами качества бесконечно делимых, т. е. бесконечно малых Анаксагоровых гомеомерий.

В-третьих, атомы Демокрита находятся в постоянном самодвижении. Они сталкиваются, сцепляются и разъединяются, образуя многообразие мироздания. Для объяснения процесса развития Демокрит не нуждается ни в какой внешней, «потусторонней» силе. Его мир пребывает в вечном самодвижении. Материя у Демокрита сама создает материю, следовательно, Демокрит является последовательным материалистом. В то же время Анаксагор, желая привести гомеомерии в движение, вынужден был прибегать к некоей внешней силе — мировому Разуму, или Нусу. Здесь Демокрит и Анаксагор принципиально расходятся. Первый, как мы знаем, высмеивал учение о Нусе, а второй не считал возможным принять насмешника в число учеников.

Разумеется, атомистика Демокрита отнюдь не лишена изъянов. Так, постулируя существование бесконечного числа атомов,

Демокрит, по существу, превращает мир в непознаваемый хаос. Как можно «дойти до сердцевины» при бесконечном числе атомов?! Думается, здесь сказалось просто незнание древними философами законов *комбинаторики*. Сегодня каждый школьник знает, что только перестановка, скажем, из 10 элементов дает 3 628 800 комбинаций, а чуть более 100 химических элементов хватает для построения многообразия природных соединений. Таким образом, требование бесконечного числа атомов в «атомистической» системе аксиом Демокрита является не только математически не оправданным, но и философски порочным. Тем более сегодня просто неловко подвергать критике представления Демокрита о форме атомов, которые он мыслил круглыми, продолговатыми и даже крючковатыми. Слишком далеко ушло современное естествознание. Возможно, нелишне заметить, что «круглые», по Демокриту, атомы следует понимать как атомы химически инертных элементов, а «крючковатые» — химически активных.

Но как протекает процесс сцепления и разъединения Демокритовых атомов? Что движет данным процессом — Необходимость или Случайность? Известны два полярно противоположных мнения: одни говорят, что Демокрит изобрел *идол случая*, другие — что Демокритов мир есть *мир жесткой необходимости*. Как часто бывает в сложном вопросе, правыми следует считать и тех и других.

По Демокриту, на первом этапе возникновения мироздания сцеплением атомов и образованием веществ руководил *случай*. Однако затем, когда мир возник, его дальнейшее движение стала определять необходимость. Этот главный закон, управляющий развитием мироздания и дающий надежду в конце концов познать законы этого развития, сегодня называют законом *детерминизма*, т. е. определенности (от лат. *determino* — определяю). Сам Демокрит формулирует данный закон с предельной ясностью: «Ни одна вещь не происходит попусту, но все в силу причинной связи и необходимости».

Прекрасной иллюстрацией детерминистических взглядов Демокрита служит легенда о том, как одному знатному абдериту с неба на голову свалилась черепаха. Итог произошедшей из ряда выходящей случайности, увы, был печальным. Казалось бы, дикий случай, рок, кара богов! Но Демокрит рассуждает по-своему. Все просто и закономерно. Черепаху схватил орел, но никак не мог добраться до ее лакомого мяса. Орел поднялся в небо, чтобы об камень разбить черепаху, и перед ним сверкнула лысина несчастного абдерита. Орел принял ее за камень и бросил черепаху. Никакой случайности, сплошная необходимость!

Итак, Необходимость, по-гречески Ананке, — вот истинная управительница мироздания. Ссылки на случай, считает Демокрит, есть только проявление ленности человеческой мысли, не желающей во всем докопаться «до самой сути». Для любой неожиданности и непредсказуемости при их тщательном анализе может быть найдена закономерность, из которой они проистекают. Свое отношение к случаю Демокрит формулирует в резко недвусмысленной форме: «Люди сотворили себе кумира из случая как прикрытие для присущего им недомыслия».

Необходимо отметить, что Демокритов жесткий детерминизм явился стержневой идеей в развитии естествознания вплоть до последнего времени. В XVII в. последовательным детерминистом являлся Ньютон. На рубеже XVIII—XIX вв. Лаплас был увлечен идеей мировой машины, по состоянию которой на сегодня можно было бы предсказать весь ход событий во Вселенной, включая поведение животных и человека (как абдерит и черепаха). Только во второй половине XX в., благодаря работам Ильи Пригожина, стало выясняться, что не только Необходимость, но и Случай правит мирозданием. Например, президент Международного союза чистой и прикладной математики Джеймс Лайтхилл сказал: «В течение трех веков образованная публика вводилась в заблуждение апологией детерминизма, основанного на системе Ньютона, тогда как можно считать доказанным, по крайней мере с 1960 г., что этот детерминизм является ошибочной позицией».

Но в V в. до н. э. «апологию детерминизма», мысль о неотвратимости Ананке проводил в сознание греков не столько философ Демокрит, сколько поэт Софокл. Более того, нам представляется, что бессмертная трагедия «Царь Эдип» Софокла — современника, и возможно, собеседника Демокрита в Афинах — повлияла не только на философскую систему Демокрита, но и на его дальнейшую судьбу. Напомним кратко содержание «Царя Эдипа».

В Фивах свирепствует мор. Фиванский царь Эдип — славный победитель кровожадного Сфинкса — получает прорицание о том, что бедствие на город навлек живущий в Фивах убийца прежнего царя Лая. Эдип клянется разыскать убийцу и спасти город, тем более что он женат на вдове Лая Иокасте. И тут надвигается неотвратимое.

Эдип просит слепого старца прорицателя Тиресия назвать имя убийцы. Тиресий колеблется. Эдип настаивает и гневается. Тиресий предостерегает. Властитель глух и еще более настойчив. Наконец он добивается своего:

— Ты кровью землю осквернил, ты проклят! — таков был ответ.

Эдип потрясен. Он обрушивается на старца с упреками во лжи, но в результате узнает самое страшное: Эдип не только убийца Лая, но Лай его отец. Значит, Эдип — убийца отца и муж своей матери!

Пораженный Эдип отказывается верить старику. Его успокаивает Иокаста: слова старца ложь, ведь Лаю предсказал сам Аполлон, что он падет от руки сына, и потому он велел убить сына еще ребенком. Убил же Лая не сын, а разбойник на перекрестке дорог близ Фив. Услышав о перекрестке дорог, Эдип вздрагивает. Он спрашивает о подробностях убийства Лая, и с каждым ответом сердце его бьется все сильнее. Эдип признается Иокасте, что именно так, как и рассказывают сейчас очевидцы, он убил некоего дерзкого старика, который не хотел уступить ему дорогу. Неужели убитый старик и Лай одно лицо? Слишком хорошо все сходится! Костлявая рука Ананке снова протягивается к Эдипу.

И снова Эдип пытается ускользнуть от Судьбы. Прибывший из Коринфа вестник сообщает, что умер Полиб — отец Эдипа. Вновь луч надежды озаряет Эдипа: раз Полиб его отец и умер своей смертью, значит, он не виновен в отцеубийстве. Но тут вестник, желая утешить Эдипа, открывает ему тайну: Эдип не родной сын Полиба. Он был найден Полибом ребенком в лесу и усыновлен. Надежды рухнули. Вновь неминуемая Ананке душист Эдипа.

Старый пастух, единственный свидетель, которому Лай поручил убить маленького Эдипа, разбивает последние надежды. Да, он не убил Эдипа, а бросил его в лесу, где и нашел его Полиб. Все рухнуло. Ананке жестоко отомстила всем, кто пытался перехитрить ее. Зачем Эдип не был убит ребенком? Зачем он жив? Теперь он — убийца отца, он — муж матери, он — отец своих братьев!

Приговор Ананке свершен. Иокаста, обезумевшая от горя, повесилась. Доведенный до отчаяния Эдип выкалывает себе глаза:

На что смотреть мне ныне?
Кого любить?
Кого дарить приветствиями?

Перед нами уже не гордый вспыльчивый царь, а согбенный тихий старец. Хор в последний раз напоминает о всевластии Судьбы, которую не может одолеть даже победитель Сфинкса.

Таково великое творение великого Софокла. Для Софокла здесь важна не столько трагедия главного героя Эдипа, сколько триумф стоящего за его спиной призрака Ананке. С бездушием механического молота, с математической холодностью вершит Ананке беспощадный закон. Тщетны усилия жалкого человека. Все перемаывает неотвратимая Ананке. Она жестоко смеется над ничтожным

человеком, который, как слепой котенок, пытается ускользнуть из-под ударов ее молота. Что противопоставить ее бездушному расчету? Только не менее жестокий акт в виде собственного ослепления — пусть не будет у Ананке повода для сатанинского смеха! Пусть теперь она бьет беззащитного! В кровавом протесте Судьбе Эдип из жертвы превращается в победителя. Скорбь и муки очищают его. Свет Истины озаряет слепого Эдипа.

Но не такова ли и трагедия великого старца Демокрита? Всю свою долгую жизнь, презрев мирские радости, отрешившись от земных благ, он посвятил поиску Истины. И всю жизнь бездушная Ананке смеялась над ним. Каждый раз, когда в конце изнурительного пути луч Истины играл на его челе, когда казалось, что до нее осталось только протянуть руку, Истина ускользала. Оставался только мираж и гулкий хохот Ананке. Тома сочинений Демокрита росли, но он не находил в них той малой заветной жемчужины, какую каждый мудрец ищет всю жизнь.

Так пусть не смеется более Ананке! Для чего глаза, если они не видят Истины? Если луч солнца более не согревает их? В исступлении Демокрит ослепляет себя. Теперь у бездушной Ананке не будет повода для смеха. Теперь ничто не отвлечет его мысль от сладостного полета в беспредельность мироздания. Теперь его дух еще выше вознесется над бранным старческим телом.

Разрыв между духом и телом в судьбе Демокрита достиг апогея. Но вместе с тем то же противоречие между духом и телом разрывало пополам и организм философии. Тогда как в Абдере великий Демокрит пытался объяснить мироздание, исходя из движения материальных атомов, в Афинах великий Платон хотел очистить философию от материального, оставив в ней только бестелесное движение духа.

...А как светло, как радостно начинался тернистый Путь Истины! Старый Демокрит вспомнил, как легко шагал он некогда по горным кручам, как на крутой горной тропинке встретил высокого юношу с огромной вязанкой дров за плечами, как острым глазом отметил, что так ловко сложить поленья может только недюжинного ума человек, и как сказал ему: «Дорогой юноша, поскольку у тебя выдающиеся способности делать все хорошо, ты можешь совершить вместе со мной более значительные и лучшие дела!» Молодые люди взглянули друг другу в глаза. Струи теплого света шли из них прямо в душу одного и другого. Ровный божий свет струился в долину. С высоты горной гряды казалось, что весь мир лежал перед ними.

Юношу звали Протагор. Путь Истины, как горная тропинка, лежал под его ногами.



ПРОТАГОР

(ок. 480 — ок. 410 до н. э.)

Человек есть мера всех вещей.

Юношу звали Протагор. Путь Истины, как горная тропинка, лежал под его ногами. Родом юноша был из Абдеры. Увы, это все, что не вызывает сомнений в легенде о Протагоре и Демокрите. Во-первых, Протагор был старше Демокрита, и потому сомнительно, чтобы Демокрит стал обращаться к нему в столь покровительственном тоне. Во-вторых, Протагор, как и Демокрит, был сыном абдерского богача, обучался у персидских магов, и маловероятно, чтобы он подрабатывал простым носильщиком дров. В-третьих, пути Демокрита и Протагора в философии расходились столь сильно, что трудно поверить в их юношескую дружбу.

Итак, где-то около 480 г. до н. э. на самом краю Эллады, в далекой Фракии, в тихой Абдере, в дом местного богача Артемона (по другим источникам, Меандрия) пришла радость: родился мальчик, которого нарекли Протагором. Учитывая, что Аполлодор акме Протагора относит к 84-й Олимпиаде, т. е. к 444—441 гг. до н. э., можно предположить, что родился будущий философ между 484 и 481 гг. до н. э., хотя, конечно, понятие возраста расцвета мужчины — акме — весьма условно. Тем не менее мы можем с достаточной уверенностью сказать, что Протагор, в отличие от Демокрита, мог своими глазами видеть бегущего из Эллады Ксеркса, когда тот переводил дух в Абдере. Следовательно, и легенда о персидских магах, прививших юным абдеритам восточную мудрость, более подходит к Протагору, нежели к Демокриту.

На этом, пожалуй, сходство биографий Протагора и Демокрита заканчивается. Протагор не получил от отца богатого наследства, он не имел возможности пуститься в увлекательное путешествие по экзотическому Востоку и, как личность неординарная и независимая, вынужден был зарабатывать на жизнь самостоятельно. Разница в «начальных условиях» при решении «дифференциального уравнения жизни», безусловно, определила и различие в путях Демокрита и Протагора к Истине: первый, тратя отцовское наследство, на всю жизнь сохранил равнодушие к деньгам и прожил бессребреником, второй, идя к Истине, постоянно утолял и жажду личного обогащения.

Мы не знаем доподлинно, каким образом Протагор обрел знания, кто был его учителем (если отбросить легенду о Протагоре и Демокрите), зато хорошо известно, что очень скоро Протагор сам становится знаменитым учителем мудрости, окруженным славой и многочисленными учениками. А путь к славе, какой бы она ни была, — дурной или доброй, политической или философской, — лежал в те времена в Элладе через Афины. И здесь сходятся биографии Протагора, Демокрита, Анаксагора и, возможно, Зенона и Парменида, что говорит нам об одном — Афины к тому времени стали политическим и культурным центром Эллады.

Скорее всего, Протагор впервые появился в Афинах и сделал первые шаги к созданию собственной философской школы, будучи совсем молодым человеком, а в возрасте акме он вторично и, видимо, надолго приезжает в столицу. Теперь он не безвестный провинциал, а Мастер, вокруг которого толпятся ученики, предупреждающие каждый шаг и ловящие каждое слово Учителя.

Платон в своем труде о Протагоре не без иронии описывает его появление в Афинах: «Когда мы вошли, то застали Протагора прохаживающимся в портике, а с ним прохаживались по одну сторону Каллий, сын Гиппоника, его единоутробный брат Парал, сын Перикла, и Хармид, сын Главкона, а по другую сторону — второй сын Перикла, Ксантипп, далее Филлипид, сын Филомела, и Антимер Мендеец, самый знаменитый из учеников Протагора, обучавшийся, чтобы стать софистом по ремеслу. Те же, что за ними следовали позади, прислушиваясь к разговору, большею частью были, видимо, чужеземцы — из тех, кого Протагор увлекает за собой из каждого города, где бы он ни бывал, завораживая их своим голосом, подобно Орфею, а они идут на его голос, замороженные; были и некоторые из местных жителей в этом хоре. Глядя на этот хор, я особенно восхищался, как они остерегались, чтобы ни в коем слу-

чае не оказаться впереди Протагора: всякий раз, когда тот со своими собеседниками поворачивался, эти слушатели стройно и чинно расступались и, смыкая круг, великолепным рядом выстраивались позади него».

Что же представляла собой философская школа Протагора? Отчего ей сопутствовал столь шумный успех во всей Элладе? Наконец, почему Платон отзывался о ней непременно с иронией, часто переходящей в сарказм?

Себя и своих учеников Протагор называл *софистами*. Греческое слово σοφιστής («софистес») происходит от σοφός — мудрый — или σοφία — мудрость — и означает мудреца, знатока, мастера, человека, авторитетного во всех областях. Однако софисты были мудрецами особого рода. Их мудрость носила ярко выраженный «прикладной» характер, их учение не воспаряло на крыльях абстрактных умопостроений, а было обращено лицом к жизни, их философия из тиши уединений мудрецов выплескивалась в шумные толпы городской агоры. Так что «софист» для древнего грека означал скорее не «мудрец» в классическом понимании слова, а «мастер слова», «учитель красноречия».

Сегодня нам трудно представить себе и по-настоящему оценить, сколь велика была потребность в «учителях красноречия» в Греции середины V в. до н. э. и сколь значительной была роль оратора в античном полисе. Непрерывно обновляемые демократические институты — законодательная, исполнительная, судебная власть — требовали огромного числа ораторов, которые становились таковыми в одночасье, вынужденные сменить свое привычное ремесло на незнакомое искусство риторики. Мы уже говорили, что афинский суд состоял из немыслимого, по нашим меркам, числа присяжных, которые менялись ежегодно. Например, в суде над Периклом в 430 г. до н. э., за год до смерти великого стратега, участвовал 1501 присяжный. Таким образом, значительное число афинян, по существу непрофессионалов, было вовлечено в судебную деятельность. Более того, истец и ответчик, или обвинитель и обвиняемый выступали на суде лично, от своего имени, так что успех процесса во многом зависел только от них самих.

В общественно-политической жизни, в которой участвовал едва ли не каждый афинянин, ораторам принадлежала прямо-таки магическая власть. Политические речи, чаще всего произносимые экспромтом, могли на глазах изменить ход дискуссии и буквально решить судьбу государства. Здесь все зависело от находчивости и остроумия оратора, его умения чутко реагировать на изменившуюся

ся ситуацию и молниеносно менять тональность политической баталии. Человек, не умевший произносить речи, мог просто не подниматься на трибуну. Итак, с развитием демократии в Древней Греции возникла острая потребность в профессиональных «профессорах красноречия». Общество не давало гражданам подобного образования, и этот пробел с успехом стали восполнять софисты.

Софисты прекрасно понимали, что на суде оратор должен был владеть не абстрактной философской мудростью, а искусством вести остроумную и красноречивую полемику. Древнегреческий суд, как, впрочем, и любой суд, предоставлял скорее не Путь Истины, а Путь Мнения. Об этом с нескрываемым сарказмом пишет ревностный слуга чистой Истины Платон: «В судах решительно никому нет дела до истины, важна только убедительность. А она состоит в правдоподобию, на чем и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести искусную речь». Отсюда становится понятным «прикладной» характер софистической мудрости, ее, если угодно, «второстепенность», которая раздражала чистых философов, каковым и был Платон.

Сами софисты лучше кого бы то ни было понимали специфику своего мастерства. Войдя в роль, они со временем, что называется, закусил удила и из учителей мудрости превратились в краснобаев, циничных интриганов мысли и просто «логических хулиганов», обожающих черное выдавать за белое, а белое — за черное. Вот некоторые образчики интеллектуального шаловства софистов, собранные Платоном в диалоге «Евтидем»:

«Два софиста, братья Дионисодор и Евтидем, откровенно потешаются над простодушным афинянином Ктесиппом.

— ...Скажи мне, есть у тебя пес?

— Да, и очень злой, — отвечал Ктесипп.

— А щенята у него есть?

— Есть, тоже очень злые.

— Этот пес, значит, им отец?

— Сам видел, — отвечал Ктесипп, — как он покрывал суку.

— Ну что же, разве это не твой пес?

— Конечно мой, — отвечает.

— Следовательно, будучи отцом, он твой отец, так что отцом твоим оказывается пес, а ты сам — брат щенятам.

Затем достается и вступившему в разговор мудрецу Сократу.

— А знаешь ли ты, — сказал он, — что подобает делать каждому из мастеров? И прежде всего, кому подобает ковать?

— Знаю, конечно, — кузнецу.

— А заниматься гончарным делом?

— Гончару.

— А кто должен забивать скот, свежевать и, нарубив мясо на мелкие куски, жарить его и варить?

— Повар, — отвечал я.

— Значит, если кто-нибудь делает то, что ему надлежит, он поступает правильно?

— Безусловно.

— А повару, как ты утверждаешь, надлежит убой и свежевание?

Признал ты это или же нет?

— Признал, — отвечал я, — но будь ко мне снисходителен.

— Итак, ясно, — заявил он, — если кто, зарезав и зарубив по-вара, сварит его и поджарит, он будет делать то, что ему подобает; и если кто перекует кузнеца или вылепит сосуд из горшечника, то будет делать лишь надлежащее.

— Великий Посейдон! — воскликнул я. — Теперь ты увенчал свою мудрость! Но будет ли когда-нибудь так, что она станет моею собственной?»

Нетрудно представить, какими взрывами хохота сопровождались словесные турниры софистов, собиравшие массу зрителей. Здоровые «дети человечества», греки любили здорово посмеяться. Труднее удержаться от соблазна привести еще хотя бы пару примеров искрометного софистического юмора.

« — То, чего ты не потерял, ты имеешь, не так ли? — спрашивает софист.

— Клянусь Зевсом, это так, — отвечает собеседник.

— Значит, ты имеешь рога! — торжествует софист. — Ты рогоносец, так как рогов ты не терял».

Или:

« — Сделать необразованного человека образованным — значит убить его, — заявляет софист.

— Как так? — недоумевает собеседник.

— Став образованным, он уже не будет тем, чем он был, не так ли? А убить человека — и значит сделать его не тем, чем он был».

Не так-то легко можно уличить софиста во лжи. И на этот случай в его арсенале имелся готовый ответ: «Кто лжет — говорит то, чего нет. Но того, чего нет, нельзя сказать. Значит, никто не может лгать, тем более софист».

Надо сказать, что софистический нигилизм и скепсис в целом были созвучны настроениям греков и прежде всего афинян того времени. Череда греко-персидских войн, принесшая Элладу славу

и небывалый расцвет, непрерывно перетекала в изнурительную и позорную братоубийственную Пелопоннесскую войну. Войны во все времена развращали людей, в особенности молодежь. Когда самое дорогое из того, что отпущено человеку, — жизнь — ничего не стоит, дух осмеяния и нигилизма распускается пышным пустоцветом. Безудержный смех софистов не знал границ: они осмеивали и гражданские устои, и нравственные заповеди, и вечные идеалы добра. Софистический дух тотального осмеяния смешивался с духом вседозволенности — неизменным спутником войн — и дурманил голову молодежи. Недаром один из «героев» Пелопоннесской войны, Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.), чья короткая жизнь вплоть до позорной смерти представляла собой цепь самых бесстыдных измен всем и вся, был одним из любимых учеников Протагора.

Но вернемся к «отцу софистов» Протагору. Жизнь Протагора прошла в постоянных поездках или, как пишет Б. Рассел, «непрерывном лекторском турне» по городам и весям Эллады. В сопровождении лучших учеников, по существу ассистентов мэтра, Протагор гастролировал по бесчисленным полисам Греции, устраивая сеансы веселых словесных поединков. И здесь мы подходим к еще одной особенности деятельности Протагора, особенности, которую не мог простить ему Платон, да и многие современники.

Протагор стал первым, кто начал брать плату за обучение. Об этом с единодушным осуждением свидетельствуют все античные авторы. Так, Диоген Лаэртский пишет: «Он первый стал брать за уроки плату в сто мин; первый стал различать времена глагола и точно выражать время действия; стал устраивать состязания в споре и придумал уловки для тяжущихся; о мысли он не заботился, спорил о словах, и повсеместное нынешнее племя спорщиков берет начало от него». Другой античный свидетель добавляет: «Потому-то он и был прозван “Платная речь”». Молва утверждала, что преподавательской деятельностью софисты нажили огромное состояние, а сам Протагор, торгуя «мудростью», заработал денег больше, чем Фидий искусством. Первую скрипку в этом хоре играл Платон, язвительно заметивший, что софисты «торгуют мудростью оптом и в розницу».

Таким образом, если говорить современным языком, Протагор был первым в истории репетитором. Но в отличие от сегодняшних репетиторов, «странствующих» с квартиры на квартиру, Протагор и его ученики странствовали по городам Эллады и Великой Греции. Конечно, последнее свидетельствует не столько о размахе деятельности Протагора, сколько о недостаточной образованности гре-

ческого общества того времени по сравнению с современным. Должны ли мы, следуя Платону, осуждать софистов за их нововведение? Предоставим ответить на этот вопрос выдающемуся современному «учителю мудрости» Б. Расселу: «Платон протестовал против практики софистов получать деньги за обучение отчасти с позиций сноба (по современным понятиям). Сам Платон обладал вполне достаточными средствами и поэтому был не способен, по-видимому, понять нужды тех, кто не имел хорошего состояния. Странно, что современные профессора, которые не видят причины отказываться от жалованья, так часто повторяют платоновские обвинения против софистов».

Конечно, мы должны понять и Платона. Слишком глубокая пропасть разделяла его и софистов. По одну ее сторону одинокой скалой высится обращенный в себя мыслитель. Ни палящее солнце, ни хлесткие ливни, ни удары грома — ничто из суетного течения окружающего «мира вещей» не может сдвинуть эту скалу, изменить убеждение мыслителя в том, что мирозданием правит чистая заоблачная идея. На другом краю пропасти на свой праздник жизни собрались софисты. Здесь смех и гомон, богатые наряды и пересыпаемые остротами речи, красивые дамы и галантные кавалеры. Но нет среди блеска софистической мишуры бескорыстной преданности Истине, и потому через пропасть эту нет и не может быть моста.

Но вернемся к жизнеописанию Протагора. В 444—443 гг. до н. э. во время одного из вояжей Протагор создал кодекс законов для города Фурии — новой колонии Афин, расположенной на юге Великой Греции в плодородной долине вблизи разрушенного Сибариса. Потом вновь вернулся в Афины, где по поручению Перикла участвовал в разработке проекта новой конституции. Естественно, что, став популярным, Протагор был втянут и в политические дрязги, липкой тенью сопровождавшие столичную жизнь.

Не мудрствуя лукаво, противники Протагора избрали испытанное оружие клеветы, которое без осечки ударило уже по Фидию, Аспазии, Анаксагору. На основании того же закона Диопифа Протагор был обвинен в безбожии. Однажды в доме Еврипида, где Протагор впервые прочел свою книгу «О богах», — тем самым, согласно античному обычаю, предав ее гласности, — присутствовал некто Пифодор, богатый кавалерийский командир. Мысли Протагора, естественные для кружка Аспазии и Еврипида, произвели на бравого офицера слишком сильное впечатление. Влекомый патри-

отическим порывом, или, скорее, личной выгодой, Пифодор донес на Протагора, обвинив его в оскорблении религии.

На сей раз софистическая двусмысленность не помогла Протагору, утверждавшему, что о богах нельзя знать «ни того, что они существуют, ни того, что их нет», ибо препятствует этому «и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни». Сама постановка вопроса, закравшееся в дилемму сомнение являлись крамольными. Хорошо зная нравы афинских судов, в которых «решительно никому нет дела до истины», Протагор счел необходимым заблаговременно удалиться из Афин, не испытывая судьбу и не надеясь на собственное красноречие.

Но от судьбы не уйдешь. Корабль, спасавший Протагора от смертной казни в Афинах, утонул у берегов Великой Греции. Так в водах Мессинского пролива, разделяющего Апеннинский полуостров и Сицилию, закончился земной путь Протагора — «самого неискреннего, но и самого острого из софистов».

А в это время афинская «инквизиция», не сумевшая схватить в свои сети главу софистов, вымещала гнев на его творениях. Предание утверждает, что книги Протагора были публично сожжены на афинской агоре. Высушенные жарким афинским солнцем, свитки папируса не надо было даже раздувать. Через несколько минут обратилось в пепел более десятка сочинений Протагора — «Истина, или Ниспровергающие речи», «Прения, или Искусство спорить», «О сущем», «О науках», «О богах», «О государстве»... Только жалкие обрывки трактатов в пересказе последующих доксографов сохранились до наших дней.

О чем же писал в своих сочинениях Протагор? Какова стержневая идея его философской системы? Основным постулатом, который лег в основу софистической философии, являлся *релятивизм* (от лат. *relativus* — относительный) — философский принцип, состоящий в абсолютизации постоянной изменчивости мироздания и отрицания относительной устойчивости явлений. Главным свойством материи Протагор считал не ее объективность и наличие в ней некоего закономерного начала, но, напротив, ее изменчивость, текучесть, взаимопревращаемость всего сущего.

Легко заметить, что Протагор явился продолжателем «линии Гераклита» в философии, учившего, что *в мире все течет, все изменяется, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, что нельзя дважды прикоснуться к одной и той же смертной сущности*. Но если Гераклит и был релятивистом, то Протагор стал релятивистом «в квадрате». Ученик Протагора и учитель Платона софист Кратил

(вторая половина V — начало IV в. до н. э.) утверждал, что в одну и ту же реку нельзя войти и единожды, ибо постоянно изменяется не только окружающий мир (отчего на входящего дважды в реку текут разные воды), но постоянно изменяется и познающий мир субъект (отчего он и один раз не сумеет, точнее, не успеет, оставаясь самим собой, познать набегающую на него воду).

Итак, согласно «отцу софистов» Протагору, и объект, и познающий его субъект постоянно меняются. Гераклитова относительность переросла у Протагора в абсолютный релятивизм, текучесть — в неуловимость, становление бытия — в его иллюзорность. Абсолютизируя изменчивость мира, софист Кратил пришел к выводу, что у изменчивых вещей не может быть и постоянного имени, а потому стал объясняться исключительно жестами, указывая на вещи пальцем. Таков удел любой идеи, возведенной в абсолют: здоровое зерно обрастает немислимимым пустоцветом, а ее апологеты становятся смешными чудаками.

Конкретизируя тезис об относительности мироздания, Протагор пришел к выводу, что все изменения в мире происходят не как попало, а так, что каждая сущность переходит в свою противоположность. Любая вещь как бы содержит в себе обе противоположности, и только в один момент доминирует одна из них, а в другой — другая. Через полстолетия Аристотель назовет эти две противоположности *действительностью* и *возможностью*, а средневековые схоласты на латинский манер назовут их *актом* и *потенцией*. Переход от возможного к действительному или от потенции к акту и есть процесс становления бытия или развития бытия.

Затем Протагору остается только один шаг до своего основного гносеологического, т. е. познавательного (от греч. γνῶσις — познание) вывода: если в мире все изменяется и переходит в противоположность, то о каждой вещи в процессе ее познания возможны *два противоположных мнения*. Диоген Лаэртский прямо указывает, что Протагор «первый сказал, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу». Впоследствии христианский теолог и писатель Климент Александрийский (? — до 215 н. э.) рассматривал данный вывод Протагора как важнейшую черту античного мировоззрения: «Следуя по стопам Протагора, эллины часто говорят, что о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу».

В принципе вывод Протагора является верным. Не случайно, характеризуя тот или иной объект, мы часто употребляем оговорки — «с одной стороны» и «с другой стороны». Но здесь важно решить, какая из сторон является главной, доминирующей. Иначе с пози-

ций релятивизма мы скатимся на позиции агностицизма, т. е. непознаваемости мира (от греч. ἄγνοστος — непознаваемый). Именно этим путем и пошел Протагор. Поскольку в каждой вещи или в каждом процессе присутствуют две противоположные характеристики или две противоположные тенденции, то о каждой вещи или о каждом процессе можно высказать два противоположных мнения. Но тогда напрашивается естественный вывод о том, что *все истинно*.

С чисто софистическим блеском Протагор облакает свой основной тезис «*о всякой вещи есть два мнения, противоположных друг другу*» и свой основной вывод «*все истинно*» в остропарадоксальную форму. Собственно, этот пример и вошел в историю логики как парадокс, носящий имя ученика Протагора Еватла. Надо сказать, что Протагор был достаточно щепетилен в вопросе об уплате денег за его уроки. Чаще всего, по свидетельству Платона, Протагор поступал так: «Кто у меня обучается, тот, если хочет, платит, сколько я назначу; если же он не согласен, пусть пойдет в храм, заверит там клятвенно, сколько, по его мнению, стоят мои уроки, и столько мне и внесет». С Еватлом, как рассказывает Диоген Лаэртский, Протагор поступил иначе.

Протагор заключил с Еватлом договор, согласно которому последний должен уплатить ему гонорар с первого выигранного судебного процесса. Однако Еватл не спешил пускать в дело полученные от Протагора знания и вообще не начинал судебной деятельности. Потерявший терпение учитель пригрозил ученику, что подаст на Еватла в суд. В ответ на наивный вопрос Еватла, за что же учитель привлечет его к суду, поскольку не выиграл еще ни одного процесса, следовательно, не обязан платить, Протагор сказал: «Если мы подадим в суд и дело выиграю я, то ты заплатишь, потому что выиграл я; если выиграешь ты, то заплатишь, потому что выиграл ты».

На этом месте рассказ Диогена прерывается, но его продолжение мы находим у римского писателя II в. н. э. Авла Геллия. Достойный ученик Протагора не остался в долгу. «Нет, — возразил Еватл, — если я проиграю дело, то не буду обязан платить, ибо дело я проиграл. Выиграв же дело, я все равно не должен буду платить, ибо одержу победу».

Перед нами классический парадокс: Протагор должен получить гонорар только в том случае, если получить его он не должен; Еватл должен уплатить деньги только в том случае, если платить он не должен. Попытаемся прояснить ситуацию и рассмотрим пара-

докс в терминах математической логики. Введем в рассмотрение следующие высказывания: A — Протагор выиграл дело; B — уплата по договору; C — уплата по решению суда. Соответственно отрицания этих высказываний будем обозначать символом \neg . Если Протагор выиграл дело (A), то Еватл его проиграл, т. е. он платит по суду (C) и не платит по договору ($\neg B$). Если Протатор проиграл дело ($\neg A$), то Еватл выиграл его, т. е. он не платит по суду ($\neg C$ и платит по договору (B). Итак,

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow C \wedge \neg B, \\ \neg A &\Rightarrow \neg C \wedge B. \end{aligned}$$

Однако Протагора не интересует, как платит ему Еватл — по суду или по договору, так же как Еватла не интересует, как он не платит Протагору — по суду или по договору. Таким образом, для спорщиков высказывания B и C эквивалентны, т. е. $B = C = D$, где высказывание D означает просто «Еватл платит». Тогда мы приходим к парадоксальной ситуации, которая явно противоречит закону исключенного третьего:

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow D \wedge \neg D, \\ \neg A &\Rightarrow D \wedge \neg D. \end{aligned}$$

Получается, что действительно «все истинно»: если Протагор выиграл дело (Еватл проиграл), то Еватл должен и не должен платить; если Протагор проиграл дело (Еватл выиграл), то результат остается тот же. Протагор настаивает на выполнении первого члена конъюнкции (D — Еватл платит), Еватл, естественно, предпочитает второй член конъюнкции ($\neg D$ — Еватл не платит).

Устранить парадокс можно было бы, запретив распространять договор между Протагором и Еватлом на процесс по поводу гонорара, т. е. введя некий критерий, по которому выбирается одно из двух взаимоисключающих мнений. Однако по чисто житейским соображениям введение подобного критерия ничем не оправдано, и ситуация остается парадоксальной. Перед нами отнюдь не софистическая уловка — софизм, в котором логическая ошибка умышленно спрятана за его вычурной формой, как в рассмотренных выше софизмах. Перед нами чистый парадокс (греч. *παράδοξος* — неожиданный, странный), или антиномия (греч. *ἀντινομία* — противоречие в законе) — противоречие, возникающее в теории, в данном случае в логике, при соблюдении в ней логической правильности рассуждений. Парадокс «Еватл», являющийся по существу разновидностью знаменитого парадокса Рассела, свидетельствует о глубоких внутренних недостатках в основаниях математики и математической логики. По-настоящему обра-

тяться к подобным недостаткам человечество нашло силы только через два с лишним тысячелетия. Сей трудный шаг сделал в начале XX столетия Бертран Рассел. Однако это тема отдельной, нелегкой, но увлекательной книги.

Но и во времена Протагора, когда законы логики еще не были даже сформулированы, современники «отца софистов» интуитивно осознавали логическую порочность вывода о том, что «все истинно». Тезис Протагора «все истинно» подвергли резкой критике его современник Демокрит, а затем Платон и Аристотель. Аристотель, впервые сформулировавший логический закон исключенного третьего, в «Метафизике» писал: «Если относительно одного и того же вместе было бы истинно все противоречащее одно другому, то ясно, что все было бы одним и тем же. Действительно, одно и то же было бы и триерой, и стеной, и человеком, раз относительно всякого предмета можно нечто одно и утверждать и отрицать, как это необходимо признать тем, кто принимает учение Протагора».

Очевидно, Протагор и сам осознавал, к каким абсурдным следствиям ведут его построения. Для того чтобы человек мог ориентироваться в окружающем его мире, необходимо осуществить выбор между двумя противоположными мнениями в пользу одного из них. Кто может осуществить этот выбор? Для Протагора сомнений нет — только человек! Так Протагор приходит к знаменитому тезису, сохраненному у Платона и Секста-Эмпирика: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, несуществующих же, что они не существуют».

Эти крылатые слова неотделимы сегодня от имени Протагора. В таком виде они вошли во все учебники и энциклопедии, хотя нам представляется более удачным менее популярный перевод афоризма Протагора, принадлежащий выдающемуся знатоку античности М. Л. Гаспарову: «Человек есть мера всем вещам — существованию существующих и несуществованию несуществующих».

Не меньшие трудности вызывает толкование афоризма Протагора, которое начато еще Платоном, продолжается по сей день и, видимо, будет продолжаться впредь, ибо объем истинно философской мысли беспределен. В диалоге «Теэтет» Платон устами Сократа комментирует слова Протагора:

«С о к р а т. Так вот, он (Протагор. — *А. В.*) говорит тем самым, что-де какой мне кажется каждая вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она, в свою очередь, для тебя. Ведь человек — это ты или я, не так ли?

Т е э т е т. Да, он толкует это так.

Сократ. А мудрому мужу, разумеется, не подобает болтать вздор. Так что последуем за ним. Разве не бывает иной раз, что дует один и тот же ветер, а кто-то мерзнет при этом, кто-то — нет? И кто-то не слишком, а кто-то сильно?

Тетет. Еще как!

Сократ. Так скажем ли мы, что ветер сам по себе холодный или нет, или поверим Протагору, что для мерзнущего он холодный, а для немерзнущего — нет?

Тетет. Приходится поверить».

Итак, вопрос о том, холоден ли ветер или нет, согласно Протагору, лишен смысла, как и вопрос о силе или слабости ветра, ибо одного он сбивает с ног, а другой его не замечает. Для каждого, по Протагору, дует свой ветер. В своей критике подобной абсолютизации субъективности ощущений Платон доходит до другой крайности, объявляя все ощущения ложными. Все чувственное истинно и все чувственное ложно — вот два полюса, разделяющие Протагора и Платона. Ясно, что истина, как всегда, лежит где-то посередине. Но чтобы человеку ориентироваться в текучем мире ощущений, необходим некий критерий, позволяющий упорядочить ощущения человека. Протагор этого критерия не нашел. Платон в качестве такового предложил мир вечных и неизменных идей.

Правда, один критерий, позволяющий человеку находить выбор в мире взаимопротивоположных мнений, Протагор все-таки указывает. Речь идет о выгоде. Лучше бы Протагор не называл этот критерий, поскольку тезис Протагора «все истинно» влечет за собой тезис «все дозволено». А уже следующий шаг приводит софистов к нравственному нигилизму и попранию всех моральных норм. Насколько же далеко может завести философа, казалось, безобидная логическая ошибка, сделанная им в начале пути!

Если в выборе между теплом и холодом человек может руководствоваться собственными субъективными оценками и собственной «выгодой», то в выборе между добром и злом человеку должно руководствоваться более высокими критериями, нежели личная выгода. По существу, история человеческой морали и есть история выработки, воплощения и, увы, попрания подобных критериев. Снижая оценочную планку до собственной выгоды, софисты, возможно, против своей воли встали на скользкий путь этического релятивизма.

Нравственный нигилизм оказался мрачным тупиком в лабиринте софистической философии и превратил здоровую, светлую и жизнерадостную философию софистов в нечто отрицательное, от-

чего и само слово «софист» стало восприниматься чем-то зазорным, означающим интеллектуальную безответственность, моральную шаткость и даже безнравственность. Софистика в сознании людей стала связываться с приютом для лжеумудрецов, где вечные идеалы Истины и Добра подменялись пустословием и вседозволенностью. Дух стяжательства вместе с духом беспринципности и осмеяния отравляли здоровое тело философии софистов. Отсюда понятно, почему Платон говорил, что быть софистом стыдно.

Однако не следует рассматривать софистов во главе с их крестным отцом Протагором только в черном свете, как это делали благодаря авторитету Платона на протяжении более двух тысячелетий, вплоть до XIX в. В философии софистов оттачивалась логика мышления, выкристаллизовывались ее законы, крепла человеческая мысль, едва сбросившая с себя мифологическое покрывало. В философии софистов завершался переход всей античной философии от мифа к логосу.

Поистине с софистическим блеском дал одну из первых позитивных оценок творчества софистов русский писатель и философ Александр Герцен (1812—1870): «Софисты — пышные, великолепные цветы богатого греческого духа — выразили собой период юношеской самонадеянности и удалства... Что за роскошь в их диалектике! что за беспощадность! что за развязность! какая симпатия со всем человеческим! что за мастерское владение мыслью и формальной логикой! Их бесконечные споры — это бескровные турниры, где столько же грации, сколько силы — были молодецким гарцеванием на строгой арене философии; это — удалая юность науки, ее майское утро».

Прекрасно сказал Герцен! Но и софисты оставили человечеству превосходные образцы чеканной возвышенной прозы. Вот как писал о значении «логоса»-«слова» софист Горгий, как и все мудрецы Эллады, понимавший λόγος не в чувственно-звуковом, а в высоком — Гераклитовом — смысловом плане: «Слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить... Ибо подобно тому, как из лекарств одни изгоняют из тела одни соки, другие другое, и одни из них устраняют болезнь, а другие прекращают жизнь, точно так же и из речей одни печалют, другие радуют, третьи устрашают, четвертые ободряют, некоторые же отравляют и околдовывают душу, склоняя ее к чему-нибудь дурному».

В истории античной философии Протагор не стоит особняком, подобно Гераклиту, Анаксагору или Демокриту. Протагор оставил после себя многочисленную школу последователей-учеников, просуществовавшую более ста лет. Принято различать «старших софистов», живших во второй половине V в. до н. э., — Протагора, Горгия, Гиппия, Продика, Антифонта — и «младших софистов» (первая половина IV в. до н. э.) — Алкидама, Трасимаха, Крития, Калликла.

Подобно энциклопедистам «недавнего» XVIII в., софисты оказали значительное влияние на развитие интеллектуальной жизни Эллады, отчего эпоху софистов по аналогии с XVIII в. принято называть эпохой Просвещения. В философии софистов впервые в античной мудрости обозначился поворот от макрокосма Вселенной к микрокосму человека, от объекта к субъекту, от философии природы к философии человека. Софисты развили субъективную сторону диалектики, продемонстрировали гибкость, текучесть, взаимопревращаемость понятий. Из софистических уловок и логических шалостей очень скоро родились истинные законы логики.

В истории античной мудрости софистам была уготована, возможно, не слишком почетная, но необходимая роль животворного, плодородного слоя, на котором не замедлили распуститься три лучших цветка в венке мудрости Эллады — Сократ, Платон и Аристотель.



СОКРАТ

(ок. 470 — 399 до н. э.)

Я знаю, что ничего не знаю.

В истории античной мудрости софистам была уготована, возможно, не слишком почетная, но необходимая роль животворного, плодородного слоя, на котором не замедлили распуститься три лучших цветка в венке мудрости Эллады — Сократ, Платон и Аристотель. Сократ развил «философию человека» софистов, сделал прорицание дельфийского оракула «Познай самого себя» знаменем всей сократической философии. Платон обогатил диалектический метод софистов, превратив диалектику в основной философский метод. Аристотель, анализируя и классифицируя логические ошибки софистов, сформулировал законы логики.

Хотя вклад Платона и Аристотеля в античную, да и в мировую философию неизмеримо выше вклада Сократа, Сократ был и остается самой популярной личностью в истории всей философии. Имя Сократа не только в Древней Элладе, но и в сегодняшнем мире остается синонимом мудреца, а его жизнь — эталоном служения Истине. В отличие от Платона и Аристотеля, философское наследие которых измеряется пухлыми томами собраний сочинений, Сократ едва ли не единственный из философов, кто не написал ни строчки и тем не менее создал несравненное и непревзойденное философское произведение, имя которому — его собственная жизнь.

Жизнь Сократа и философия Сократа неотделимы. И в этом, и во всем остальном Сократ парадоксален и непредсказуем. Вечный

смех Сократа — добрый и злой, простодушный и коварный, колюче-умный и аморфно-дурацкий — загадочен и непонятен, как загадочна вечная улыбка леонардовской Моны Лизы. Впрочем, лучший, на наш взгляд, портрет Сократа уже написан, и принадлежит он «Платону XX века» А. Ф. Лосеву.

«...Сократ, как и любой софист его времени, — это декадент. Это первый античный декадент, который стал смаковать истину как проблему сознания. Платон — это система, наука, что-то слишком огромное и серьезное, чтобы исчерпать себя в декадентстве. Аристотель — это уже апофеоз научной трезвости и глубокомыслия. Но Сократ — отсутствие всякой системы и науки. Он весь плавает, млеет, сюсюкает, хихикает, залезает в глубину человеческих душ, чтобы потом незаметно выпрыгнуть, как рыба из открытого садка, у которой вы только и успели заметить мгновенно мелькнувший хвост. Сократ — тонкий, насмешливый, причудливый, свирепо-умный, прошедший всякие огни и воды декадент. Около него держи ухо востро.

Трудно понять последние часы жизни Сократа, описанные с такой потрясающей простотой в платоновском “Федоне”, а когда начинаешь понимать, становится жутко. Что-то такое знал этот гениальный клоун, чего не знают люди... Да откуда эта легкость, чтобы не сказать легкомыслие, перед чашей с ядом? Сократу, который как раз и хвалится тем, что он знает только о своем незнании, Сократу — все нипочем. Посмеивается себе, да и только. Тут уже потом зарыдали около него даже самые серьезные, а кто-то даже вышел, а он преспокойно и вполне деловито рассуждает, что вот когда окостенение дойдет до сердца, то конец. И больше ничего.

Жуткий человек! Холод разума и декадентская возбужденность ощущений сливались в нем в одно великое, поражающее, захватывающее, даже величественное и трагическое, но и в смешное, комическое, легкомысленное, порхающее и софистическое.

Сократ — это, может быть, самая волнующая, самая беспокойная проблема из всей истории античной философии».

Сократ родился и умер в Афинах. Все 70 лет он безвыездно прожил в этом прекрасном городе, безмерно любил его и называл себя «порождением» и «слугой» Афин. Маленький мир шумной агоры, меняльных лавок, узких кривых улочек, гимнасий и палестр, мастерских оружейников, кожевников, портных, ювелиров — этот микрокосм Ойкумены, теснившийся у подножия скалы Акрополя, неотделим от Сократа, как неотделим от него и сам Сократ. Триумф побед афинян над персами и позор поражений от

Спарты, грандиозные натурфилософские картины Демокрита и Анаксагора и декадентское разочарование в натурфилософии софистов, жертвенная самоотдача преданного Афинам Перикла и хищническое самонасыщение предавшего Афины Алкивиада — весь клубок кризисных противоречий тяжким бременем лег на душу Сократа. И душа откликнулась граничащими с божественностью и юродством прозорливостью и кликушеством. Душа, вместившая в себя все радости и невзгоды, взлеты и падения, озарения и разочарования большого города.

Сократ родился в 470 или 469 г. до н. э. в пригороде Афин Алопеке, что в получасе ходьбы от Акрополя. Отец Сократа Софроникс был либо первоклассным каменотесом, либо захудалым скульптором, никак не связанным с мастерскими Фидия, Поликлета и других прославленных афинских ваятелей. Мать Сократа Фенарета была повивальной бабкой, т. е. акушеркой.

Сократ не перенял ремесла отца, хотя мог бы преуспеть и на этом поприще. Древние хроники сообщают, что он изваял группу харит (богинь красоты и радости), которые долгое время по крайней мере до II в. н. э. украшали вход на Акрополь. Тем более не мог юный афинянин пойти по стопам матери. Однако обе родительские профессии, как это ни парадоксально, оказали заметное влияние на формирование личности будущего мудреца. От отца Сократ научился угадывать в бесформенной глыбе мрамора абрис будущей скульптуры, смело отсекал ненужные куски камня, заботливо доводит проступивший контур до совершенной линии. Эти отцовские приемы Сократ виртуозно применял в философии, сообщая мысли отточенность мрамора.

Но как могло пригодиться Сократу искусство, которым владела его мать Фенарета? Предоставим слово самому философу. В диалоге Платона «Теэтет» Сократ беседует с юным Теэтетом — будущим знаменитым математиком, автором теории иррациональных чисел. Загнанный в тупик Сократовой логикой, Теэтет бьется, как муха в паутине, а Сократ смотрит на него паучьими глазами, но не кусает, а, напротив, подбадривает, помогает выпутаться. Сократ не расчищает дорогу юноше, поскольку и сам не знает — или делает вид, что не знает, — этой дороги. Он только подталкивает его, помогает встать на верный путь обретения истины.

«С о к р а т. Твои муки происходят оттого, что ты не пуст, милый Теэтет, а скорее тяжел.

Т е э т е т. Не знаю, Сократ. Но я рассказываю о том, что испытываю.

Сократ. Забавно слушать тебя. А не слышал ли ты, что я сын повитухи — очень почтенной и строгой повитухи, Фенареты?

Тететет. Это я слышал.

Сократ. А не слышал ли ты, что и я промышляю тем же ремеслом?

Тететет. Нет, никогда.

Сократ. Знай же, что это так, но только не выдавай меня никому. Ведь я, друг мой, это свое искусство скрываю... В моем повивальном искусстве почти все так же, как и у них, — отличие, пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен и принимаю роды души, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве — то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод».

Итак, шаг за шагом двигаясь вместе с собеседником в лабиринтах мысли, Сократ *помогал рождению* истины. Свой излюбленный педагогический прием и основной методологический принцип Сократ так и называл майевтикой (*μαίευτική*), т. е. повивальным искусством.

Вопреки легендам, объявлявшим Сократа невежественным и малограмотным самоучкой, который якобы до старости читал по складам, а при письме нашептывал себе вслух, вызывая у окружающих потоки злорадных насмешек, можно с уверенностью сказать, что Сократ, как и многие молодые афиняне его времени, получил достаточное начальное образование, прежде всего «мусическое и гимнастическое воспитание». Отметим, что ко времени Сократа учение о калокагатии — гармонии нравственных и физических начал в человеке — из привилегии отдельных замкнутых обществ типа школы Пифагора переросло в общенациональную образовательную программу.

«Мусическое воспитание», считавшееся основным средством нравственного воспитания юношества, не ограничивалось только обучением игре на флейте и кифаре, пению эпических текстов Гомера и Гесиода, но самое пристальное внимание уделяло занятиям по теории музыки. А это, в свою очередь, требовало знаний арифметики, геометрии и даже астрономии, ибо земная музыка для древних была лишь отголоском космической музыки сфер. Итак, перед нами полный набор пифагорейской *μάθημα* — арифметики, геометрии, музыки и астрономии, которая ко времени Сократа сформировалась в начальный курс образования, а чуть позже была закреплена как образовательная система в VII книге «Государства»

Платона. Трудно предположить, чтобы система эта не коснулась столь одаренной личности, как Сократ.

Однако Сократ никогда не считал обретение и приумножение знаний самоцелью. Истинный афинянин, он не мог оставаться равнодушным к заботам родного полиса. И хотя Сократ старался избегать участия в государственных делах, он не допускал и мысли об уклонении от общественно-политической жизни города, тем более от воинского долга. Доподлинно известно, что Сократ принимал участие в трех военных кампаниях в качестве гоплита, (тяжеловооруженного пехотинца), проявив себя отважным и выносливым воином.

В 432 г. до н. э., за год до начала Пелопоннесской войны, 38-летний Сократ участвовал в походе против Потидеи, которая объявила о выходе из Афинского союза. В сражении под стенами Потидеи, когда афинянам пришлось отступать, Сократ вынес с поля боя раненого друга Алкивиада и позаботился о спасении его оружия. Позже Алкивиад вспоминал: «А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ: не захотев бросить меня, раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе, — тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, — но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильней, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя» (*Платон. «Пир»*).

Осада Потидеи растянулась на три года, в течение которых армия афинян терпела многие лишения. В том же «Пире» Алкивиад рассказывает о Сократе: «Начну с того, что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезанными и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой... Точно так же и зимний холод — а зимы там жестокие — он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие, обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними...»

Невзгоды походной жизни не мешали философским размышлениям Сократа. В любой обстановке мудрец умел «отключиться»

от внешнего мира и целиком уйти в собственные раздумья. «Как-то утром, — рассказывает Алкивиад, — он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже поуживав, некоторые ионийцы — дело было летом — вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолвившись Солнцу, ушел».

В 424 г. до н. э., когда Сократу было уже 46 лет, он участвовал в битве при Делии на аттико-беотийской границе. Войско афинян было разбито и беспорядочно отступало. Командовавший афинянами полководец Лахет впоследствии признавался, что Сократ «делает честь не только своему отцу, но и своей родине. Во время бегства из-под Делия он отступал вместе со мною, и говорю тебе: если бы другие держались так, как он, наш город тогда устоял бы и не пал столь бесславно» (*Платон. «Лахет»*). Алкивиад добавляет, что самообладание у Сократа было значительно выше, чем у Лахета. Он восхищается спокойствием, с каким отступал Сократ, «так что даже издали каждому было ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя». Еще через два года, в 422 г. до н. э., Сократ участвовал в битве при Амфиполе.

Как видим, Сократ не прятался от войны ни в государственных собраниях, ни в тылах армии. Только после 50 лет он позволил себе отойти от ратных дел и целиком посвятить себя философии. С полей сражений мудрец навсегда перебирается на афинские переулки и площади. Теперь Афины немислимы без этого баламута и балагура, который выныривал то в одном месте города, то в другом и вступал в беседу со всяким, кто появлялся на его пути. Как говорили афиняне, Сократ стал украшением города, словно фазан или павлин. Именно в этот период и сформировался образ афинского мудреца, сохранившийся навечно.

«Кто не знает этой крепкой, приземистой фигуры с отвисшим животом и заплывшим коротким затылком? Всмотритесь в это мудрое и ухмыляющееся лицо, в эти торчащие, как бы навывкате глаза, смотревшие вполне по-бычачьи, в этот плоский и широкий, но вздернутый нос, в эти толстые губы, в этот огромный нависший лоб со знаменитой классической шишкой, в эту плешь по всей голове...

Да подлинно ли это человек? Это какая-то сплошная комическая маска, это какая-то карикатура на человека и грека, это вырождение...» Так живописует Сократа А. Ф. Лосев, и это не художественный портрет, а скорее документальная фотография, воссозданная на основе античных источников.

Действительно, внешний облик Сократа мог шокировать каждого. Тем более он был отталкивающим для древнего грека, боготворившего красоту линий человеческого тела. Какая уж тут калокагатия, какой идеал красоты, какой «Дискобол» или «Дорифор»! Но Сократ соткан из парадоксов. За его уродливой внешностью скрывалась гармония и красота внутренних помыслов, за шутовскими вопросами — плоды долгих и напряженных раздумий, за неприятной жизнью тела — великое устремление духа.

Двуликость Сократа — его главная загадка. Еще в начале IV в. до н. э. платоновский Алкивиад пытался разгадать ее, сравнивая Сократа с пустой внутри фигуркой божка Силен. С виду Силен забавен — он курнос, толстогуб, с хвостом, копытами и глазами на выкате, но внутри него греки хранили священные изображения. Так же и Сократ « всю жизнь морочит людей притворным унижением », но если вам посчастливится увидеть таящиеся в нем изваяния, то они покажутся вам « божественными, золотыми, прекрасными и удивительными ». « Если послушать Сократа, — говорит Алкивиад, — то на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого наглеца-сатира... Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, что эти речи божественны ».

Но и в конце XX в. та же загадка Сократа не давала покоя его духовным наследникам. « Эта *двуликость* Сократа, — писал А. Мень, — многих сбивала и доныне сбивает с толку, а ведь именно в ней можно видеть ключ к пониманию личности философа. Не заставляло ли его надевать личину простачка, играть комедию, почти юродствовать какое-то особое целомудрие и скрытность? Быть может, ирония и неумная говорливость помогали ему оберегать тайный огонь души? »

Разгадку двуликости Сократа, « доходящую в некоторых пунктах до чудовищных размеров », А. Ф. Лосев видит в переходном характере его времени, в устрашающей путанице старого и нового, характерной для идущего к гибели классического полиса. Нам представляется, что и сама внешность Сократа решающим образом определяла характер его поведения. Мудрый Сократ, способный

адекватно оценить собственную наружность, прекрасно понимал, что его внешность сатира никак не вяжется с обликом степенного мудреца. Отсюда его кривлянье, простоватость, даже придурковатость речи и — как удар молнии — чеканная логика мысли. Трудно себе представить, чтобы сократовскую маску кривляки надел полный внешнего достоинства и благородства Платон. В целом все вместе — и кризисные противоречия эпохи, и болезненно-обнаженная внутренняя целомудренность, и ранимость Сократа, и его сатиropодобная внешность — переплелось в микрокосме мудреца в немыслимый клубок противоречий и вылепило его неповторимый облик.

Семейная жизнь Сократа протекала под тем же грустно-смешным знаком трагикомедии. Имя жены Сократа Ксантиппы стало нарицательным, обозначая злую и сварливую фурию, терроризирующую безропотного мужа. Столь «благодатная» тема на все лады перепевалась античными сказителями. Диоген Лаэртский рассказывает, как однажды Сократ явился домой в компании почитателей. Новые друзья, число которых Ксантиппа вряд ли успевала фиксировать, расположились в прохладной тени внутреннего двора под окнами дома. Очевидно, Сократ слабо реагировал на призывы Ксантиппы заняться домашними делами, и тогда жар философской дискуссии она охладила ведром воды. «Так я и говорил, — молвил Сократ, — у Ксантиппы сперва гром, а потом дождь».

Конечно, вспыльчивая и гневливая, как и все гречанки, Ксантиппа вряд ли утруждала себя сдерживанием эмоций. Но надо войти в положение матери троих детей, пребывавшей в беспросветной нужде, в то время как муж вечно слонялся по афинским улицам. Сократ, безусловно, сознавал свою вину перед Ксантиппой, и его отношение к жене никогда не переступало снисходительно-нежной иронии. Поэтому один раз, когда Ксантиппа в порыве гнева стала рвать на Сократе плащ прямо на рыночной площади, а друзья советовали ему ответить тем же, мудрец сказал: «Зачем! Чтобы мы лупили друг друга, а вы покрикивали: “Так ее, Сократ! Так его, Ксантиппа!”?» В другой раз он заметил, что сварливая жена для него — то же, что норовистые кони для наездников: «Как они, одолев норовистых, легко справляются с остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми». В третий раз... впрочем, достаточно.

Так что понять Ксантиппу легко. Особенно мудрому Сократу. Но не отношениями ли Ксантиппы и Сократа были продиктованы

слова софиста Калликла, обращенные им в платоновском диалоге «Горгий» к афинскому мудрецу: «Да, разумеется, есть своя прелесть и у философии, если заниматься ею умеренно и в молодом возрасте; но стоит задержаться на ней дольше, чем следует, и она — погибель для человека!»

Возможно, несмотря на софистический цинизм, слова Калликла и верны. Но Сократ, истовый рыцарь Истины, не мыслил своей жизни вне служения Истине и шел напролом навстречу гибели. И здесь его не могло остановить ничто — ни чаша с ядом, ни банальные уличные тумачи. Тот же Диоген Лаэртский рассказывает: «Так как в спорах он был сильнее, то нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще осмеивали и поносили; но он принимал все это, не противясь. Однажды, даже получив пинок, он и это стерпел, а когда кто-то подивился, он ответил: “Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?”»

Надо сказать, что уличные философские беседы, споры и даже потасовки не были чем-то необычным для Афин того времени. Древние греки были открытыми людьми: они постоянно беседовали, спорили, обменивались новостями, остряли, а в их менталитете сквозил дух соревновательности. В Древней Элладе соревновались все во всем и всю жизнь: в беге, метании диска и копья, борьбе, пении, красоте, игре на кифаре, декламации, — участвуя во всевозможных состязаниях — от общегреческих Олимпийских, Истмийских, Пифийских игр до бесчисленных местных соревнований и ежедневных уличных поединков. Страсть к остро словию стала едва ли не национальной болезнью афинян, которая поразила не только праздных аристократов, но и деловых ремесленников и даже рабов. Так что «уличная философия» Сократа не воспринималась как сумасшествие — она была естественной и желанной.

Уличные беседы того времени служили и своеобразными открытыми школьными уроками, поскольку обучение шло не через учебники, а через непосредственное общение учителя и ученика. Сократ отвергал письменность как средство обучения, предпочитая живой диалог записанному монологу. Письменность, считал Сократ, делает знание мертвым и мешает глубокому усвоению материала. «В этом, Федр, — говорит Сократ в платоновском диалоге “Федр”, — дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят, как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят как разумные существа, но, если кто спросит о

чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же».

Любопытно, что, согласно легенде, задолго до Сократа эту же мысль высказывал фараон Тамус богу Тоту — изобретателю древнеегипетской письменности. Оценивая письма Тота, Тамус говорил: «В души научившихся им они (письмена. — *А. В.*) вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя многое будут знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми, трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых». Конечно, роль письменности в истории культуры переоценить трудно, но толпы «мнимомудрых» во все времена свидетельствовали о поразительной прозорливости Тамуса. Можно только сожалеть, что в наш век индустриализации индивидуальное обучение ученика учителем, диалог учителя с учеником становятся все более недоступными.

О чем же беседовал с афинянами Сократ — этот босоногий фавн в потрепанном плаще, который появлялся на агоре с открытием городских ворот вместе с торговцами, бродил по их бесконечным рядам и искренне восклицал: «Сколько же есть вещей, без которых можно жить!»? Чаще всего беседа могла начинаться следующим образом (по Ксенофону):

« — Скажи мне, Евтидем, в Дельфы ты когда-нибудь ходил?

— Даже два раза.

— Заметил ли ты на храме где-то надпись: “Познай самого себя”?

— Да.

— Что же, к этой надписи ты отнесся безразлично или обратил на нее внимание и попробовал наблюдать, что ты собою представляешь?

— Конечно, нет, клянусь Зевсом, я воображал, что это-то уж вполне знаю: едва ли я знал бы что-нибудь еще, если бы не знал даже самого себя».

Вот тут-то Сократ и приступал к главной части беседы. Через два-три встречных вопроса собеседнику становилось ясно, что познать самого себя не так-то просто: с каждым шагом, который, казалось, должен стать последним на пути к цели, открывались все новые горизонты, а клубок вопросов рос, как снежный ком. Сегод-

ня, по прошествии 24 веков, отчетливо видно, что самопознание — сложнейшая философская проблема, уходящая, как и любая истинно философская проблема, в бесконечность. Не случайно на исходе XX в. слепой 90-летний мудрец А. Ф. Лосев на вопрос, что самое главное в философии, без раздумий ответил: «ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ — ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ».

«Познай самого себя» — альфа и омега сократовской философии. Если софисты только наметили поворот от натурфилософии к человеку, то Сократ его решительным образом осуществил. Ни один из мудрецов Эллады, кроме Сократа, не делал самопознание основной целью и руководящим принципом собственного учения. Какой толк, считал Сократ, рассуждать о движении звезд, о загадках блуждающих звезд — планет, о тайнах первовещества и первоэлементов, о пространстве, времени, атомах и гармонии сфер, как это делали натурфилософы, начиная с Фалеса, если твое собственное «Я» для тебя остается загадкой? Человек, а не природа — вот кредо сократовской философии.

Конечно, сужение области познания до самопознания обедняло и сократовскую философию, и самого Сократа. Любопытно, что, когда едва ли не единственный раз в жизни Сократ оказался на природе, он с детским восторгом воскликнул: «Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а разросшаяся; тенистая верба великолепна...» Когда же его проводник Федр заметил, что он говорит, будто чужестранец, хотя они только вышли за городскую стену Афин, Сократ ответил: «Извини меня, добрый мой друг, я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе». С другой стороны (как говорят софисты), в своем самоограничении Сократ был прав, ибо тема познания человека столь обширна, что на нее не хватило даже Сократовой жизни.

В чем же видел Сократ цель самопознания? Познать самого себя — значило для него познать внутренний мир человека, достичь гармонии его внутренних сил и внешней деятельности, принять нормы нравственного поведения как высшее благо и высшую добродетель. «Ведь я только и делаю, — скажет Сократ на суде, — что хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше».

Итак, главная цель самопознания, по Сократу, состоит в раскрытии добродетелей человека и, как итог самопознания, в достижении человеком высшего блага. «Арете» (ἀρετή) — добродетель и

«агафон» (αγαθόν) — благо — вот ключевые слова сократовского самопознания. Через добродетель к благу — девиз самопознания. Казалось, все просто и ясно. Но что есть добродетель и что есть благо? Поиски ответа на этот вопрос растянулись на тысячелетия. Его и сегодня ищут и философия, и религия, и наука о нравственности — этика, основоположником которой по праву считается Сократ.

Однако оптимисту Сократу кажется, что он находит ответ на вопрос, что есть добродетель, и таким образом указывает путь к высшему благу. Дитя своего времени, открывшего миру могущество человеческого разума, заложившего фундамент последующего знания, Сократ не мог не уверовать в торжество разума в природе человека. Поэтому он считает разум главным проводником добродетели и объявляет знаменитый тезис: *добродетель есть знание*. Этот вывод вполне закономерен, если учесть, что знание у Сократа есть результат познания самого себя.

Наставляя человека на путь добродетели, Сократ не вещает, подобно Пифагору, и не увещевает, как будущие христианские моралисты, а рассуждает. К добродетели Сократ подходит с чисто рациональных позиций. Добродетели, считает Сократ, можно и нужно учить, ибо пороки человека проистекают от невежества и незнания. Зло — результат незнания Добра. Зная, что есть Добро, человек не сможет творить зло.

Ни одному мудрецу не доступна абсолютная истина. Поэтому сколько мудрецов, столько и истин, но истин не абсолютных, а локальных, ограниченных и во времени, и в духовном пространстве. Уже Аристотель подверг критике попытки Сократа построить на разуме универсальную этику. Аристотель справедливо возражал Сократу, что иметь знание о добре и зле и применять это знание — не одно и то же. Люди порочные прекрасно знают, что есть добро и что есть зло, и тем не менее игнорируют это знание. Люди слабевольные также имеют знание о добре и зле и также пренебрегают им по своему безволию. Выход из «этического тупика» Аристотель видел в воспитании человека, чтобы с детства привить ему этические добродетели. Но и эта истина Аристотеля относительна. Памятуя об Александре Великом, воспитаннике Аристотеля, вряд ли можно сказать, что последний преуспел в воплощении теории. Опыт последующих поколений также подтвердил относительность истины Аристотеля.

Считая знание основой добродетелей, Сократ особое внимание уделяет процессу обретения знания. Так возникает знамени-

тый *сократовский метод*, который сегодня можно назвать методом субъективной диалектики. Противопоставляя себя натурфилософам, Сократ явился их преемником в диалектике. Он воспринял идущий от Гераклита диалектический метод и применил его к совершенно новой стихии — миру человека и человеческого мышления. Сократ довел до совершенства искусство сталкивания в спорах противоположных суждений, видения объекта в его противоречивости и многосторонности, восхождения от единичного факта к обобщающему понятию.

Обобщающее понятие или определение — главная цель сократовского метода. Сократ первым осознал, что, если нет понятия, нет и знания, и, таким образом, первым вывел знание на уровень обобщающих понятий. Диалектика в понимании Сократа есть способ установления точных обобщающих понятий, определяющих «сущность вещи». Если собеседник Сократа не может дать определения добродетели, следовательно, он не знает, что это такое.

Сократ указывает и метод, каким можно достичь обобщающих понятий. Это индукция — восхождение от частного к общему — или эпагогия (греч. ἐπι-αγωγή — наведение). По диалогам Платона видно, сколь мастерски владел эпагогией Сократ. Вначале без особых усилий устанавливалось какое-либо предварительное определение. Затем оказывалось, что оно охватывает не весь предмет обсуждения, а только отдельные его свойства. Далее рассматривается противоположный случай, помогающий подняться на новую ступеньку в определении. Далее обнаруживаются его новые дефекты, проводятся новые рассмотрения и — шаг еще на одну ступеньку. И так далее.

Индукция-наведение и обобщающие понятия — важнейшие рычаги сократовского метода, которые быстро получили широкое распространение. Уже через полвека после смерти Сократа Аристотель писал в «Метафизике»: «Две вещи можно по справедливости приписывать Сократу — доказательства через наведение и общие определения: и то и другое касается начала знания».

Метод Сократа обладает еще одной яркой отличительной чертой, придающей ему ни с чем не сравнимое обаяние. Это знаменитая ирония Сократа, по существу, особый метод ведения диалога и поиска общих определений. Прикинувшись простачком, Сократ скромно спрашивает собеседника о предмете, который по роду деятельности последнего должен быть ему хорошо известен. Простак-собеседник начинает с жаром поучать Сократа. Тот заманивает его дальше, но с каждым шагом самоуверенность собеседника

падает, а ирония Сократа нарастает. Наконец собеседник сдается. «Я, Сократ, — говорит Менон в носящем его имя диалоге Платона, — еще до встречи с тобой слышал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по-моему, ты меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у меня полная паника... Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она вообще такое».

Итак, собеседник обезоружен. Застилающая глаза самоуверенность поколеблена. Теперь с ним можно спокойно и серьезно подбираться к истине. Но Сократ не торопится поучать, давать готовые рецепты. Он все время повторяет, что знает только то, что ничего не знает. Значит, собеседник сам должен выбраться из подготовленной Сократом ловушки, сам подойти к истине, родить необходимое определение. Это и есть *майевтика* — духовное акушерство — еще один из излюбленных приемов сократовского метода.

«Я знаю, что я ничего не знаю» и «Познай самого себя» — два столпа сократовской философии. Но откуда взялся у Сократа этот чисто софистический парадокс, совмещающий два взаимно противоположных высказывания: «я знаю» и «я ничего не знаю»? Что хотел сказать этим Сократ? История происхождения крылатого афоризма Сократа помогает понять его смысл.

Некто Херефонт, друг и ученик Сократа, однажды в Дельфах спросил Пифию, есть ли кто на свете мудрее Сократа. «Никого нет мудрее», — гласил ответ пророчицы. Узнавший об этом Сократ был сильно смущен ответом дельфийской прорицательницы, вешавшей от имени Бога. «Услышав это, — признается Сократ, — стал я размышлять сам с собою таким образом: что бы такое Бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым».

И Сократ решил опровергнуть прорицание Пифии. Он ведет беседы с людьми, слывущими мудрыми, но после общения с ними, к своему удивлению, находит, что те, кто пользуются самой большой славой, на поверку оказываются чуть ли не самыми бедными разумом. Уходя от одного из таких мудрецов, Сократ замечает: «Этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю». В итоге, посетив политиков, поэтов, ремесленников и много другого люда, Сократ приходит к заключению, что высшая мудрость есть

только удел Божества. Пифия же хотела только сказать: «Из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость». Все понятно. И все-таки вдумаемся.

«Я знаю, что я ничего не знаю». Вряд ли Сократ был до конца искренен в знаменитом признании. Да и можно ли быть искренним в очевидном парадоксе? Grimаса сократовской усмешки прячется за каждым словом его изречения. Да и само испытание, вызванное словами Пифии, — не благовидный ли это предлог для бесконечных насмешек, уличений в невежестве, развенчиваний? Год от года сократовские «испытания» становились все несноснее.

«Его улыбки, — пишет А. Ф. Лосев, — приводили в бешенство, его с виду нечаянные аргументы раздражали и нервировали самых бойких и самых напористых. Такая ирония нестерпима. Чем можно осадить такого неуловимого, извилистого оборотня? Это ведь сатир, смешной и страшный синтез бога и козла. Его нельзя раскритиковать, его недостаточно покинуть, забыть или изолировать. Его невозможно переспорить или в чем-нибудь убедить. Такого язвительного, ничем непобедимого, для большинства даже просто отвратительного старикашку можно было только убить. Его и убили». Кольцо врагов вокруг Сократа ширилось и уплотнялось. И Сократ сам, будто нарочно, стягивал его изнутри.

Обстановка в Афинах того времени не располагала к благодушным пикировкам. В апреле 404 г. до н. э. Афины, осажденные с суши и моря, капитулировали перед Спартой. Тридцатилетняя Пелопоннесская война закончилась для Афин катастрофой. Под звуки спартанского военного марша были разрушены стены Афин. Великий полис, еще недавно считавший себя венцом Эллады, был поставлен на колени. Афины вступили в полосу бедствий и унижений. Бедствующий народ всегда ищет виновного, и ему всегда охотно на виновного указывают. Тут-то Сократ и оказался как нельзя более кстати.

Сократ давно уже раздражал власти своей независимостью. В 406 г. до н. э. афинский флот одержал победу при Аргинусских островах, но в разыгравшейся буре афинские стратеги не сумели спасти тонущих и похоронить убитых, что для греков являлось страшным преступлением. Победителей судили и приговорили к смертной казни. Единственным в Совете пятисот, кто голосовал против скоропалительной расправы над стратегами, был Сократ. Все восемь осужденных были казнены, а Сократ едва избежал тюрьмы.

В 404 г. до н. э. Сократ выступил против террора, развязанного в Афинах его бывшим учеником Критием. С падением Афин Критий возглавил совет «тридцати тиранов», который, опираясь на спартанский гарнизон, учинил в городе кровавые расправы. Сократ публично высказался о политике бывшего ученика: «Странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставши пастухом стада коров и уменьшая число и качество коров, не признавал себя плохим пастухом; но еще страннее, что человек, ставши правителем государства и уменьшая число и качество граждан, не стыдится этого и не считает себя плохим правителем государства». В ответ Критий запретил Сократу «портить молодежь» подобными речами и прозрачно намекнул, что иначе мудрец и сам окажется среди «убывающих коров».

Одним словом, почва была подготовлена, а вскоре нашлись и обвинители: стратег Анит, бывший кожевник, оратор Ликон и некто Мелет — среднего дарования поэт, зато тщеславный интриган. Мелет подал в афинский суд заявление: «Заявление подал и клятву принес Мелет, сын Мелета из Питфа, против Сократа, сына Софроникса из Алопеки: Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество; а наказание за то — смерть».

Настал конец мая 399 г. до н. э. Час суда пробил. Слуги приготовили одиннадцать клепсидр — амфор, из которых по капле вытекает вода. За это время (около 10 часов) 501 гелиаст должен выслушать обвинение, защиту и вынести приговор. Одна из клепсидр принадлежит Сократу. Как-то распорядится мудрец залитым в нее временем?

Начал Мелет. Как часто бывает, он обвинил Сократа в том, чего не было, — в изучении небесных явлений. Он приписал Сократу Анаксагоровы воззрения на небесные тела и, конечно, обвинил в непочитании богов. Далее Мелет объявил, что Сократ учит молодежь «делать слабый довод сильным», тем самым развращая ее. Да и кто ученики Сократа? Не предатель ли Алкивиад и не кровавый ли тиран Критий? Сократ мудр, но мудрость его растлевает молодежь, которая вслед за старым сатириком начинает осмеивать авторитеты.

Наступает очередь Сократа. Он нехотя и вяло начинает речь. Он говорит, что защищается только потому, что этого требует закон. Он не готовит своей апологии — речи защиты на суде, но говорит ученикам: «А разве вся моя жизнь не была подготовкой к защите?» Он отказывается от апологии верного ученика Лисия:

«Отличная у тебя речь, Лисий, да мне она не к лицу». Еще ранее он отвергает тайное предложение Анита удалиться из Афин до суда и тем самым разрешить конфликт. Нет, Сократ упрямо и будто умышленно идет навстречу смерти. Он словно решил про себя, что, если он не смог вразумить афинян своей жизнью, он должен это сделать своею смертью — единственным орудием, оставшимся в его арсенале.

Сократ не лавирует, не заискивает, не суетится. Он говорит с усмешкой, словно речь идет не о его жизни, а о постороннем предмете. Он заявляет, что не видит ничего предосудительного в занятиях натурфилософией, но — и тому есть немало свидетелей, и даже среди судей — сам-то он никогда не занимался изучением природы. Он считает полезным делом воспитание и обучение молодежи, но сам он никакой не софист, ибо платы за обучение никогда не брал, да и в роли штатного учителя никогда не выступал. Сократ спокоен и, кажется, безразличен к своей судьбе.

Но в одном Сократ остается тверд и неизменен. «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее Бога, чем вас, и пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать... Могу вас уверить, что так велит Бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, чем это мое служение Богу... послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз». Голос Сократа тверд. Его слова бесстрастно срываются с уст и падают в зал, будто капли воды из клепсидры.

То был вызов. Суд загудел, но Сократ не слышит ропот и продолжает подливать масло в огонь. «Таким образом, афиняне, я защищаюсь теперь вовсе не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудившим меня на смерть, не лишиться дара, который вы получили от Бога. Ведь если вы меня казните, вам нелегко будет найти еще такого человека, который попросту — хоть и смешно сказать — приставлен Богом к нашему городу, как к коню, большому и благородному, но обленившемуся от тучности и нуждающемуся в том, чтобы его подгонял какой-нибудь овод... Но очень может статься, что вы, рассердившись, как люди, внезапно разбуженные от сна, прихлопнете меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита. Тогда вы всю остальную жизнь проведете в спячке, если только Бог, заботясь о вас, не пошлет вам еще кого-нибудь».

Зал взорвался от возмущения. Отчаявшиеся ученики пытаются спасти положение. Юный Платон выбегает на трибуну, стараясь

перекричать толпу. В глазах его слезы, но слова тонут среди негодующих криков.

Тем не менее только тридцать голосов перетягивают весы Фемиды в сторону смертной казни: 280 гелиастов проголосовали за смерть, 221 — против. Для получения оправдательного приговора необходимо было иметь минимум 251 голос из 501. Но еще не все потеряно. Судьба вновь отдается в руки Сократа, поскольку по закону Афин гелия должна избрать одно из двух наказаний: либо то, что потребовало обвинение, либо то, что предложит себе обвиняемый. Еще одно слово остается за Сократом.

Но боги, что говорит этот безумец! Лучше бы он отдал свое слово ученикам! Сократ обращается к председательствующему Аниту: «Этот человек требует для меня смерти. Пусть так. А что, афиняне, назначил бы я себе сам? Очевидно, то, чего заслуживаю. Так что же именно?.. Чего-нибудь хорошего, афиняне, если уж в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого, что мне пришлось бы кстати. Что же кстати человеку заслуженному, но бедному, который нуждается в досуге для вашего же назидания? Для подобного человека, афиняне, нет ничего более подходящего, как обед в Пританее!»

Это уже походило на откровенную издевку. Осужденный на казнь вместо наказания предлагает себе высокую награду — почетный обед в Пританее, коим достаивают только олимпийских чемпионов — любимцев богов! Оглушительную тишину сменил невообразимый крик. Второй тур голосования высказался за смертную казнь большинством уже в 80 человек.

Друзья и ученики Сократа в отчаянии. Дело проиграно. Но Сократа это нимало не интересует. Он в третий раз обращается к судьям. На сей раз с пророчеством: «Мне хочется предсказать будущее вам, осудившим меня. Ведь для меня уже настало то время, когда люди бывают особенно способны к прорицаниям, — тогда, когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, афиняне, меня умертвившие, что тотчас за моей смертью постигнет вас кара тяжелее, клянусь Зевсом, той смерти, которой вы меня покарали. Сейчас, совершив это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, обратное: больше появится у вас обличителей — я до сих пор их сдерживал. Они будут тем тягостней, чем они моложе». Кольцо преданных учеников вокруг Сократа служило лучшим доказательством справедливости его слов. Лучше других это видел сам Анит, чей сын составлял часть Сократова кольца.

Суд окончен. «Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога», — и Сократ покинул зал. Он спокоен, и шаг его тверд. По дороге он обращается к плачущим ученикам:

— Что это? Вы плачете? Да разве вы только теперь узнали, что с самого рождения я осужден природой на смерть?

— Но мне особенно тяжело, что ты осужден на смерть несправедливо, — сказал один из его учеников.

— А тебе, дорогой мой Аполлотор, приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо? — улыбнулся в ответ мудрец.

Обычно приговор суда исполнялся на следующий день. Но на этот раз казнь отложили, ибо начались Делии — один из древнейших афинских праздников. Во время Делий легендарный афинский герой Тесей победил на Крите чудовище Минотавра и избавил Афины от ежегодной позорной дани, когда на съедение чудовищу посылали семь юношей и семь девушек. Помогли в этом подвиге Тесею бог Аполлон и дочь критского царя Ариадна. Поэтому, исполняя клятву Тесея, и отправляли афиняне на остров Делос к главному храму Аполлона священное судно с дарами. Со дня отплытия судна и до его возвращения смертная казнь в Афинах запрещалась.

Судьба подарила мудрецу еще 30 дней земной жизни. По Афинам ходили слухи, что суд над Сократом и Делии совпали не случайно — бог Аполлон, хотя и гневается на философа за дерзость, все-таки не хочет его смерти, дает возможность мудрецу замолить свою вину перед богами. Поговаривали и о том, что готовится побег мудреца и что никто не хочет этому мешать — ни стража, ни власти, ни боги. Ведь бежали не так давно от смертной казни Анаксагор и Протагор.

Но оставался один человек в Афинах, который твердо противился побегу Сократа, — это сам Сократ. За день до возвращения священного судна с Делоса в камеру мудреца проникает его старый друг Критон. И что же он видит — накануне казни закованный старец спит безмятежным сном младенца! Долго просидел пораженный Критон в изголовье друга, дожидаясь его пробуждения. Он умоляет Сократа согласиться на побег, он взывает к чувствам друзей, которые облекут себя позором, если не спасут учителя. Тщетно. В ответ Сократ живописует Критону скорую встречу в Аиде с Гомером и другими великими эллинами.

Но все имеет свой конец. В порту появился корабль, украшенный венками, следовательно, последний час Сократа пробил. Слу-

ги увели рыдающую Ксантиппу и детей. Остались только десять ближайших учеников. Но не было среди них Платона — от непосильных переживаний юноша слег. С осужденного Сократа сняли цепи, и он с удовольствием растер ноги.

Настал вечер, и перед заходом солнца принесли чашу с цикутой. Завидев палача, Сократ обратился к нему:

— Вот и прекрасно, любезный. Ты со всем этим знаком — что же мне надо делать?

— Да ничего, — ответил тот, — просто выпей и ходи до тех пор, пока не появится тяжесть в ногах, а тогда ляг. Оно действует само.

Он протянул чашу. И Сократ взял ее — не дрогнув, не побледнев, не изменившись в лице — и поднес к губам.

«До сих пор большинство из нас еще как-то удерживалось от слез, но, увидев, как он пьет и как он выпил яд, мы уже не могли сдержаться себя. У меня самого, как я ни крепился, слезы лились ручьем. Я закрылся плащом и оплакивал самого себя — да! не его я оплакивал, но собственное горе — потерю такого друга! Критон еще раньше моего разразился слезами и поднялся с места. А Аполлодор, который и до того плакал не переставая, тут зарыдал и заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу, всем, кроме Сократа. А Сократ промолвил:

— Ну что вы, что вы, чудачки! Я для того главным образом и отослал отсюда женщин, чтобы они не устроили подобного бесчинства, — ведь меня учили, что умирать должно в благоговейном молчании. Тише, сдержите себя!

И мы застыдились и перестали плакать.

Сократ сперва ходил, потом сказал, что ноги тяжелеют, и лег на спину: так велел тот человек. Когда Сократ лег, он ощупал ему ступни и голени и спустя немного — еще раз. Потом сильно стиснул ему ступни и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показывал нам, как тело стынет и коченеет. Наконец прикоснулся в последний раз и сказал, что, когда холод подступит к сердцу, он отойдет.

Холод добрался уже до живота, и тут Сократ раскрылся — он лежал, закутавшись, — и сказал (это были его последние слова):

— Критон, мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте.

— Непременно, — отозвался Критон. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?

Но на этот вопрос ответа уже не было».

Так рассказал о смерти Сократа его ученик Федон в одноименном платоновском диалоге. Но что в эти минуты переживал сам Сократ? Что он хотел сказать последними словами? Считал ли он смерть выздоровлением и вызволением для своей души и потому по старому обычаю просил принести в жертву богу врачевания Асклепию петуха? Или снова гримасничал, вновь издевался и над смертью, и над доброй традицией, и над плачущими учениками? Этого мы никогда не узнаем.

О чем думал, прощаясь с жизнью, Сократ? Считал ли он жизнь кабалой для души и тела и потому так легко отдавал ее в руки палачу? Считал ли он собственное пребывание в этом мире бессмысленной чередой лет и бесполезной вереницей усилий? Скорее всего, круг преданных учеников ограждал его от подобных мыслей, вселял уверенность в нужности своего дела, давал силы для новой иронии и новых сарказмов. Быть может, в последнее мгновение жизни Сократ с гордостью вспомнил свой сон, в котором он выпускал из рук белого лебедя с огромными крыльями. Лебедя того звали Платон.



ПЛАТОН

(427—347 до н. э.)

*Победа над самим собой есть первая
и наилучшая из побед.*

Быть может, в последнее мгновение жизни Сократ с гордостью вспомнил свой сон, в котором он выпускал из рук белого лебедя с огромными крыльями. Лебедя того звали Платон.

Платон — самый крупный и самый яркий цветок в венке мудрости Эллады. Но сказать так — значит ничего не сказать о Платоне. Платон не только вершина античной мудрости. Платон высится над всей мировой философией, подобно священному Акрополю, царящему над Афинами. Во все эпохи Платон воспринимался как прекрасная гора Фудзи, вознесшаяся над окружающими ее полями. Так что и в XX в. английский математик и философ Алфред Уайтхед назвал всю западную философию лишь суммой подстрочных примечаний к Платону. Сказанное о Платоне только в 1973 г., когда отмечался 2400-летний юбилей философа, составит целую библиотеку. Поэтому рассказ о Платоне естественно начать с того, что говорили о великом великие.

«Творения философов значительно позднейших давно уже пожелтели и высохли, спал их нарядный убор, и стоят перед сознанием оголенные их схемы, как мерзлые деревья зимой. Но живы и будут жить притрепетные Диалоги Платона. И нет такого человека, который хотя бы одно время жизни своей не был платоником. Кто ведь не испытывал, как растут крылья души? Кто не знает, как поднимается она к непосредственному созерцанию того, что от будничной сутолоки задернуто серым покровом оболочек?» (Павел Флоренский).

«Имя Платона является не просто известным, значительным или великим. Тонкими и крепкими нитями философия Платона пронизывает не только мировую философию, но и мировую культуру... Греки периода классики и эллинизма; древние римляне; арабские мыслители, оппозиционные исламу; позднеантичный иудаизм и средневековая каббала; византийское православие и римский католицизм; византийские мистики XIV в., подытожившие тысячелетний византизм, и немецкие мистики того же столетия, создавшие прочный мост от средневекового богословия к немецкому идеализму, и прежде всего к Канту; теисты и пантеисты итальянского Возрождения; немецкие гуманисты; французские рационалисты и английские эмпирики; субъективный идеалист Фихте, романтический мифолог Шеллинг, создатель универсальной диалектики категорий Гегель; Шопенгауэр с его учением о мире разумных идей... русские философы-идеалисты вплоть до Владимира Соловьева и Сергея Трубецкого; новейшие немецкие мыслители... математики и физики вплоть до Гейзенберга и Шредингера; бесчисленное количество поэтов и прозаиков, художников и критиков, ученых и дилетантов, творцов, ломающих традицию, и обывателей, трусливо ее защищающих, — все это необозримое множество умов вот уже третье тысячелетие спорит, волнуется, горячится из-за Платона, поет ему дифирамбы или снижает его до уровня обывательской посредственности. Можно сказать, что Платон оказался какой-то вечной проблемой истории человеческой культуры, и пока нельзя себе представить, когда, как, при каких обстоятельствах и кем эта проблема будет окончательно разрешена» (Алексей Лосев).

7 таргелиона (21 мая) 427 г. до н. э., в день рождения на Делосе бога Аполлона, в знатной аристократической семье афинян Аристон и Периктионы родился мальчик, которого в честь деда назвали Аристоклом. Аристон происходил из рода последнего афинского царя Кодра, а Периктиона была прямой родственницей афинского мудреца Солона. Если копнуть дальше, то в родах Аристона и Периктионы, которые в глубине веков сливались, можно было найти аргонавта Периклимена, гомеровского мудреца Нестора, пилосского героя Нелея и, наконец, бога морей Посейдона. Вся история Эллады — ее боги, герои, мудрецы, цари, тираны, олигархи, стратеги, архонты, ораторы, поэты, участники войн и государственных переворотов — была и историей родов Аристона и Периктионы.

Но существовала и легенда, непосредственно возводившая Аристокла к богам. Как рассказывает Диоген Лаэртский, когда Периктиона была еще юной, Аристон «пытался овладеть ею, но безуспешно; и, прекратив свои попытки, он увидел образ Аполлона, после чего сохранял жену в чистоте, пока та не разрешилась младенцем». Так что Аристокл получался «сыном Божиим», недаром он и родился в один день со своим «отцом» Аполлоном, а мудрые пчелы наполняли уста младенца Аристокла медом. Не отсюда ли божественный, сверхчеловеческий дар Аристокла и его сладкозвучные речи? Напомним, что полторы сотни лет назад бог Аполлон «подарил» Элладе Пифагора.

Как отпрыск старинной, царского происхождения семьи с прочными аристократическими устоями, Аристокл получил блестящее образование в лучших традициях греческой калокагатии. Читением и поэтическим искусством с ним занимался известный грамматик Дионисий, музыкой — Дракон, ученик Дамона, обучавший самого Перикла, гимнастикой — выдающийся борец Аристон. Последний и прозвал юного Аристокла Платоном, т. е. широким, широкоплечим, за его широкую грудь и мощное сложение (от греч. πλάτος — ширина). Впрочем, по другой версии, Аристокл был прозван Платоном за широкий лоб, и не кем иным, как Сократом. Так или иначе, но юноша действительно рос широкоплечим атлетом и широко образованным интеллектуалом. Он с успехом соревновался не только в декламации собственных стихов, но и стал победителем в борьбе на общегреческих Истмийских играх. Так в круговерти афинских новостей все чаще стало мелькать имя юного аристократа Платона.

Красавицы музыки, подруги лучезарного Аполлона, явно покровительствовали юному афинянину. Он с равным успехом занимался живописью и пел в хоре, писал трагедии и пробовал себя в комедии, сочинял возвышенные дифирамбы, элегии, изящные эпиграммы. До наших дней сохранилось чуть более двух десятков изысканных стихотворных миниатюр, позволяющих ощутить чистую, трепетную ауру платоновского мировидения.

Ты на звезды глядишь, о звезда моя! Быть бы мне небом,
Чтоб мириадами глаз мог я глядеть на тебя.

Однако очень скоро безоблачному благополучию юного аристократа пришел неожиданный конец. Платон отбирает у актеров розданную им для репетиций трагическую тетралогия. Он сжигает

свои поэтические произведения, призывая на помощь даже бога огня Гефеста. Он отворачивается от бесшабашной жизни афинской золотой молодежи и оставляет честолюбивые мечты о политической карьере. В 407 г. до н. э. двадцатилетний Платон встречает Сократа.

Платон и Сократ являлись полной противоположностью друг другу. Платон был молод, Сократ — стар; Платон — богат, Сократ — беден; Платон — аристократически сдержан и замкнут, Сократ — простонародно развязан и общителен; Платон — романтик и поэт, Сократ — прагматик и тяготел к прозе жизни; Платон внушал окружающим почтительное уважение, Сократ — бесцеремонную любовь. Но именно противоположность социального положения и характеров связала Платона и Сократа неведомой внутренней силой, которая соединяет воедино и два полюса одного магнита. Очень скоро отношения Платона и Сократа из формально уважительной привязанности ученика и учителя переросли в искреннюю любовь сына и отца.

Восемь лет, проведенные Платоном вместе с Сократом, пролетели как один день, и неудивительно, что о них мы почти ничего не знаем. Глядя на Сократа, Платон воочию убеждался в справедливости слов Гераклита о том, что «тайная гармония лучше явной». Тайная, внутренняя сила Сократа перевернула все вверх дном в голове Платона. Беседуя с Платоном, Сократ с отеческой гордостью видел в нем своего истинного духовного наследника, своего лебедя, которого в том вещем сне он выпускал в далекий полет. Незримые нити тайной гармонии накрепко соединяли учителя и ученика. Но скоро, до обидного скоро судьба разорвала их. Вновь в памяти Платона всплывали слова Гераклита: «Не будь Солнца, мы бы не знали, что такое ночь».

Солнце Сократа погасло, и на Платона опустилась гнетущая, непроглядная ночь. Тонкий, чувствительный романтик, Платон не мог перенести варварского, бессмысленного убийства великого мудреца. Выше его сил было находиться рядом с учителем в день казни. И выше его сил было оставаться в городе убийц после свершившейся трагедии. Но и сама восьмидесятилетняя жизнь Платона оказалась, как определил ее А. Ф. Лосев, долгой пятиактной трагедией. Со смертью Сократа закончился ее первый акт.

Осиротевшие ученики Сократа — сократики — тихо разбрелись по всей Ойкумене. Жить в Афинах для последователей казненного мудреца было не только невыносимо, но и небезопасно.

Евклид* обосновался в родной Мегаре, расположенной в 40 км к западу от Афин. Отсюда он даже во время войны Мегары с Афинами, переодевшись в женское платье, по ночам ходил в Афины пешком слушать Сократа. Евклида и его последователей стали называть *мега-риками*. Аристипп (? — после 366 до н. э.) поплыл в родную Кирену на побережье Северной Африки и основал там киренскую философскую школу. Аристиппа и его учеников прозвали *киренаиками*. Эсхин** подался на Сицилию к сиракузскому тирану Дионисию. Юный Федон, любимец Сократа, которого учитель помог выкупить из рабства, вернулся в родную Элиду, где открыл школу. Ксенофонта (ок. 430 — ок. 355 до н. э.) приняли в Спарте как почетного гостя. Спартанский царь Агесилай пожаловал ему имение, где тот занимался коневодством и написал знаменитые «Воспоминания о Сократе». Антисфен (ок. 455 — ок. 360 до н. э.) обосновался в окрестностях родных Афин в гимнасии Киносарг, отчего учеников Антисфена прозвали киниками. Философия кинизма быстро приобрела популярность, а *кинрики* разъехались по всей Элладе.

Покинул Афины и Платон. Вначале он перебрался недалеко, в Мегару. Здесь у Евклида собрались многие еще не оправившиеся от потрясения ученики Сократа. Совместные воспоминания об учителе укрепляют решимость сократиков продолжать дело служения Истине. Время залечивает их кровоточащую рану, недавняя катастрофа все чаще кажется лишь страшным сновидением. Скоро друзья разъедутся по всей Ойкумене, и каждый из них изберет свой путь к Истине. Жизнь продолжается.

Возможно, уже в Мегаре Платон делает первые наброски по составлению «Апологии Сократа» и других первых «сократических» диалогов. Сократ становится непременным участником платоновских диалогов, и чем дальше время отделяет ученика от учителя, тем больше устами Сократа начинает говорить Платон. Сама

* Евклида из Мегары (ок. 450 — после 369 до н. э.), основателя мегарской философской школы, не следует путать с Евклидом из Александрии (ок. 360 — ок. 300 до н. э.) — первым математиком александрийской школы, основоположником аксиоматического метода в геометрии, автором знаменитых «Начал» в 15 книгах — энциклопедии античной математики.

** Эсхин смолоду отличался прилежанием, никогда не покидал Сократа, и о нем мудрец говорил: «Только колбасников сын и умеет уважать меня!» Ходили упорные слухи, что после смерти Сократа Ксантиппа отдала Эсхину рукописи мужа и тот опубликовал их, выдав за свои. Когда Эсхин выступал в Мегарах с публичным чтением диалогов, Аристипп крикнул ему со смехом: «Откуда это у тебя, разбойник?»

форма диалога, состоящего из вопросов и ответов, явилась как бы продолжением бесед учителя и ученика. Сократовский диалектический метод — искусство ведения беседы, искусство спора, сократовская майевтика — рождение мысли — и сократовская эпагогия — наведение мысли в нужное русло — определили характер платоновских диалогов.

Но Платон не просто воспринял и перенес на папирус сократовские «диалогические» идеи. Платон превратил диалог в истинную философскую драму и истинную философскую элегию одновременно. Оставив поэзию ради философии, Платон остался поэтом в философских диалогах. Несколько строк из раннего диалога «Ион», который, возможно, был написан еще при жизни Сократа, убеждают нас в этом: «Говорят же нам поэты, что они летают, как пчелы, и приносят нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах Муз. И они говорят правду: поэт — это существо легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тогда, когда делается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у человека есть этот дар, он не способен творить и пророчествовать».

Платон-поэт на протяжении всех диалогов как бы соперничает с Платоном-философом. И хотя Платон-философ, возможно, и побеждает, стиль Платона, как и философия Платона, на все века остается непревзойденным эталоном ведения философского собеседования. Впрочем, о Платоне-стилисте лучше скажет блестящий стилист нашего времени швейцарец Андре Боннар, автор уникального по глубине и яркости трехтомника «Греческая цивилизация»: «Платон пользуется в одно и то же время всеми оттенками стиля с самой естественной непринужденностью. Он переходит от простого к возвышенному с акробатической ловкостью, вызывающей трепет. Двадцать, тридцать раз подряд ученик отвечает “да” на вопросы учителя. От этого вы заскрежетали бы зубами, если бы это было на другом, а не на греческом языке. Но эти двадцать и тридцать раз — другие “да”. Полные умолчаний. Иногда они значат почти как наше “несомненно”, а иной раз это “да”, столь близкое к “нет”, что вас пробирает дрожь. Но вот фраза становится длиннее и приходит в движение. Можно сказать, что она начинает танцевать. Встает ветер над пылью слов. Слова кружатся, поднимаются к небу со всевозрастающей скоростью, расширяя орбиту фразы. Куда несет нас волшебник-автор? Мы не знаем. По вертикали к зениту. Мы приблизились к небесному светилу, к Солнцу. Внезапно мы чувствуем, как попадаем в объятия разума и любви».

Вернемся к Платону. Пробыв в Мегаре около года, он вернулся в Афины, но ненадолго. Видимо, убедившись, что отношение к Сократу и сократикам в родном городе совсем не изменилось, он вновь отправляется в путешествия, теперь уже почти на десять лет. Где странствовал Платон, мы в точности не знаем. Предания называют все страны Ойкумены, являвшиеся в то время хранителями древней мудрости: Египет, Кирена, Вавилон, Персия, Финикия, Иудея, Великая Греция. Хотя легенда приписывает Платону — как начинающему греческому философу (вспомним Солона, Фалеса, Пифагора, Демокрита) — посещение вышеуказанных стран, совсем необязательно, что он бывал там в действительности. Почти наверняка Платон посетил сократика Аристиппа в Кирене, где познакомился с математиком Феодором. Скорее всего, был Платон и в Египте — тайны жреческой мудрости всегда манили древних греков. Менее вероятно пребывание Платона в Вавилоне, и уж почти невероятно его общение с персидскими «поклонниками огня» — зороастрийцами.

В любом случае доподлинно известно, что около 390 г. до н. э. Платон появляется в Великой Греции. Прежде всего он стремился в Тарент, к знаменитому пифагорейцу Архиту (ок. 428—365 до н. э.), который, как свидетельствует Диоген Лаэртский, «вызывал к себе удивление народа по причине своего совершенства во всех отношениях». Математик и механик, философ и музыкант, полководец и крупнейший теоретик музыки, Архит пользовался исключительным уважением в родном Таренте, где семь раз избирался стратегом.

Платон давно хотел познакомиться с пифагорейской философией, что называется, из первых рук. Его давно влекли пифагорейские идеи вечных, неизменных сущностей: числа как хранителя кода мировой гармонии, метемпсихоза — нескончаемого круговращения живой души. Истина, спрятанная в числе, и дух — вот подлинно бессмертные ипостаси, которые легли в основу вынашиваемой Платоном теории идей. Эти и многие другие идеи Платон наконец-то обрел у Архита. Знакомство Платона с Архитом переросло в крепкую дружбу, которая на всю жизнь связала двух великих мудрецов Эллады.

Несомненно, Платону нравилось в Архите то, чего не доставало ему самому, — виртуозное владение математикой, редкое умение сочетать научную и государственную деятельность. И то и другое так и осталось для Платона несбывшимся идеалом. Платон боготворил геометрию, но не Платон, а Архит решил знаменитую задачу

об удвоении куба*. Архит был политиком и ученым, а Платон так и не смог запрячь в одну узду этих двух строптивых коней. Метание между политикой и философией всю жизнь раздирало надвое душу Платона: как отпрыск царской фамилии, как родственник едва ли не половины выдающихся государственных деятелей Афин, он тяготел к государственной и политической деятельности; как ученик Сократа, он должен был презирать эту, по существу, фамильную деятельность и целиком отдать себя делу служения Истине.

Желание соединить политику и философию стало для Платона навязчивой идеей. Пример Архита окончательно укрепил его в мысли, что только истинные философы, занявшие государственные должности, либо государственные деятели, ставшие подлинными философами, могут избавить человечество от неисчислимых бед. Таким образом, надежды на социальное переустройство общества Платон неразрывно связал с внутренним преобразованием самого человека. Эта грандиозная идея, точнее страсть к ее воплощению, привела Платона на Сицилию. Однако ничего хорошего с ее осуществлением у Платона не вышло.

В 389 г. до н. э. Платон появляется в Сиракузах при дворе тирана Дионисия Старшего. Почему именно на Дионисии остановил он свой выбор? Наверное, случайно. Скорее всего, в Сиракузы его пригласил родственник Дионисия Дион — пылкий восемнадцатилетний юноша, полный надежд и иллюзий. Возможно, Диона поддержал мудрый политик Архит, который был крайне заинтересован в нейтрализации сильного сицилийского соседа. Жребий был брошен. Платон сел на корабль и вскоре высадился в Сиракузах.

* С задачей об удвоении куба, именуемой также делосской проблемой, связана красивая легенда. Однажды на острове Делос вспыхнула чума. Жители острова обратились за советом к Пифии, которая сказала, что нужно удвоить золотой жертвенник богу Аполлону, имеющий форму куба. Простодушные делосцы отлили еще один куб и водрузили его на первый. Однако чума не унималась. Они вновь обратились к Пифии, и та сказала, что задача не решена: новый жертвенник имел вдвое больший объем, но не имел формы куба. Не найдя нужного решения, жители Делоса обратились за помощью к Платону. Но Платон не знал, как решить задачу, и потому ограничился назиданием: «Боги недовольны вами за то, что вы мало занимаетесь геометрией». Решил делосскую проблему Архит. Сегодня любой школьник решит делосскую проблему. Она сводится к решению кубического уравнения $x^3 = 2a^2$, откуда $x = a\sqrt[3]{2}$. Это и есть сторона нового куба. Но во времена Архита не знали радикалов, хотя Архит нашел геометрическое решение задачи. Решение Архита поразительно. Это вершина человеческого и, возможно, божественного озарения! (См.: *Волошинов А. В.* Пифагор: союз истины, добра и красоты. М., 1993.)

Правитель Сиракуз Дионисий Старший был жесток, коварен, безудержен и тщеславен. Странствующий философ Платон, несмотря на свои 38 лет, являлся человеком наивным, одержимым идеей социального переустройства общества. Начало не предвещало ничего плохого. Дионисий, как и через 400 лет Нерон, мнил себя талантливым поэтом и трагиком, и ему льстило общество набравшего силу философа. Платону также импонировало общение с всемогущим тираном, на которого, казалось, усилиями философа вот-вот снизойдет возвышенная благодать.

Однако взаимный интерес очень скоро перерос во взаимную неприязнь. Дионисию надоели нескончаемые увещевания философа о высшем долге государственного мужа. Платон устал видеть ежедневное обжорство, переходящее в еженощные оргии. Начались ссоры, обмены колкостями, пока, наконец, раздраженный Дионисий не спросил, зачем, собственно, философ пожаловал в Сиракузы. «Я ищу совершенного человека», — твердо сказал Платон. «Но клянусь богами, ты его не нашел, это вполне ясно», — зло огрызнулся правитель. На этом философские беседы политика и мудреца закончились.

Зная вероломство тирана, юный Дион, виновник неудавшейся миссии, немедленно отправляет Платона в Афины на корабле спартанского посла Поллида. Но Поллид уже получил от Дионисия тайный приказ убить философа или продать его в рабство. «Философ должен быть счастлив и в неволе», — злорадно ухмыльнулся Дионисий, памятуя наставления Платона о всеобщем благе.

На подходе к Афинам корабль зашел на остров Эгина, где, согласно одному из преданий, родился Платон. Эгина в то время воевала с Афинами, следовательно, каждого афинянина, ступившего на остров, ожидало рабство. Круг замкнулся. Свершилось самое страшное, самое позорное для древнего эллина: в возрасте расцвета — акме, полного сил и творческих планов, на его же родине Платона вывели на невольничий рынок. Таков второй акт жизненной трагедии Платона.

По счастью, некто Анникерид, житель Эгины, видел чуть дальше своих земляков. Он немедленно выкупил Платона за 20 или 30 мин и тут же демонстративно отпустил его на свободу. Таким образом, Анникерид стяжал себе славу куда более громкую и долговечную, чем лавры олимпийского чемпиона в беге колесниц, за которыми он собирался ехать в Олимпию. Правда, существует и другая версия, по которой Платона выкупил из неволи его друг Архит.

Понятно, что, несмотря на счастливое освобождение, второй акт Платоновой трагедии оставил кровоточащий рубец на сердце

философа. С тех пор Платон навсегда погружается в глубокую меланхолию, его широкий лоб чаще всего нахмурен, а могучие плечи безвольно опущены вниз. «Грустен, как Платон» — стало расхожим сравнением в окружении философа. И в то же время трудно понять, как после пережитого, пусть даже скоротечного, позора рабства философ мог с безразличием рассуждать о достоинствах и недостатках рабовладения, как можно было бесстрастно давать в диалогах «практические рекомендации» типа: наказывать рабов «по справедливости и не изнеживать их, как свободных людей, увещеваниями».

Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. В 387 г. до н. э. сорокалетний Платон возвращается в Афины. Бирюзовая лазурь, как и двенадцать лет назад, была разлита над городом предков, и божественный Акрополь все так же сверкал в ее бездонной глубине. Отныне Афины на оставшиеся сорок лет должны стать приютом трудов и вдохновений для философа.

Говорят, что нет худа без добра. Друзья Платона по сократовскому кружку, прослышав о его приключениях, собрали денег, чтобы с благодарностью возратить их Анникериду. Благородный эгинец отказался, деньги вернулись к Платону, и он купил на них сад с домом на северо-западной окраине города неподалеку от главных Дипилонских ворот. По преданию, эту землю подарил древнему герою Академу легендарный царь Тесей. Афиняне любили гулять в оливковой роще среди статуй богов и муз столь живописного уголка, ставшего чем-то вроде городского парка, который они звали Академией. Таким образом, в 385 г. до н. э. в тени платанов и олив родилась знаменитая философская школа — платоновская Академия, просуществовавшая без малого 1000 лет, до 529 г. н. э., когда византийский император Юстиниан закрыл ее как рассадник «языческой лженауки».

Платоновская Академия. Символ мудрости, родник мысли, святилище Истины. Здесь, у журчащей речушки Кефиса, Платон обрел наконец спокойствие — то небольшое, что необходимо философу. Здесь в самую безоблачную и плодотворную пору жизни он создал лучшие произведения — диалоги «Пир», «Теэтет», «Федр», «Федон», «Государство», «Тимей», «Критий» и др. Отсюда, из этого «Дома муз» — «Мусейона», как называл его Платон, вышли сотни питомцев, украсивших венки мудрости Эллады, от Аристотеля в IV в. до н. э. и до Прокла в V в. н. э.

Первоначально Платон и его ученики довольствовались прогулками и беседами в роще Академа. Затем в старом здании бывшего гимнасия разместилась школа, а в доме Платона была обустроена экседра — зал заседаний. Здание школы украшала надпись:

«Негеометр — да не войдет», свидетельствовавшая о первостепенном значении, которое Платон придавал науке о мысленных, идеальных фигурах — геометрии. Рассказывают, что одному из начинающих философов, не знавшему геометрии, Платон сказал: «Уйди прочь! У тебя нет орудия для изучения философии...»

Уважение к геометрии — науке, открывающей философу неизблемые законы в изменчивом мире явлений, привил Платону его друг пифагореец Архит. Многие в платоновской Академии было устроено по образцу пифагорейских общин. Как и у пифагорейцев, занятия в Академии разделялись на две ступени: первая, более общая, — для широкого круга слушателей — и вторая — для узкого круга посвященных в тайны философии. Тот же пифагорейский строгий распорядок дня, начинавшийся гудением особого «будильника», сконструированного Платоном, тот же пифагорейский аскетизм и чистота нравов, то же пифагорейское воздержание от мяса, та же пифагорейская скромность совместной трапезы определяли быт и нравы Академии. В духе пифагорейских традиций, рассказывавших о мудрых женщинах-пифагорейках, учились в Академии и две женщины — Ласфения и Аксиофея. Последняя, правда, ходила в мужском наряде и скрывала свой пол.

Так, в ежедневных беседах с учениками, раздумьях и упражнениях духа прошло 20 лет — лучшая и самая плодотворная пора в жизни Платона. Казалось, ничто не могло изменить размеренного течения жизни философа в Академии. Однако судьба вновь разорвала череду академических дней и поставила философа на край гибели. Трагедию жизни Платона ожидали ее третий и четвертый акты.

В 367 г. до н. э. в Сиракузах умер Дионисий Старший, и власть перешла к его сыну Дионисию Младшему, который унаследовал от отца не только престол и имя, но и угрюмость характера, невежество и склонность к пьянству. С приходом нового тирана очнулся и неугомонный Дион, который только и ждал этого момента. Дион забрасывает Платона письмами, убеждая афинского мудреца в том, что наконец-то настало время воплотить в жизнь платоновские планы идеального государства, сделать из Дионисия «философа на троне». И шестидесятилетний мудрец, слава о котором гремела по всей Ойкумене, с мальчишеской легкостью поддается уговорам Диона.

В 366 г. до н. э. в порту Сиракуз появляется корабль с Платоном на борту, и Дионисий Младший присылает за мудрецом роскошную царскую колесницу. История повторялась. Вначале рвение Дионисия к философии и наукам было столь усердным, что все залы дворца были усыпаны тончайшим песком, на котором черти-

лись геометрические фигуры и доказывались теоремы. В конце же наблюдаем не менее жгучее неприятие «просвещенным» тираном и философии, и самого афинского философа.

Сумрачный Платон, искавший вечных и неизменных истин в заоблачных высях мира идей, пришелся явно не ко двору. Дионисию требовалось чего-нибудь попроще и в обращении, и в философии. Ему более импонировал весельчак Аристипп с его незатейливой философией земных радостей, который на вопрос Дионисия, зачем он пожаловал, ответил: «Чтобы поделиться тем, что у меня есть, и пожить тем, чего у меня нет». Развязное остроумие Аристиппа больше нравилось Дионисию, чем заумные построения Платона. Однажды, когда казначей Дионисия Сим хвастался Аристиппу роскошью своего дворца с великолепными мозаичными полами, Аристипп плюнул ему в лицо со словами: «Во всем дворце некуда более плюнуть». В другой раз, когда Дионисий потребовал от Аристиппа сказать что-нибудь философское, он ответил: «Смешно, что ты у меня учишься, как надо говорить, и сам меня поучаешь, когда надо говорить». И так далее.

Но в одном Аристипп оказался прозорливее своего товарища по сократовскому кружку Платона. Едва только Платон сошел с царской колесницы, Аристипп сказал окружающим: «Предрекаю вам, что в скором времени Платон и Дионисий станут врагами». Пророчество Аристиппа сбылось через месяц. Сначала Дионисий выслал из Сиракуз Диона, обвинив его в измене. Затем заключил в крепость Платона, якобы желая обезопасить философа от начавшихся волнений. По сути это был плен. Одновременно лицемерный тиран продолжал клясться в любви и преданности философу и философии. Только вспыхнувшая через несколько месяцев война помогла Платону вырваться из «дружеских» объятий Дионисия.

Но самое удивительное, что Платон и в третий раз, когда ему было уже под семьдесят, снова позволил Диону и Дионисию себя уговорить и еще раз отправился на Сицилию: слишком сильно было желание философа осуществить мечту об идеальном государстве и слишком доверчив был этот старый идеалист к людям. Настырный Дионисий, вновь возгоревший желанием украсить свой двор лучшим философом, прислал за Платоном триеру с учеником Архита Архедемом в качестве поручительства за безопасность философа. И Платон снова поднялся на корабль. Шел 361 г. до н. э. Платону было шестьдесят шесть.

Вновь царские милости щедрым дождем посыпались на философа. Вновь Аристипп получил повод для циничного остроумия:

«Право же, щедрость никогда не разорит Дионисия. Нам, которые просят много, он дает мало, а Платону, который ничего не берет, — много!» Но...

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.

Нехитрая грибоедовская сентенция справедлива во все времена. «Барская любовь» Дионисия вскоре сменилась «барским гневом».

Тиран выставил Платона из дворца и поселил вблизи казарм наемников. Это было равнозначно верной гибели: солдаты люто ненавидели философа, призывавшего тирана сменить отряды телохранителей на книги. И снова Платона спас Архит. Он прислал за старым другом тридцативесельный корабль и обратился к Дионисию с просьбой немедленно отпустить Платона. И здесь Дионисий остался верен себе. Он устроил пышные проводы Платона, которого вчера еще обрекал на погибель. На прощание Дионисий заискивающе спросил: «Что ж, Платон, ты, верно, много всяких ужасов нарасскажешь о нас своим друзьям-философам?» «Помилуй, — ответил Платон, — в Академии и так много тем для бесед, чтобы нам вспоминать о тебе». Больной и разбитый вернулся Платон в родную Академию. Тем для бесед по-прежнему оставалось много, но силы измученного философа оказались на исходе. Закончился предпоследний акт трагедии его жизни.

Подходила к концу и жизнь Платона, в которой, начиная со смерти Сократа, одно трагическое событие следовало за другим. Последние семь лет жизни Платон посвятил последнему произведению «Законы», в котором сосредоточились вся боль и разочарование от несбывшихся надежд философа. И потому нет в «Законах» былой легкости и блеска, отличавших прежние диалоги Платона. Нет в них и неперемного участника всех платоновских диалогов Сократа, следовательно, нет его доброй и хитровой усмешки, нет будоражающих мысль вопросов этого «афинского овода», нет расширяющего лбы столкновения противоречий. Мысль в «Законах» стоит, как Солнце в зените в день летнего солнцеворота, когда происходит действие диалога. Да и не диалог это, где мысль бьется, растет и развивается, обретая чеканный профиль, а монолог, в котором автор вещает голосом пророка. «Да внемлет всякий...» — начинается пятая книга «Законов». Так, застывая в непререкаемых фразах, заканчивалась бурная жизнь платоновской мысли.

Город-государство из Платоновых «Законов» походило скорее на город-казарму. Не существовало здесь более Сократовой идеи

права, существовала только жесткая рука твердой власти, под чьим неусыпным оком протекала жизнь «свободных» граждан. Не существовало светлого праздника жизни, была только долгая армейская служба да изнурительная работа во имя высших целей государства. Не существовало свободного искусства, была только подчиненная идеологии служба воспитания «единомыслия». Не существовала волшебная античная религия, осталось только скучное отправление культовых обязанностей.

«Когда читаешь “Законы”, — писал А. Мень, — начинает казаться, что страницы этой книги написаны маньяком, тяжелым душевнобольным, дошедшим на старости лет до полного маразма. Но, даже усматривая в “Законах” явные черты умственного и душевного расстройства, нельзя только этим объяснить дух книги. Еще работая над “Государством”, философ поддался искушению поставить во главу угла не человека, а строй, в “Законах” же он сознательно заключил сделку с Судьбой, всецело проникся презрением к личности, освятив насилие над человеческим духом».

Таким образом, в мрачном разочаровании в собственных идеалах, в болезненном отречении от собственного учителя заключался пятый акт трагедии жизни Платона. В 347 г. до н. э., в день своего восьмидесятилетия и одновременно в день рождения бога Аполлона Платона не стало. Осиротевшие ученики похоронили учителя под сенью платанов Академии.

И все-таки не стоит называть жизнь Платона только трагедией. Платон создал научную школу — Академию, просуществовавшую почти 1000 лет, Платон взрастил десятки учеников, от которых пошли сотни и тысячи его научных внуков и правнуков по всей Ойкумене, Платон создал великие произведения, которые пощадило время, они пережили тысячелетия и сверкающими бриллиантами легли в сокровищницу мировой культуры. Не высшее ли это счастье для мудреца?!

Смерть Платона, настигшая философа в день его юбилея на свадебном пиру, также свидетельствует о богоизбранности философа. Как давно замечено в народе, подобной смертью Господь одаривает только праведников.

Что же можно сказать в кратком очерке о философии Платона, о той гигантской, неподъемной глыбе, лежащей на поле мировой философии? Разумнее, видимо, ограничиться главным.

Платон — основоположник идеализма в философии. Сегодня это столь же расхожая истина, как Эйнштейн — создатель теории относительности, а Земля вращается вокруг Солнца. Но что есть

идеализм вообще и идеализм Платона в частности? В своей философской системе Платон пытается преодолеть старое *Парменидово противоречие* между непреходящими умопостигаемыми сущностями и текучими, чувственно воспринимаемыми явлениями или между Истиной и Мнением. Данное противоречие уже более ста лет будоражило умы античных мыслителей, и каждый из них предлагал собственное решение. Демокрит, как мы знаем, в качестве первоосновы бытия рассматривает материальные, телесные атомы. Атомы Демокрита неделимы, вечны, неизменны, сверхчувственны, поэтому и умопостигаемые сущности — первоосновы бытия — непреходящи. Но атомов у Демокрита много, они подвижны, их комбинации разнообразны, отсюда следует разнообразие и текучесть мира чувственных явлений.

По существу, то же самое делает и Платон, но не в мире материи, а в сфере духа. В качестве первоосновы бытия Платон рассматривает нематериальные, бестелесные атомы — идеи. Идеи Платона, как и атомы Демокрита, неделимы, вечны, неизменны, сверхчувственны, поэтому и мир духовных сущностей — идей — непреходящ. Но идей у Платона много, а их конкретные земные воплощения несовершенны и разнообразны, отчего мир чувственных явлений подвижен и разнообразен. Итак, Платон и Демокрит решают одну и ту же задачу — задачу Парменида — и решают ее одним и тем же методом. Разница между ними состоит в следующем: Демокрит находит атомы в мире материальном, а Платон — в мире духовном. Демокрит и Платон выходят из одной точки, обозначенной Парменидом, но уходят в противоположных направлениях: первый — в мир материи, второй — в мир духа.

Показательно, что и само слово «эйдос» (греч. εἶδος — вид, форма) в греческую философию ввел Демокрит, а не Платон. У Демокрита «эйдос» есть одно из обозначений атома, т. е. геометрическая форма, фигура, — ведь Демокрит различал атомы именно по геометрической форме. Платон заимствовал у Демокрита этот термин и стал называть «эйдосами» наряду с идеями (греч. ἰδέα — понятие, представление) свои бестелесные «атомы», т. е. устойчивые умопостигаемые формы-понятия духовного мира.

Однако одинаковыми словами Демокрит и Платон обозначают принципиально различные сущности. Демокритовские идеи-формы телесны, материальны и недоступны чувствам только из-за своей малости. Платоновские идеи-формы бестелесны, нематериальны и в принципе неуловимы для ощущений. «Атомизм» Демокрита

есть отыскание первооснов в мире материальном, тогда как «атомизм» Платона есть поиск первосущностей в мире духовном.

Платон первым осознал, что данное различие приводит к двум принципиально несводимым концепциям в философии, обозначаемым сегодня как материализм и идеализм. Это различие «двух линий» в философии Платон с присущей ему художественной образностью изобразил в диалоге «Софист».

«Чужеземец. Одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю, как бы обнимая руками дубы и скалы. Ухватившись за все подобное, они утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание, и признают тела и бытие за одно и то же, всех же тех, кто говорит, будто существует нечто бестелесное, они обливают презрением, более ничего не желая слышать.

Тезет. Ты назвал ужасных людей; ведь со многими из них случалось встречаться и мне.

Чужеземец. Поэтому-то те, кто с ними вступает в спор, предусмотрительно защищаются как бы сверху, откуда-то из невидимого, решительно настаивая на том, что истинное бытие — это некие умопостигаемые и бестелесные идеи; тела же, о которых говорят эти люди, и то, что они называют истиной, они, разлагая в своих рассуждениях на мелкие части, называют не бытием, а чем-то подвижным, становлением. Относительно этого между обеими сторонами, Тезет, всегда происходит сильнейшая борьба».

Удивительно, насколько прозорливо предвосхитил Платон затянувшуюся на тысячелетия «сильнейшую борьбу» своих последователей идеалистов с «ужасными людьми» материалистами.

Как представлял Платон мир бестелесных идей? Часто для объяснений главных положений он прибегал не к бесстрастному языку логики, а к образному, «мифологическому» языку. Платон, очевидно, понимал, что не все можно и нужно облекать в жесткие формы посылок и следствий, именуемых в логике силлогизмами, и потому в ответственные моменты рисовал некие аллегорические картины, открывающиеся его внутреннему зору. Таким образом возникали величественные философемы Платона — философские мифы, рассказанные философом-сказителем. Один из мифов, повествующих о мире «эйдосов» Платона, мы позволим себе привести почти полностью. Речь идет о знаменитом *Мифе о пещере*, с которого начинается VII книга «Государства». Рассказ от первого лица ведет платоновский Сократ, которому внимает его ученик Главкон.

« — После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию... Посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-ка — невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.

— Это я себе представляю.

— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.

— Станный ты рисуешь образ и странных узников!

— Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?

— Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?

— А предметы, которые проносят там, за стеной? Не то же ли самое происходит и с ними?

— То есть?

— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?

— Непременно так.

— Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени?

— Клянусь Зевсом, я этого не думаю.

— Такие узники целиком и полностью принимали бы за истинную тень проносимых мимо предметов.

— Это совершенно неизбежно.

— Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное.

Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать? Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?

— Конечно, он так подумает.

— А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?

— Да, это так.

— Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору, и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутится таким насилием? А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят?

— Да, так сразу он этого бы не смог.

— Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем — на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом — на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и его свет».

Итак, сумрачная пещера и нелепый «театр теней» на ней — это и есть, по Платону, видимый нами мир. Узники пещеры, скованные цепями, — люди, прикованные цепью к чувственным представлениям и принимающие «театр теней» за подлинную действительность. Трудно пещерным жителям освоиться с мыслью, что существует другой — светлый, красочный, радостный, совершенный мир, стоящий над чувственным восприятием и доступный лишь разуму человека. Только философ, сбросивший оковы ощущений, цепи мнения, способен вырваться из промозглого черно-серого мира пещерных теней и открыть для себя вышний мир чистой, как

небо, истины. Сверхзадачей Платона и является попытка приобщить простого смертного к этому вечному, чистому, совершенному, божественному миру истины или миру идей.

Но откуда возникла у Платона мысль о существовании *двух миров* — реального и идеального? Несовершенного реального и совершенного идеального? Понятно, что Платон не был бы Платоном, если бы ограничился только голой констатацией данного факта, пусть даже и в красочной, аллегорической картине. Напротив, всю жизнь Платон только и делал, что логически обосновывал нарисованную им картину двух миров, рассматривая ее со всех сторон, и строил новые и новые доказательства ее существования — настолько новые и настолько разные; что часто Платон опровергал самого Платона. Попробуем и мы вместе с Платоном совершить столь трудное и пьянящее восхождение в заоблачный мир вечных, как горы, идей.

Вот платан, обращается философ к ученикам, вот другой платан, вот третий; вот кипарис, вот олива, вот дуб. Как ориентироваться человеку в непрерывном, как течение Гераклитовой реки, потоке сообщений, которые приносят ему органы чувств, вечно бегущий мир мнения? Во всей Академии нет двух одинаковых платанов, но тем не менее эти раскидистые великаны человек безошибочно называет одним именем — платан. По всей Ойкумене шелесят зеленой листвою сотни столь разных живых существ, которые мы уверенно называем одним словом — дерево. А есть еще травы, бабочки, жуки, рыбы, птицы... Сколь непохожи друг на друга атлетическая поступь Парфенона и женская грация Эрехтейона, но оба афинских храма прячут в себе прямоугольники периптеров, треугольники фронтонов, окружности колонн. Что позволяет человеку ориентироваться в пестром многообразии вещей и явлений и находить связующие нити в многообразии внутренних сущностей?

Это идеи, отвечает Платон, доступные только умственному зрению эйдосы или виды реальных объектов и явлений. Глаз видит великое множество предметов внешнего мира, но не видит их внутреннего вида, их эйдоса. Эйдос способен разглядеть только разум. Глаз открывает человеку гигантское разнообразие объектов реального мира, разум раскладывает эти предметы «по полочкам», и каждую «полочку» определяет свой эйдос. Эйдос — это вечный образец, парадигма (греч. *παράδειγμα* — образец), организующая беспорядочную массу текущих явлений в упорядоченную в сознании человека структуру. Как для чувственного зрения существует мир реальных объектов, так и для умственного зрения, рассуждает Пла-

тон, должны существовать свои объекты, созерцаемые разумом. Данные объекты Платон называет идеями или эйдосами.

Если реальное дерево рождается, растет и умирает, т. е. постоянно изменяется, если реальную рыбу можно разрезать на куски, то идея дерева или идея рыбы вечна, неизменна и неделима. Она одна для всех деревьев и одна для всех рыб. В противном случае она не могла бы служить разуму единственным и неизменным ориентиром, который позволяет отличать реальные деревья от реальных рыб, а также объединять реальные деревья, с одной стороны, и реальных рыб — с другой. «Идея не рождается и не умирает, — говорит Платон, — не воспринимает в себя что-либо другое, не переходит сама во что-нибудь другое». Более того, идея прекрасна, ибо она не подвластна времени, которое разрушает, старит, обезображивает все живое и даже неживое на Земле. Мир идей пребывает вне времени, он погружен в вечность, вечно молод и вечно прекрасен.

Если реальный цветок можно увидеть, понюхать, потрогать рукой и т. д., то идея цветка недоступна органам чувств. Идея доступна лишь разуму. Но если идея неделима и сверхчувственна, следовательно, она либо бестелесна, либо подобна Демокритову атому, ибо из всех телесных предметов только атом неделим и сверхчувственен. Платон так и не сделал выбор в пользу телесной атомарности или бестелесности идеи. Как объективный идеалист, он верил в объективно существующий вне человека и независимо от человека вечный и неизменный, следовательно, и бестелесный мир идеальных образов. Но как истинный грек, привыкший видеть и осязать, как человек античной культуры, для которого и космос являлся только здоровым и хорошо тренированным телом, Платон не мог представить себе идею — этот обобщающий «вид», канонизированный «образец» той или иной части космоса — иначе как телесно и материально. «Идеальный мир у Платона, — пишет А. Ф. Лосев, — населен как бы теми же неподвижными скульптурными изваяниями, теми же статуями, какие в изобилии творило земное греческое искусство периода классики».

Итак, обосновав необходимость существования внутреннего вида вещи — его идеи, — Платон переходит к описанию или, скорее, конструированию таинственного бестелесно-телесного мира идей. Здесь философ в особенности бессистемен и полон противоречий, хотя чаще всего он склонен видеть мир идей как некую «за-небесную область», которую «занимает бесцветная, бесформенная, неосязаемая сущность», точнее, сущности, именуемые *эйдосами*. Число эйдосов в мире идей велико, но не бесконечно. В принципе

эйдосов столько, сколько существует их земных прообразов. Однако здесь также возникают трудности, поскольку мир идей Платона — не просто царство сущностей, а царство совершенных сущностей. Но тогда встает вопрос: существует ли эйдос грязи, эйдос подлого поступка или эйдос преступления? Данные вопросы смущали даже неувязимого платоновского Сократа.

Несмотря на встречающиеся на каждом шагу трудности, Платон продолжает строить «занебесный» мир идей, который можно уподобить пирамиде, на вершине которой возвышается идея Блага или Добра. Благо — это Солнце мира идей. «Его надо ставить выше всего, выше всех идей», — утверждает Платон. Истина, Красота, Справедливость — высокие или «благовидные» идеи, стоящие рядом, в непосредственной видимости от идеи Блага. Тем не менее располагаются они ниже идеи Блага и излучают его отраженный свет. Еще ниже располагаются идеи природных явлений и процессов — идеи движения, покоя, звука, света, цвета и т. д.; затем идут идеи живых существ, еще ниже — идеи предметов, производимых человеком, и т. д.

Далее Платон пытается разрешить еще более сложную проблему взаимоотношения двух миров — реального и идеального. Как бестелесные неподвижные и неизменные идеи приводят в движение телесный и изменчивый мир? Если вещи — это тени идей, как образуются эти тени? Чтобы соединить два мира, разорванных им самим, — мир материи и мир идей, — Платон вводит третье начало — душу космоса, или мировую душу. Душа космоса — источник движения, жизни, одушевленности. Это творческая сила, объемлющая и связующая два Платоновых мира. Она заставляет вещи подражать идеям, она приближает идеи к вещам. Мировая душа наполняет космос движением и энергией, благодаря ей космос и выглядит как «единое видимое живое существо».

Но кто создал два мира, связуемые мировой душой? С данного вопроса начинается новый клубок проблем, который пытается распутать Платон. И снова двусмысленности и недосказанности сопровождают философа. У него даже два бога — бог-футургос (бог-творец) и бог-демиург (бог-ремесленник). Бог-футургос творит идеи; бог-демиург создает материю, имея идеи как заданные парадигмы. Бог-демиург ближе и понятнее Платону, и о нем он говорит более подробно.

Откуда взялась праматерия, из которой по «идеальному» плану творит бог-демиург? Праматерия вечна. Бог-демиург только привел ее в гармонический порядок, превратил Хаос в Космос. «Бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении, он привел их из беспорядка в порядок», — говорит мудрец в диалоге «Федон».

Итак, процесс мирозидания есть процесс превращения перво-родного Хаоса в прекрасный и гармоничный Космос. Направляет этот процесс божественный Логос. *Логос творит Космос из Хаоса.* Такова главная идея платоновской космогонии.

Но как человек ведет себя на пересечении двух миров? Отражением реального и идеального миров в человеке являются его тело и душа. Тело и душа противостоят в человеке, как материя и идея. Тело смертно — душа бессмертна, тело изменчиво — душа неизменна, тело делимо — душа неделима. Тело — это гробница для души, и здесь язычник Платон резко разоидется с будущим христианством, которое будет считать тело храмом Святого Духа. На данной почве произойдет немало стычек у первых христиан с последними язычниками: от неприятия язычниками проповедей апостола Павла о Воскресении — зачем душе вновь возвращаться в темницу? — до многих ересей первых христиан, чей чистый «платонический»^{*} дух оскорбляла христианская идея о Богочеловеке.

Мир идей — родная стихия для души. Как тело блаженствует, погружаясь в теплые морские волны, так и душа, наслаждаясь, плывет в прозрачном потоке эйдосов. Оставаясь ненадолго в земной темнице тела, душа *припоминает* о своей прошлой жизни в за-небесных сферах, о том, что она некогда видела, «когда она сопутствовала Богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия», нашептывает человеку сокровенные тайны мира идей. Таким образом Платон объясняет божественные озарения, счастливые мгновения приоткрытия Истины, которые очень хорошо известны каждому творцу.

И совсем неудивительно, что как проповедник занебесного мира духа Платон с презрением относится к миру тела. Именно здесь, в лоне философии Платона, зарождался христианский *аскетизм* — презрение к телу, ограничение и подавление чувственных влечений. Что может быть большей обузой для заоблачных полетов души, как не брэнное тело? Например, в платоновском диалоге «Федон» Сократ говорит о теле следующее: «Тело не только доставляет нам тысячи хлопот — ведь ему необходимо пропитание! — но вдобавок подвержено недугам, любой из которых мешает нам улавливать бытие. Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массой всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было по-

^{*} Эпитет «платонический» происходит от имени Платона и обозначает принадлежность Платонову миру идей, т. е. чистую духовность, никак не связанную с чувственностью, например платоническую любовь.

размыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы по-рабски служим».

Но где же пребывает душа? Почему она не защищает тело от низменных поползновений? И здесь Платону есть что ответить. Дело в том, что в душе человека два начала: одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать и «припоминать», — разумное, другое, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вожделениями, — неразумное. Судьба человека, смысл его бытия зависят от того, какое начало в его душе окажется сильнее. И в диалоге «Федр» Платон в красочном мифе объясняет, почему и как это происходит.

Бог поместил души людей и богов на звездах. Сколько душ, столько на небе и звезд. Души возят по небу колесницы, запряженные двумя крылатыми конями. У богов оба коня хороши, а у людей — только один, а другой плох и зол. Возничие, т. е. души, скитаясь по небу, хотят увидеть занебесную область, где находится желанный мир идей, который питает души и богов, и людей. Но созерцать мир идей удастся только богам, у которых оба коня хорошие. Душам людей мешает злой конь. Он тащит колесницу вниз, в мир чувственного бытия. Оттого души людей, не напитавшись воздушными идеями, тяжелеют, их кони устают, они сталкиваются друг с другом, ломают крылья и падают в телесный чувственный мир. Так души попадают в тело. Чья душа оказывается тяжелее, тот тяжелее и характером. Но как душа живет в теле? Что происходит с душой после смерти тела? Можно ли избежать «круга рождений» души в теле?

Чем выше Платон поднимается в заоблачный мир идей, тем больше вопросов обрушивается на него. Как снежные лавины сметаю́т все на своем пути, так и лавины проблем, рожденных миром идей, пытаются сбить с пути мудреца. Но Платон уверенно идет навстречу вышнему идеальному миру, а поднявшись достаточно высоко, начинает строить собственную философскую систему: учение о бытии — онтологию, учение о Боге — теологию, учение о целях — телеологию, учение о мироздании — космологию, учение о мироздании — космогонию, учение о человеке — антропологию, учение о душе — психологию, учение о переселении душ — метемпсихоз, учение о познании — гносеологию, учение об обществе — социологию, учение о нравственности — этику, учение о прекрасном — эстетику и т. д. У нас нет, к сожалению, возможности хотя бы прикоснуться к столь огромному миру Платоновой мысли.

В чем же универсальность философии Платона? В чем величие философской системы Платона, которая больше ставит вопросов, нежели дает ответов? На последний вопрос можно было бы ответить кратко: в том и величие, что подлинно философская система вечна, следовательно, она постоянно рождает вопросы, в которых и заключен ее эликсир жизни. Но мы попытаемся ответить более полно. Впрочем, еще в те недавние времена, когда идеализм Платона считался «архивредной поповщиной», полный ответ с блеском сформулировал А. Ф. Лосев.

«Учение о двух мирах еще может быть снято учением о материи как о принципе самодвижения, не нуждающемся ни в каких других надматериальных принципах и двигателях. Но учение об идее как о принципе осмысления вещей, как об их общей целостности, являющейся законом их отдельных проявлений, — это осталось в науке навсегда, и от этого всемирно-исторического платонизма никакая философия не может и не должна отказаться. Всеобщую закономерность вещей, конечно, можно не называть идеей или совокупностью идей, но от самой этой всеобщей закономерности вещей наука отказаться не может. Законы природы и общества тоже можно не называть идеями природы и общества, но от самих этих законов отказаться невозможно; и законы природы и общества, которые формулируются количественно, хотя они и относятся к природе и обществу, сами по себе не есть природа и общество. Все тела падают. Но закон падения тел никуда не падает и вообще не является никаким телом, которое можно было бы понюхать или потрогать руками. Здесь платонизм неопровержим. Таким образом, со времен Платона резко изменилось само содержание нашей науки и нашей философии. Но логическая и методологическая структура науки и философии, открытая Платоном, останется в культурном человечестве навсегда».

Итак, идея вещи — это *смысл* вещи, закон поведения вещи, неделимое общее, определяющее все единичное в каждой вещи. Идея вещи — это *предел* единичных проявлений каждой вещи, предел, в котором растворяется все бесконечно большое число бесконечно малых отличий каждой единичной вещи, стремящейся к этому пределу. Идея вещи — это *интеграл*, суммирующий все бесконечно большое разнообразие бесконечно малых становлений вещи.

Математические термины не случайно запестрели у нас при оценке глобального значения Платоновой теории идей. Платон и сам к концу жизни все больше склонялся к пифагорейской мысли о том, что его эйдосы есть математические структуры. Но тогда по-

знание мира означает познание растворенных в нем и управляющих им математических структур. Именно по данному пути и пошло научное знание о природе. Без идеализированных понятий стала бы невозможна логика Аристотеля, последующая математизация, т. е. бóльшая формализация и идеализация, которая привела к развитию математической логики. Без идеализированных математических понятий невозможны были бы блестящие физико-математические открытия Архимеда. Без математической идеализации невозможно современное естествознание, начавшееся с гениальных идеализаций Ньютона и Лейбница — понятий производной и интеграла. И сегодня, в наш век стремительной математизации и широчайшего применения компьютеров, когда стало возможным физический эксперимент заменить экспериментом вычислительным и буквально «увидеть» на дисплее компьютера то или иное физическое явление, мысли Платона об идеальных (читай — математических) структурах и их воплощении в реальном мире обретают второе рождение.

К сожалению, сам Платон менее всего осознавал истинную, непреходящую ценность именно этого научно-методологического, «математического» среза его теории идей. Платона более волновали мировоззренческие следствия его теории, мифологические сюжеты, которые она порождала. Подобные сюжеты роились в его голове, и Платон-философ никак не мог обуздать Платона-поэта. Платон-философ никак не мог навести логический порядок в хаосе мифологем, рожденных необузданной фантазией Платона-поэта. Увы, таков почти неизбежный удел каждого великого человека, опережающего время: великие с легкостью проходят мимо подлинных жемчужин, найденных ими, и с детской неразумностью тянутся к поддельным блескам. Через 2000 лет после Платона другой «ученый-поэт» Иоганн Кеплер не осознал истинной ценности открытых им законов небесной механики и всю жизнь посвятил спасению собственной юношеской модели Вселенной, построенной с помощью пяти Платоновых тел^{*}, от неумолимого натиска противоречащих ей новых результатов собственных астрономических наблюдений и расчетов.

^{*} Платон считал, что атомы четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня — и атомы мирового эфира имеют форму пяти правильных многогранников, названных впоследствии телами Платона. Кеплер вписал орбиты планет в Платоновы тела и тем самым якобы связал макромир и микрокосм. Подробнее о микрокосме Платона и макрокосме Кеплера см: *Волошинов А. В.* Математика и искусство. М., 2000.

Несомненно, Платон видел недостатки своей теории идей. Но, как и Кеплер, он отдал жизнь на спасение любимой ему теории от самого себя. Как и для Кеплера, это была самая тяжелая и мучительная ноша его жизни. Неудивительно, что в одном из последних диалогов «Парменид» философ подверг собственную теорию идей столь разрушительной критике, что многие исследователи творчества Платона склонны считать данный диалог неподлинным и даже приписывают его научному оппоненту Платона Аристотелю. Скорее всего, данное мнение неверно. Платон, подобно любящей матери, лучше других знал недостатки своего дитяти. Но, подобно любящей матери, он еще крепче любил свое детище со всеми его недостатками. Излишне говорить, что научные оппоненты Платона не были к нему столь милосердны.

«Платон мне друг, но истина дороже», — сказал любимый ученик Платона Аристотель и приступил к безжалостной реконструкции Платоновой теории идей. Аристотель спустил идеи Платона с небесных высей на землю и соединил идеи с вещами. Чистый мир платоновской истины смешался с брэнной землей. Поэтому на знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» Платон указывает перстом на небо, а Аристотель простер правую руку к земле.



АРИСТОТЕЛЬ

(384 — 322 до н. э.)

Все люди от природы стремятся к знанию.

«Платон мне друг, но истина дороже», — сказал любимый ученик Платона Аристотель и приступил к безжалостной реконструкции Платоновой теории идей. Аристотель спустил идеи Платона с небесных высей на землю и соединил идеи с вещами. Чистый мир платоновской истины смешался с бренной землей. Поэтому на знаменитой фреске Рафаэля «Афинская школа» Платон указывает перстом на небо, а Аристотель простер правую руку к земле.

Если Платон — величайший ум в истории философии, то Аристотель — величайший труженик. Древние каталоги трудов Аристотеля насчитывают несколько сот книг*. Один только список «корпуса Аристотеля» — собрания трудов философа, — приводимый у Диогена Лаэртского, занимает несколько страниц. Диоген в «корпусе Аристотеля» бережно насчитал 445 270 строк. Учитывая, что число символов в одной строке на свитке папируса и в современной книге примерно одинаково, а одна страница обычной книги содержит 44 строки, получаем 20 пятисотстраничных томов «корпуса Аристотеля». Увы, многие из трудов философа погибли:

* Книга в эпоху античности представляла собой отдельный свиток папируса, где рассматривался более или менее законченный вопрос. Книга являлась наиболее распространенной единицей письменного сочинения и, скорее, соответствует современной главе. Так, каждая из 14 книг «Метафизики» Аристотеля составляет в среднем 20—25 современных страниц.

ранние диалоги, коллективные работы, написанные под руководством Аристотеля; со многими утратами дошли до нас и поздние трактаты философа. Это может показаться невероятным, но в конце XIX в., через 2200 лет после смерти автора, в песках Египта был найден папирусный свиток считавшейся утерянной «Афинской политии» Аристотеля! Собрание сочинений Аристотеля на русском языке составляет 4 тома. И это только пятая часть из того, что было создано величайшим из философов.

За тысячелетнюю историю античности нельзя назвать мыслителя большего энциклопедического размаха, чем Аристотель. И хотя ссылки на Маркса — Энгельса сегодня неактуальны, в отношении Аристотеля они остаются удачными и справедливыми: первый назвал Аристотеля «Александром Македонским греческой философии»; второй — «самой универсальной головой».

Аристотель родился в 384 г. до н. э. в небольшом провинциальном городке Стагире*, расположенном на полуострове Халкидике на самом севере Эллады. Халкидика представляла собой некую обособленную область античной Эллады — уже не Греция, но еще и не Македония. Пограничное положение родины Аристотеля определило и двойственное мироощущение философа: по происхождению и менталитету Аристотель был чистым греком и тяготел к столичным Афинам, местные же корни связывали мудреца с соседней Македонией, которой вскоре суждено было сыграть заметную роль в истории Эллады и в судьбе Аристотеля. Уже древние поняли, что Аристотель станет единственной гордостью провинциальной Стагиры, поэтому в античной литературе за философом закрепляется прозвище Стагирит. По причине прямо противоположной Сократа или Платона не называли Афинянами.

Отец Аристотеля Никомах был известным потомственным врачом, его род возводили к богу врачевания Акклепию, который, в свою очередь, являлся сыном Аполлона. Как утверждали предания, Акклепий имел столь выдающийся талант врача, что богу Зевсу пришлось убить его молнией из опасения, как бы Акклепий не сделал всех людей бессмертными. Следует заметить, что два с лишним тысячелетия тому назад предания воспринимались в качестве самой настоящей «хроники текущих событий». Поэтому великий мудрец ни на йоту не сомневался в собственном божественном происхождении и, несмотря на занятость философией и науками,

* По-гречески название полиса употребляемо как в мужском и женском роде единственного числа, так и во множественном числе. Так что по-русски одинаково правильно говорить и Стагир, и Стагира, и Стагиры.

старался не уронить семейного искусства врачевания и приготовления всяческих снадобий. Последним искусством философ владел настолько, что слухи об изготовлении Аристотелем яда для своего ученика Александра Македонского не рассеялись и по сей день.

Поскольку Никомах имел блестящие медицинские таланты и славу, царь соседней Македонии Аминта III пригласил его к себе. В столицу Македонии город Пеллу Никомах прибыл вместе с женой Фестидой, сыновьями Аристотелем и Аримнестом и дочерью Аримнестой. Однако придворная жизнь семьи Никомаха оказалась недолгой. Около 376 г. до н. э. он умер, и вдова с малыми сиротами возвратилась в родную Стагиру. Тем не менее, когда через 33 года сын Аминты III Филипп II приглашал Аристотеля стать воспитателем наследника македонского престола Александра, он приглашал не только прославленного философа, но и своего сверстника и товарища по мальчишеским играм.

В 367 г. до н. э. семнадцатилетний Аристотель появляется в Афинах. Обстоятельства приезда юноши в далекую столицу остаются не вполне ясными. Греческий писатель III в. н. э. Элиан в сборнике исторических новелл и биографических анекдотов «Пестрые рассказы» рассказывает: «В юности Аристотель промотал отцовское наследство и волей-неволей сделался воином. Но ему пришлось бесславно распрощаться с этой жизнью и стать торговцем лекарственными снадобьями. Незаметно пробравшись в Перипат* и слушая там философские беседы, он благодаря исключительной даровитости усвоил начала знаний, которыми обладал впоследствии».

* Перипатами (от греч. *περι-πατέω* — прогуливаться, *περι-πατος* — прогулка, место для прогулок) в Афинах называли места для прогулок, городские сады, имевшие крытые галереи, где можно было укрыться от зноя или дождя. В перипатах обычно располагались и гимнасии (греч. *γυμνασιον* — гимнасий) — площадки для гимнастических упражнений, которые древние греки совершали в обнаженном виде, откуда и происходит название (греч. *γυμνός* — голый, обнаженный). Впоследствии гимнасии превратились в места для всякого рода обучения, т. е. в школы. Перипаты облюбовали философы для преподавания и дискуссий. Аристотель с учениками, любившие прогуливаться по перипату и вести на ходу философские беседы, получили прозвище «перипатетиков». Со временем это название закрепилось за философской школой Аристотеля — перипатетическая школа. Перипатами, т. е. городскими садами с гимнасиями, первоначально являлась платоновская Академия, аристотелевский Ликей, антисфеновский Киносарг. Элиан под Перипатом подразумевает платоновскую Академию.

Диоген Лаэртский дополняет слишком лестное описание юности Стагирита в Афинах не слишком лестным его портретом: «Аристотель, самый преданный из учеников Платона, был шепеляв в разговоре... ноги имел худые, а глаза маленькие, но был приметен одеждою, перстнями и прической». Хотя мнения античных биографов по поводу беспутной молодости Стагирита и его неприглядной внешности расходятся, в одном они абсолютно солидарны — Аристотель являлся самым талантливым учеником Платона.

Итак, в самую благоприятную пору жизни Аристотель попадает в благодатную атмосферу торжества духа. Платону в то время было шестьдесят — мудрец находился на вершине философской славы. Его Академии исполнилось двадцать — молодое, здоровое дитя набирало силу под неусыпным оком любящего родителя. На двадцать лет — лучшую треть жизни, отпущенной богами юному Стагириту, — стены Платоновой Академии станут для него родным домом.

Потребовалось не очень много времени, чтобы за юным Стагиритом утвердилась слава самого способного ученика Академии. Талант Аристотеля заявлял о себе столь бурно, что Платон, сравнивая своего любимого ученика Ксенократа с появившимся Стагиритом, в сердцах сказал: «Какого осла мне приходится вскармливать, и против какого коня!» В другой раз Платону пришлось уже жаловаться: «Аристотель меня брыкает, как сосунок-жеребенок свою мать!» Но «жеребенок» оказался не только прытким, но и сноровистым, поэтому достаточно скоро глава Академии стал поручать будущему учителю Александра Македонского чтение лекций и занятия с учениками.

Однако затем наметились и разногласия между Платоном и Аристотелем. Многие античные свидетельства ограничиваются указанием чисто внешних причин неприязни между двумя великими философами. Так, тот же Элиан пишет: «Считают, что поводом к вражде Платона и Аристотеля послужило следующее: Платон не одобрял свойственной Аристотелю манеры держать себя и одеваться. Ведь Аристотель слишком много значения придавал одежде и обуви, стриг, в отличие от Платона, волосы и любил покрасоваться своими многочисленными кольцами. В лице его было что-то надменное, а многословие, в свою очередь, изобличало суетность нрава. Не приходится говорить, что эти качества не свойственны истинному философу».

Дальше — больше. Рассказывали, что однажды Аристотель просто выгнал Платона из «своего» уголка сада Академии, где при-

вык прогуливаться вместе с учениками. Старику Платону пришлось не выходить за ограду своего дома до тех пор, пока верные главе Академии Ксенократ и Спесипп не призвали Стагирита к порядку. Скорее всего, так оно и произошло. Недаром даже скрупулезный в оценках А. Ф. Лосев отмечает, что «кое-что сомнительное в поведении Аристотеля все-таки было. Говорят же злые языки, что он купался в теплом масле, а потом его продавал».

Тем не менее главная причина расхождения между Платоном и Аристотелем была более глубокой, чем строптивый характер Стагирита. Уже в стенах платоновской Академии Аристотелю стало тесно оставаться в рамках чистого платонизма. Сына потомственного врача, знатока трав и снадобий, Аристотеля влекла природа, ее неисчерпаемое разнообразие и ускользающая от взора нить, связующая это многообразие в единое целое. Слишком остро ощущал Стагирит красоту и мудрость окружающего мира, и слишком далек был от этого мира занебесный мир платоновских идей. Слишком рано Аристотель понял, что истину следует искать не в заоблачных высях, а на земле.

Именно данное обстоятельство стало той незримой трещиной, что расколола пространство между Платоном и Аристотелем. Шло время, и края этой трещины, как края расколовшейся льдины, все более расходились в разные стороны. Аристотель прямо указал в «Никомаховой этике»: «Учение об идеях было выставлено близкими мне людьми. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам; и хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». Позднее эти слова Аристотеля прошли огранку латынью: «*Amicus Plato, sed magis amica veritas*» — «Платон мне друг, но истина дороже». А популярными они стали благодаря «Дон Кихоту» Сервантеса.

Несмотря на мелкие раздоры, неизбежные при столь длительном и тесном общении, несмотря на расхождения в узловых философских позициях, существует единственное и неоспоримое доказательство глубочайшего уважения Аристотеля к Платону. До самой смерти Платона в течение двадцати лет Аристотель оставался в стенах Академии. И только проведив в последний путь ближайшего человека и единственного учителя, Аристотель решает покинуть Академию и отправиться на поиски собственного пути к Истине. Настал 347 г. до н. э. Восьмидесятилетний Платон на свадебном пиру обручился с вечностью, а сорокалетний Аристотель вступил в

возраст акме, возраст творческого расцвета и самостоятельных решений.

Тем временем на севере Эллады, над затерявшейся за Пиндскими горами полудикой Македонией, где еще бродили стада зубров, вставала звезда нового властелина Ойкумены — македонского царя Филиппа II. Создав почти из ничего сильный флот, собрав несокрушимую конницу, построив пехоту в смертоносную македонскую фалангу, Филипп покорял область за областью. Напрасно афинский оратор Демосфен призывал греков к единению в страстных «филиппиках»: «Мы равнодушно смотрим, как усиливается этот человек!.. Он ничего общего не имеет с греками, он варвар — жалкий македонянин, уроженец той страны, где прежде и раба порядочного нельзя было купить... и вот мы все еще медлим, проявляем малодушие и смотрим на соседей, полные недоверия друг к другу». Филипп, не теряя времени, где силой, где подкупом, где угрозой, а где обманом, захватывал город за городом. Дорога к отчужденному дому для Аристотеля оказалась закрытой — родные Стагиры лежали в развалинах, и обратил их в развалины бывший товарищ Аристотеля по детским забавам. Для Аристотеля настали годы странствий, начало которых предвещало много хорошего.

Вместе с Ксенократом Аристотель нашел приют у давнего приятеля по Академии Гермия. Гермий был тираном местечка Ассос, расположенного на противоположном от Стагир малоазийском побережье Эгейского моря, в 50 км южнее легендарной Трои. В советниках у Гермия числились еще два «академика» — Эраст и Кориск. Поэтому в Ассосе под покровительством платоника Гермия и под руководством Аристотеля возникло нечто вроде филиала платоновской Академии — предтеча будущей аристотелевской школы.

Но счастье совместного творчества единомышленников оказалось недолгим. Через три года персы обвинили Гермия в сговоре с Филиппом и распяли на кресте. Другьям Гермия, тем более Аристотелю, женатому на приемной дочери Гермия, пришлось срочно искать нового пристанища. Аристотель перебрался на соседствующий с Ассосом остров Лесбос к Теофрасту, также товарищу по Академии. Здесь-то через два года и нашло его письмо македонского царя Филиппа. «У меня родился сын, — писал Филипп, — но я менее благодарен богам за то, что они мне его дали, чем за то, что они позволили ему родиться в твоё время. Ибо я надеюсь, что твоя забота и твои поучения сделают его достойным будущего государст-

ва». Круг замкнулся. Оставшийся без собственного угла, Аристотель принял приглашение Филиппа и в 343 г. до н. э. вновь появился в знакомом по смутным детским воспоминаниям дворце македонских царей.

Сыну Филиппа Александру было тогда тринадцать — ангел с лицом Афродиты и неистовством Ахилла. Недаром в день его рождения в Эфесе сгорел храм Артемиды — одно из семи чудес света, — и эфесские маги, раздирая лица, бегали по городу и предвещали великое бедствие для всей Ойкумены. От матери Олимпиады, красавицы вакханки, посвященной в орфические* таинства, мальчик унаследовал безудержную необузданность, а от отца Филиппа — безумное честолюбие. Не так-то просто было Аристотелю обуздать отрока с темпераментом зрелого мужа, ревностно следящего за военными успехами отца и одержимого только одной мыслью: «Если он (отец) все завоюет, что же останется мне?»

Но Аристотель, наученный горьким опытом Платона, не стремился сделать из царя философа. Мудрый Стагирит подправил формулу Платона: царь не должен научиться философии, но царь должен научиться слушать философа. И в этом странствующий философ весьма преуспел. Александр привязался к Аристотелю и до конца дней внимал его советам. «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, — говорил впоследствии владыка мира, — так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю — тем, что дает ей цену». Аристотель на всю жизнь полюбил Александра и до последнего не оставлял всемогущего монарха отеческими советами. «Раздражение и гнев должны обращаться не против низших, а против высших, — увещевал учитель ученика. — Равных же тебе нет». И Александр принимал эти увещевания. Часто он обращался к написанной для него Аристотелем книге о мудрости царствования и необходимости добродетели властелину. В минуты отдохновения грозный властелин, поставивший на колени весь мир, говорил: «Сегодня я не царствовал — ведь я никому не сделал добра».

Разумеется, не следует думать, что Аристотель сделал из Александра кроткого ягненка. Да он и не стремился к этому. Природное упрямство, вспыльчивость и безрассудная смелость навсегда остались в характере македонского наследника. Но главное, что удалось сделать Аристотелю, — привить Александру любовь и уваже-

* Орфика — течение, отколовшееся, вероятно, в VI в. до н. э. от фракийских дионисийских мистерий (в античности тайные культы некоторых божеств), провозгласившее Орфея (мифический греческий певец) учредителем обрядов.

ние к греческой культуре. Недаром Александр никогда не расставался со списком «Илиады» Гомера, специально для него переписанной и исправленной Аристотелем, и после покорения персов возил «Илиаду» в драгоценной шкатулке царя Дария. Поэтому и свою историческую миссию македонский царь связывал с объединением соседних греков, поэтому с царя провинциальной Македонии начинается новая эпоха в истории всей Эллады, именуемая *эллинизмом*.

Но философские беседы Аристотеля и Александра оказались недолгими. Через три года наследнику исполнилось шестнадцать, и он становится соправителем отца. Военные походы и государственные дела полностью захватывают юношу. Теперь его чаще можно видеть с мечом в седле, нежели на учебной скамье с восковой дощечкой. В благодарность за воспитание сына Филипп восстановил разоренные им же Стагиры, и Аристотель спустя почти тридцать лет странствий вернулся в родные края. Но жизнь в тихой провинции, вдали от философских школ и в стороне от политических баталий, стала для Аристотеля невозможной. Пробыв на родине три года, отдохнув от странствий и накопив творческой энергии, в 335 г. до н. э. пятидесятилетним мужем Стагирит возвращается в Афины.

Тем временем в жизни Афин, да и всей Эллады, произошли судьбоносные перемены. В 338 г. до н. э. в битве при Херонее, что в соседней с Аттикой Беотии, т. е. рядом с Афинами, Филипп разбил наскоро сколоченное коалиционное войско греков. В битве отличился восемнадцатилетний Александр, первым обративший греков в бегство. После Херонеи был заключен позорный для греков мир, по которому Филипп объявлялся властелином всей Эллады.

Через год Филипп пал, сраженный кинжалом заговорщика. Афиняне ликовали, наивно полагая, что со смертью Филиппа они обретают свободу. «Мальчишку» Александра никто и не думал принимать всерьез. Демосфен, забыв о трауре по дочери, облачился в белые одежды и воздал жертву богам. В ответ «мальчишка» осадил Фивы, и насмерть перепуганные греки безоговорочно капитулировали. Так в двадцать лет Александр стал властелином Эллады, положив начало своего фантастического пути. Впрочем, началось и новое время в истории Эллады: эпоха классической Греции как архипелага независимых полисов закончилась — рождалась эпоха эллинизма.

Поэтому в Афины Аристотель вернулся не просто прославленным философом, но и воспитателем владыки Эллады. Тем не менее демократические традиции в Афинах оказались настолько сильны, что чужеземец Аристотель мог приобрести участок только за городской стеной. Но философ и сам избегал аристократических кварталов. К востоку от Афин, неподалеку от Диохаровых ворот, через которые шла дорога на Марафон, Стагирит приглядел рощу с гимнасием и перипатом. В тени олив были источники с прекрасной питьевой водой, в ветвях платанов щебетали птицы, а со взгорка открывался изумительный вид на гору Ликабет — лучшего места для занятий философией трудно было и вообразить. Роща примыкала к храму Аполлона Ликейского, и потому это место издавна называлось Ликеем.

Так, в противовес платоновской Академии, расположенной у западных Дипилонских ворот, у восточных Диохаровых ворот города возникает вторая великая философская школа Эллады — аристотелевский Ликей. Академия и Ликей навсегда вошли в цивилизованный мир как символы ученой мудрости и просвещения. И по сей день во всех странах мира *академией* называют союз научных учреждений и обществ, а ликеем, или в латинизированной транскрипции *лицеем*, — учебное заведение часто привилегированного типа или с углубленной специализированной программой. Вспомним Пушкина:

Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует лицей!

Существующее сегодня различие между академией и лицеем фактически сформировалось еще во времена Аристотеля. Если платоновские «академики» тяготели к отвлеченному философствованию об абстрактном мире идей, то аристотелевские «лицеисты» обратились к конкретному изучению реального мира природы и просветительству. Если для Платона окружающий мир являлся только мрачной пещерой, скучным «театром теней» от заоблачного мира идей, для Аристотеля мир был полон жизни и очарования, света и тепла, удивления и радости открытия, которой он щедро одаривал «лицеистов». Если в Академии царицей наук являлась идеальная математика, то в Ликее — реальная Природа.

Человек в общем-то желчный и хладнокровный, Аристотель с александровской страстью и безудержностью набрасывается на изучение Природы. Сам властелин мира поддерживает эти изыскания: Александр дарует Аристотелю значительную сумму денег на зоологические исследования, выделяет для Ликейя охотников, пти-

целовов, рыбаков, собирателей трав, обеспечивающих экспериментальную базу исследований, Александр лично присылает в Ликей из дальних походов редкие экземпляры животных. Ни один из многообразных ликов Природы не должен был пройти мимо ее неутомимых ликейских исследователей. «Не следует ребячески пренебрегать исследованиями незначительных животных, — наставляет “лицеистов” Аристотель, — ибо в каждом произведении найдется нечто достойное удивления».

Работоспособность Аристотеля оказалась сверхъестественной, его энциклопедичность и универсализм не превзошел, пожалуй, даже Леонардо да Винчи. Он классифицирует флору и фауну, изучает внутренности жертвенных животных, препарирует морских ежей и осьминогов, следит за полетом птиц, за развитием цыпленка в яйце. В биологии Аристотель сделал столько, сколько не делают еще за 2000 лет после него. За два с лишним тысячелетия начались первые шаги человечества (в лице Аристотеля) к «Системе природы» Карла Линнея и «Происхождению видов» Чарльза Дарвина.

Мы перечислили только малую толику изысканий Аристотеля. В так называемом «корпусе Аристотеля», который по энциклопедичности и бессистемности может сравниться только с «собранием без порядка» многочисленных «кодексов Леонардо», только по прошествии двух тысячелетий был наведен должный порядок. Сегодня аристотелевские трактаты принято разделять по восьми направлениям: 1) логика — «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Топика», «Категории» и др., объединенные позже общим названием «Органон»; 2) философия — «Метафизика» и др.; 3) физика — «Физика», «О небе», «Метеоритика» и др.; 4) биология — «История животных», «О движении животных» и др.; 5) психология — «О душе» и др.; 6) этика — «Никомахова этика», «Евдемова этика» и др.; 7) политика и экономика — «Политика», «Экономика» и др.; 8) эстетика и искусствознание — «Поэтика», «Риторика» и др.

Разумеется, эта титаническая работа была невозможна без помощи единомышленников, которых требовалось подготовить и научить, поэтому просветительской работе в Ликее уделялось огромное внимание. Утром Аристотель читал лекции для узкого круга по самым абстрактным вопросам философии, после полудня круг слушателей расширялся и темы конкретизировались и упрощались, вечерние часы отводились для наименее подготовленных слушателей. Помимо лекций и учебных занятий в Ликее проводились совместные обеды для учителей и учеников, где философские беседы

протекали в свободной, непринужденной форме. Педантичный Аристотель написал даже специальные «Пиршественные законы», способствовавшие извлечению просветительской пользы даже из такого банального мероприятия.

Так, в творческом упоении стремительно пролетал последний, шестой, десяток лет жизни Аристотеля. И одновременно с ним еще более стремительно разменивал последний, третий, десяток его ученик Александр. Если бы не многочисленные свидетельства, подтверждающие едва ли не каждый шаг македонского властелина, его сказочное жизнеописание давно бы нарекли легендой, подобно подвигам Геракла или приключениям Одиссея. Но жизнь Александра — реальность, превосходящая самую буйную фантазию.

Весной 334 г. до н. э. Александр, посетив развалины Трои и гробницу своего кумира Ахилла, выступает в поход против персидского царя Дария III. Это была авантюра, граничащая с безумием, — столь неравны были силы противников. Под градом персидских стрел конный Александр первым переплывает пограничную реку Граник. Он зажигает отчаянной храбростью солдат и совершает чудо — войско Дария бежит. Казалось, будто дух самого Ахилла вселился в Александра, хранил его от вражеских стрел, копий и мечей и питал энергией.

Подобно смерчу проносится Александр по Малой Азии: греческие малоазийские колонии с радостью открывают ему ворота, новая победа над Дарием при Иссе приносит ему сказочную добычу, Финикия, Палестина, Египет сдаются без особого сопротивления. Египетские жрецы официально объявляют Александра сыном бога Амона и фараоном Египта. В дельте Нила у острова Фарос по его собственноручным проектам закладывается новый город — Александрия — центр будущей великой культуры.

Слова жрецов, произнесенные ими скорее в рамках дипломатического этикета, возбудили болезненное воображение Александра. Испытывая многие лишения, он пробирается через ливийские пески в затерянный в пустыне древнейший храм Амона — египетские Дельфы. Никто не знал, что сказали ему жрецы в раскаленных ливийских песках. Но скоро стало ясно, что македонский царь уверовал в собственное божественное происхождение. Александр уже видел себя не просто властелином мира, но *человекобогом*, на которого возложена тяжкая миссия объединения народов мира; ему стала понятной тайна неотвратимости его сказочных побед.

Отныне не погоня за наживой, а божественная миссия мирового объединения зовет Александра в новые походы. 1 октября

331 г. до н. э. близ Гавгамел Александр наносит Дарию III третье и последнее поражение. Дарий снова бежит, но на сей раз поверженного царя убивает один из его сатрапов. Резиденции персидских царей — Вавилон, Сузы, Персеполь и Экбатана открывают ворота перед Александром. Сказочные восточные богатства волшебным дождем сыплются на владыку мира, и от блеска чистого золота разум его мутнеет.

Страсть и необузданность вакханки Олимпиады просыпаются в Александре, он бросается в водоворот пьяных оргий, он заводит огромный гарем с толпою евнухов, он надевает диадему царя Дария и требует к себе неземных почестей. Он отдаёт на разграбление солдатам сказочно богатый Персеполь, а великолепный царский дворец собственноручно поджигает во время пьяного пира победы. Позже в Самарканде он в пьяной драке пронзает копьем друга Клита, спасшего Александра при Гранике в самом начале его пути. Следом за Клитом он впутывает в дело о заговоре официального историографа Каллисфена, племянника Аристотеля, жестоко пытает и казнит его без малейших доказательств вины. Впрочем, истинная «вина» Каллисфена была всем хорошо известна: Каллистен отказался кланяться до земли Александру, что было принято у персов, но было диким для греков.

Аристотель, тщетно внушавший ученику чувство меры — один из основных постулатов античной эстетики, — в безмерном разрастании империи Александра видел только пустую затею, источник бесконечных войн против несчетных народов. Кроме того, Аристотель признавал только греческую культуру и потому неоднократно призывал Александра «повелевать эллинами как полководец, а варварами как деспот». Александр, в свою очередь, был одержим идеей единения Востока и Запада. Он то женится на бактрийке Роксане; то устраивает в Сузах пышный «брак Востока и Запада» — бракосочетание восьмидесяти гвардейцев на дочерях знатных персов. Классик Аристотель и эллинист Александр хотя и жили в одно время, но принадлежали разным эпохам, и потому разрыв между ними был неизбежен. Казнь Каллисфена, племянника Аристотеля, обратила этот разрыв во вражду.

Идея мировой империи влекла Александра все дальше и дальше: Иранское нагорье, Каспийское море, Парфия, Ария, Дрангиана, Бактрия, Согдиана, Амударья и Сырдарья, Памир и Гиндукуш и, наконец, Индия. Только ропот измученных бесконечными походами солдат смог остановить неугомонного властелина мира. Впервые Александр, покоривший армии и народы, горы и пусты-

ни, реки и моря, вынужден был отступить. В 326 г. до н. э. он повернул войска из сказочной Индии, а через три года истерзанная невиданными болезнями армия Александра, выслав своими труппами пустыни Белуджистана, вернулась в «родной» Вавилон. Только каждый четвертый воин смог достичь стен новой «столицы мира».

Весной 323 г. до н. э. Александр, правитель обширнейших земель, принял в Вавилоне греческих послов. Со словами «предоставим Александру именоваться богом, если ему так хочется» беспринципные греки воздали владыке мира божеские почести. Правда, одновременно они привезли Александру письмо от матери, в котором Олимпиада весьма иронично высказывалась о божественном происхождении собственного сына. Вскоре, в самый разгар приготовлений к новым походам в Аравию, Александр занемог. Рассказывали, будто он осушил кубок Геракла и внезапно ощутил острую боль в спине, как от удара копьем. Зловещая болезнь сковала монарха. Через несколько дней, 13 июня 323 г., в возрасте тридцати трех лет, в расцвете сил и в зените славы Александр умер.

Смерть властелина мира повергла всех в оцепенение. Человекобог, «сын Зевса-Амона» оказался смертным. Однако растерянность приближенных оказалась недолгой. В жестокой схватке за раздел мировой империи умершего забыли даже похоронить.

Великая смута, объявлявшая необъятную империю Александра, достигла и берегов Эллады. Странников македонского царя ожидала опала, его противников — возвышение. Изгнанник Демосфен, лютей враг Филиппа и Александра, с почестями вернулся в Афины. Воспитателю Александра Аристотелю, естественно, пришлось отправиться в противоположном направлении.

Проще всего было предъявить Аристотелю традиционное обвинение в неуважении к богам. Поводом послужили давнишние стихи Аристотеля в честь казненного персами Гермия. Верховный жрец Элевсинских таинств Евримедон классифицировал эти стихи как пеан — гимн, с коим можно обращаться только к богу Аполлону, но не к простому смертному. Состав «преступления» оказался налицо.

Не дожидаясь суда, решение которого было уже predetermined, Аристотель передал управление Ликеем другу Теофрасту, простился с друзьями и учениками и со словами «я не хочу, чтобы афиняне еще раз совершили преступление против философии» покинул город. Но преступление против философии фактически уже свершилось. Еще один философ объявлялся неугодным богам и изгонялся из Афин. Анаксагор, Протагор, Сократ, Аристотель, Аристарх Самосский...

Аристотель перебрался на соседствующий с Аттикой остров Эвбею, в полис Халкиду. А через два месяца, в 322 г. до н. э., в возрасте шестидесяти двух лет Аристотель умер.

Только один год разделяет смерть учителя и ученика — Аристотеля и Александра. Обе смерти оказались слишком внезапными и слишком загадочными, чтобы остаться без пересудов. Но окутавший их туман тайны не развеяли и два последующих тысячелетия. Мать Александра Олимпиада не сомневалась в том, что ее сына отравили. Спустя пять лет после его кончины она казнила многих подозреваемых, а останки некоего Иона, который к тому времени умер, приказала выбросить из могилы. Ходили упорные слухи, что яд для Александра был приготовлен по рецепту самого Аристотеля. Говорили, будто ядом послужила ледяная вода, стекавшая по капле из расселины скалы, затерянной где-то в горах Аркадии. Жидкость якобы собирали в ослиное копыто, так как она настолько едкая, что разрушает любой другой сосуд.

Но мог ли Аристотель организовать столь зловещую процедуру? В таком деликатном вопросе лучше уступить слово первому знатоку античности А. Ф. Лосеву. «Признаться, мы находимся здесь в весьма затруднительном положении, — пишет Лосев. — Совершенно не верить таким серьезным писателям, как Плиний Старший, Арриан или Дион Кассий, мы никак не можем. С другой стороны, чудовищность самого факта отравления Александра Аристотелем невольно заставляет нас насторожиться и подвергнуть сомнению подлинность такого рода сообщений. Тут же напрашивается мысль и о том, что Аристотель был, кроме всего прочего, также врач и ботаник; и кому же, как не ему, приписывать подобного рода рецепты? От всех этих размышлений остается весьма неприятное и смутное ощущение какой-то недоговоренности, когда невозможно сказать ни просто “да”, ни просто “нет”. Какая-то чудовищная история, несомненно, здесь скрыта. Но какая? Великих людей, в которых совмещались гений и злодейство, историки знают — увы! — слишком много».

А что можно сказать о смерти самого Аристотеля? Конечно, философу шел уже седьмой десяток, он всю жизнь страдал от язвы желудка, разрыв с Александром после казни последним Каллисфена, племянника великого философа, и трения с антимакедонской партией тяготили душу Аристотеля, угроза постыдного процесса, оскорбительного и для обвиняемого, и для обвинителей, наконец, потеря любимого детища, Ликея, — все это не сулило Аристотелю безмятежной старости, а каждое в отдельности могло стать причиной смерти. Но в том-то и дело, что подобных обстоятельств ско-

пилось слишком много, и вместе они могли подтолкнуть Стагири-та к последнему шагу в жизни. И здесь мы не можем сбрасывать со счетов еще одного, возможно, самого тяжелого обстоятельства: если Аристотель был хоть как-то замешан в отравлении Александра, ему надлежало уйти из жизни тем же способом. Поэтому циркулировавшие в древности слухи о том, что Аристотель отравил себя аконитом, не лишены оснований. Аконит при соответствующей обработке обладает целебными свойствами, и знаток трав Аристотель, конечно, пользовался им как болеутоляющим средством. Однако в чистом виде аконит является сильнейшим ядом, вызывающим паралич сердца и дыхательных путей. И это знал не только Аристотель, но и каждый грек, ибо, согласно греческим мифам, еще богиня чародейства Геката научила колхидскую колдунью Медею варить яд из аконита. «В кончине Аристотеля, — считает А. Ф. Лосев, — несомненно, было нечто загадочное. И пил ли он аконит как болеутоляющее желудочное средство (а Аристотель болел желудком) или, принимая аконит в большой дозе, он прекращал свои счета с жизнью, с которой он не мог рассчитаться другими средствами, печать тайны навсегда будет скрывать от нас подлинную причину смерти Аристотеля».

Но сегодня, по прошествии двух с лишним тысячелетий, важно другое: смерть Аристотеля и Александра отмеряет начало новой эпохи в истории античного мира — эпохи эллинизма, эпохи, в которой сплавятся воедино культуры Запада и Востока. Если Аристотель завершил трехвековой этап в развитии греческой философии периода классики, то Александр открыл новую страницу в ее дальнейшей судьбе, вывел мудрость Эллады на широкий простор цивилизованного античного мира. Правда, данная заслуга Александра имела и оборотную сторону: выплеснувшись в необъятный мир империи Александра, греческая философия растеклась по нему множеством мелких ручейков и не смогла найти в себе силы обрести полноводность и глубину, коей обладала в тесном пространстве Эллады.

Однако исход греческой культуры из замкнутых полисов Эллады, слияние культур Запада и Востока оказали самое благотворное влияние на историю мировой культуры. Эпоха эллинизма, пришедшая на смену греческой классике, открыла новую страницу в истории человечества. В пространстве эллинизм, как феномен культуры, охватил весь цивилизованный мир античности, просуществовав вплоть до V в. н. э. и закончившись в VI в. н. э. вместе с гибелью Римской империи и казнью «последнего римлянина» Боэция.

Таким образом началась новая жизнь учителя и ученика, Аристотеля и Александра, вечная жизнь в новой культуре античного мира — эллинистической культуре. «Хотя культура эта, — писал А. Мень, — будет нести на себе печать обезличивающей городской цивилизации, несправедливо было бы умалять ее творческую роль. От Нила до Дуная, от столпов Геракла до Индийского океана растекутся зародившиеся в Греции потоки, увлекая в свои воды тысячелетние традиции. Эллинизм сплетет их, вызывая к жизни новые облики культур. Он проникнет в Египет — и на свет явится фаюмская живопись; он едва коснется Индии — и возникнет искусство Гандхары; он расцветет на карфагенских берегах, достигнет Скифии, будет питать Рим.

Эллинистический мир захватит религиозный порыв такой силы, какой никогда не знала история. Совершится как бы вселенский смотр верований, которые пройдут перед людьми, покинув свои национальные гробницы. Боги Ирана, Малой Азии и Египта появятся в Европе, буддийские проповедники достигнут Афин; Рим будет чтить Исиду, Митру, Кибелу. Эпоха эллинизма станет временем напряженных поисков и чаяний. И именно ее открытость к новым учениям подготовит почву, в которую будут брошены семена сеятелей Слова».

Но Аристотелева жизнь после смерти не ограничивалась эпохой эллинизма. «Аристотелизм» составил основу мировоззрения средневековых арабских мыслителей, он неразрывно связан с европейской средневековой схоластикой и томизмом, когда Аристотеля называли «учитель Афин, вождь, глава, слава Вселенной», он явился философским фундаментом католической теологии. В эпоху Возрождения «корпус Аристотеля» главенствовал среди научных изданий. В течение двух тысячелетий авторитет Аристотеля оставался незыблемым вплоть до эпохи научных революций XVII в., когда начался обратный процесс и когда, по словам Б. Рассела, «каждый серьезный шаг в интеллектуальном прогрессе должен был начинаться с нападок на какую-либо аристотелевскую доктрину». Но и в XIX в. великий Гегель не скупился на похвалы Аристотелю: «Он был одним из богатейших и глубокомысленнейших из когда-либо явившихся на арене истории научных гениев, человек, равного которому не произвела ни одна эпоха».

Разумеется, несмотря на огромные научные заслуги Аристотеля, он никогда не оказал бы столь значительного влияния на умы последующих поколений, не будь его научные открытия обобщены в грандиозной философской системе. Только универсальному гению, способному составить из пестрого хаоса эмпирических фактов

величественную мозаику картины мира, суждена слава пророка. Ибо философы, по существу, и есть пророки, только библейские пророки открывают человечеству волю Господню, а философы распознают Его замыслы.

Только философия, по мнению Аристотеля, способна объединить многообразные явления и законы природы в единую систему, имеющую единое Высшее Начало. Поэтому он различает две философии: «вторая философия» — это фактически физика, биология и вообще естественные науки, доставляющие естествоиспытателю знания о внешнем мире; но есть еще высшая, «первая философия» — учение о сверхприродных силах, определяющих законы природы, т. е. «второй философии». Первую философию Аристотель считает наукой «наиболее божественной», наукой о «божественных предметах» и потому называет ее *теологией* (греч. θεολογία, от θεός — бог и λόγος — слово, учение), т. е. учением о боге, богословием. По иронии судьбы первая философия получила название метафизики, т. е. оказалась не перед физикой, а за физикой. Однако со временем слово «метафизика» приобрело особый смысл, как учение о «заприродных» («за физикой»), сверхчувственных принципах бытия, недоступных физике.

«Первая философия» изложена Аристотелем в «Метафизике» — основном философском произведении, озаглавленном спустя два века после смерти автора Андроником Родосским. Сочинение Аристотеля начинается с критического обзора трехвековой истории античной философии, поэтому Аристотеля можно назвать первым историком философии. Однако исторический экскурс носит у Стагирита вспомогательный характер и сводится к изложению собственной позиции в вопросе о первоначалах и высших причинах.

Надо заметить, что идейное наследие предшественников Аристотель оценивает весьма невысоко, сравнивая «первых философов» с необученными новобранцами: «ведь и те, оборачиваясь во все стороны, наносят иногда прекрасные удары, но не со знанием дела; и точно так же указанные философы не производят впечатления людей, знающих, что они говорят». Вот перед нами Фалес и другие натурфилософы, видящие «начало» в материи, но не видящие «начал», формирующих и движущих эту материю; вот пифагорейцы, объявившие идеальное число сущностью всех вещей; вот Анаксагор, выдвинувший мировой Разум в качестве причины «благоустройства мира и всего мирового порядка», за что был прозван Аристотелем «единственным трезвым среди зря болтавших». Вот, наконец, и Платон — главный объект критики Аристотеля. И здесь

тон повествования Аристотеля со снисходительного меняется на непримиримый.

Однако в главном Аристотель остается платоником. Как и Платон, он признает, что любая вещь обладает совокупностью присущих ей существенных свойств, которые суть не что иное, как идея или эйдос вещи. Любая вещь тленна, она подвержена действию времени, она постоянно изменяется. Идея вещи вечна и неизменна, она неподвластна времени — свойство, благодаря которому вещь и становится познаваемой. Идея вещи не есть еще сама вещь, но есть только смысл, отражение, закон вещи. Яблоко можно съесть. Идеей яблока можно насытить лишь воображение. Яблоко падает на землю, разбивается и гниет. Но закон падения яблока, как и закон его гниения, не падает и не гниет — законы или идеи вечны и неизменны. В этих основных постулатах Платон и Аристотель едины.

Но, признавая Платоновы идеи, Аристотель решительно выступает против Платонова «мира идей». Платон, как истинный поэт, оторвал идеи от вещей, собрал их в особый мир, где они стали жить собственной «платонической» жизнью. Будучи ученым, Аристотель не прощал учителю, когда тот говорил «пустые слова и поэтические метафоры». Аристотель категорически возражал против платоновского отрыва идеи вещи от самой вещи, против платоновского обожествления мира идей. Как ученый, как «отец логики», Аристотель выдвинул ряд логических аргументов против Платонова разделения идеи и вещи.

Наиболее сильным из Аристотелевых аргументов является аргумент «третьего человека», который кратко можно сформулировать так: связь идеи и вещи требует посредника — «третьего человека». Действительно, между «идеальным» и «конкретным» человеком можно поставить «третьего человека», например, «грека». Между «конкретным» человеком и «греком» можно поставить другого «третьего человека», например, «бородатого мужчину» и т. д. С «третьим человеком» можно пойти и в противоположном направлении: если человек тем больше человек, чем более он походит на идеального человека, то должен существовать «третий человек» — еще более идеальный, на которого должны походить и обыкновенный, и идеальный человек и т. д.

Какой выход из создавшегося затруднения предлагает Аристотель? Суть *аристотелизма* заключается в том, что Аристотель не разъединяет идею вещи и саму вещь, а считает их неразрывно связанными. Аристотель переселяет Платоновы идеи из занебесного мира на землю и помещает идеи вещей в самих вещах. В данном

случае необходимость в посреднике — «третьем человеке» — между идеей и вещью отпадает. Поскольку идея вещи есть сущность вещи, то данная сущность, считает Аристотель, должна пребывать в самой вещи. Таким образом, в постулате *о нахождении вещи внутри самой же вещи* заключается основное и принципиальное отличие аристотелизма от платонизма. Еще раз заметим, что в принципе данный постулат несколько не противоречит платонизму, а только является его модификацией.

Но если идея вещи растворена в самой вещи, то что является ее «началом» или «причиной», как говорит Аристотель? Аристотель называет *четыре первоначала*, или *четыре высшие причины*. В «Метафизике» сказано следующим образом: «А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия [то, что остается в вещи по отвлечении ее от материи, т. е. фактически идея вещи]... другой причиной мы считаем материю, или субстрат; третьей — то, откуда начало движения; четвертой — причину, противолежащую последней, а именно “то, ради чего” [существует вещь], или благо [ибо благо есть цель всякого возникновения и движения]». Итак, Аристотель указывает четыре первоначала всякой вещи: *форма* — формальная причина, отвечающая на вопрос «что это?», или, если дословно переводить Аристотеля, «чтойность» вещи, или, если говорить по существу, идея, или эйдос, вещи; *материя* — материальная причина, отвечающая на вопрос «из чего это?», или субстрат вещи; *движение* — движущая причина, отвечающая на вопрос «откуда это?», иначе источник движения или происхождения вещи; *цель* — целевая причина, отвечающая на вопрос «ради чего это?», или целесообразность вещи. *Форма — материя — движение — цель* — вот четыре столпа, на которых держится Аристотелева метафизика. По мнению Аристотеля, предшествующие ему философы «смутно» предвосхищали одно или даже несколько из этих первоначал, но никто не рассматривал их в совокупности.

Как же функционируют выявленные Аристотелем первоначала? Сам Аристотель приводит пример с обычным глиняным горшком, с которого начался знаменитый спор о природе прекрасного между Сократом и Гиппием, закончившийся крылатыми словами Сократа: «Кажется мне, я узнал, что значит пословица “Прекрасное — трудно”». Прежде всего гончар должен знать идею горшка или его форму, «закон», по которому горшок делается и который составляет тайну мастера. Не зная формы — идеи — эйдоса горшка, нельзя сделать и сам горшок. Но одной идеи, как известно, мало. Идея может реали-

зоваться только в материи: чтобы вылепить горшок, необходимо иметь глину, желательнее иметь и гончарный круг — тогда горшок будет «идеально» круглым, хорошо бы украсить горшок глазурью.

Но и этого мало. Чтобы сделать горшок, необходим гончар, который размочит и разомнет глину, приведет круг в движение, обожжет и украсит горшок. Таким образом, помимо идеи и материи необходимо движение, позволяющее форму реализовать в материю. И наконец, работу гончара должна воодушевлять цель. Цель гончара определяет дальнейшую судьбу его детища: либо получится базарная халтура, которую скоро разобьют и выбросят, либо — произведение искусства, которое, подобно Дипилонской амфоре, бережно соберут по кусочкам и будут сохранять в музее. Процесс взаимодействия *формы — материи — движения — цели* универсален, он применим и к человеку, и к природе. Природа сама изобретает формы и воплощает их в материи, находит собственные источники движения и ставит собственные цели. Отличие двух процессов формообразования или идеевоплощения — природного и рукотворного — Аристотель поясняет любимым примером: природа похожа на человека, который лечит себя самостоятельно; человек созидаящий подобен врачу, который лечит других.

Говоря о форме Аристотеля, мы не случайно постоянно напоминали об идее, или эйдосе. Дело в том, что в современном языке латинское слово «форма» ассоциируется с наружным видом, внешними очертаниями предмета, тогда как у Аристотеля «морфе» (греч. μορφή — форма) обозначало прежде всего внутреннюю структуру, сущность предмета, его идею, эйдос, закон внутреннего и, как следствие, внешнего устройства и функционирования. Поэтому платоновская «идея» и аристотелевская «форма» суть одно и то же. Противопоставлять их неверно, о чем неоднократно предупреждал А. Ф. Лосев: «Когда философию Платона обозначают как учение об “идеях”, а философию Аристотеля как учение о “формах”, то этим вносится в науку весьма большая путаница, поскольку и платоновские термины “идея” и “эйдос” можно переводить как “форма”, и аристотелевскую “форму” можно переводить как “идея”. Связывать “идеи” только с Платоном, а “формы” только с Аристотелем — это попытка во что бы то ни стало установить пропасть между Платоном и Аристотелем».

И все-таки существуют ли среди четырех Аристотелевых «начал» главные? Есть, считает Аристотель, — форма и материя, причем главенствует среди них форма. Материя не может быть первична, ибо она пассивна, она есть только материал для формы. Остается принять первичность формы, т. е. провозгласить форму началом и сущ-

ностью бытия. Аристотель со всею решительностью говорит об этом в «Метафизике»: «Формою я называю суть бытия каждой вещи и первую сущность». Таким образом, желая преодолеть идеализм Платона, Аристотель приходит лишь к иной его разновидности: первична вечная и неизменная форма, т. е. смысл, вид, наконец, идея или эйдос вещи. Метаморфозу (в данном контексте это слово приобретает буквальный смысл, ибо «за формой» Аристотеля оказывается платоновская идея) философии Аристотеля точно охарактеризовал Б. Рассел: «Метафизику Аристотеля, грубо говоря, можно описать как разбавленные здравым смыслом взгляды Платона».

Форма не возникает и не исчезает, она, как и идея, вечна. Возникновение реальных форм, которые можно увидеть или потрогать руками, не есть акт рождения формы, но есть только реализация формы в той или иной материи. «Я хочу сказать, — поясняет Аристотель, — что делать медь круглой — это не значит делать “круглое” или шар как форму, но — делать нечто другое, именно реализовывать эту форму в другом». Это «другое» и есть материя, которая является только материалом для формы, но не является причиной возникновения новой вещи.

Но вечна и материя, она также не возникает и не исчезает, а только переходит из одного состояния в другое под действием формы. Форма движет рукою скульптора, когда он высекает из глыбы мрамора статую; но форма так и осталась бы навязчивым фантомом в голове скульптора, не будь у него под руками глыбы мрамора, т. е. материи. Итак, акт созидания в природе и искусстве необходимо связать с двумя взаимопроникающими началами — *материей* и *формой*. Материя и форма теснейшим образом переплетены друг с другом, часто переходя одна в другую. Например, материей для платья служит ткань. Но сама ткань есть форма для сложного переплетения нитей, которые для ткани есть материя. Нити же есть форма кручения льняных волокон, волокна — форма обработки стеблей льна, стебли — форма строения живых клеток и т. д. Все мироздание разворачивается перед нами как цепь непрерывных переходов материи и формы. Отделить материю от формы и форму от материи можно только в воображении, ибо в природе нет материи без формы и формы без материи.

Но если материя и форма вечны и неизменны, откуда в природе это вечное движение, вечное течение «реки жизни», в которую невозможно войти дважды? Привести в движение отношение материи и формы Аристотелю помогают два фундаментальных понятия: «возможность» — «дюнамис» (греч. δύναμις — мощь,

власть, сила в возможности) и «действительность» — «энергея» (греч. *εν-έργεια* — деятельность, сила в действии). Материя — это возможность реализовать форму. Форма — это действительность для данного этапа существования материи. «Материя дается в возможности, — говорит Аристотель, — потому что она может получать форму, а когда она существует в действительности, тогда она уже определена через форму». Действительность предшествует возможности, и развитие выступает в виде смены одной действительности другой. В нашем примере нити — это возможность для ткани, а ткань — возможность для платья.

Понятия возможности и действительности сделали философию Аристотеля диалектической и в то же время избавили ее от логических противоречий, свойственных диалектике Гераклита. Действительно, как, с точки зрения логики, следует понимать противоречивые высказывания Гераклита о том, что «путь вверх-вниз» или жизнь и смерть одно и то же. Аристотель, который не только первым сформулировал закон отрицания противоречия, но и объявил этот закон основным законом бытия, никак не мог принять Гераклитова тождества жизни и смерти. С другой стороны, Аристотель был слишком естествоиспытателем и слишком реалистом, чтобы принять «элейскую» коллизию о неподвижности бытия — на такое мог решиться только «чистый» философ, каким являлся Зенон. И вот понятие возможности позволяет Аристотелю разрешить это давнее противоречие, ибо суть возможности и состоит в том, что она содержит противоположности. Если уточнить Гераклита и сказать, что в действительности человек жив, но в возможности он смертен, что действительный путь вверх сменится в возможности обратной дорогой вниз, то мир станет диалектичен и непротиворечив.

Итак, развитие — основной закон мироздания — есть цепь переходов возможности в действительность, постоянное осуществление, актуализация возможности. Как понятие производной в XVII в. внесло движение в математику, а через нее и во «вторую философию» — физику, так и учение о возможности и действительности пробудило в IV в. до н. э. статичную античную «метафизику» — «первую философию». Аристотелево учение о действительности и возможности без изменения перекочевало в средневековую философию и называлось на латинский манер учением об акте и потенции. По иронии судьбы именно с понятия производной началась эпоха научных революций XVII в., следовательно, и эпоха крушения окаменевших на два тысячелетия в средневековой схоластике догматов Аристотелевой философии.

Но что произойдет, если по цепочке переходов возможности в действительность мы пойдем в обратном направлении, к основам мироздания? Какую форму и какую материю увидим мы в начале этой цепи? То будет «первая материя», или Праматерия, и «форма форм», или Бог, утверждает Аристотель. Праматерия — пассивное начало природы. Это бесформенная, неопределенная масса, которую невозможно воспринять чувствами, ибо она лишена формы. Ее нельзя даже сопоставить с одной из стихий — землей, водой, воздухом или огнем, ибо стихии уже оплодотворены формой. Праматерия есть нечто противоположное мировой целесообразности, это Необходимость-Ананке, которую «нельзя переубедить, ибо она идет наперекор движению, происходящему по выбору и согласно разумному убеждению». Поэтому материя у Аристотеля оказывается источником несовершенств в мире, в материи скрыты необходимость и случайность, которые ограничивают целесообразную деятельность природы и человека.

Как порождение Праматерии, сама материя также несет в себе негативные черты прародителя. Материя у Аристотеля не живое, активное начало, не самодвижущаяся природа-фюзис первых натурфилософов, но мертвая, пассивная, неподвижная, аморфная масса. Чтобы привести данную массу в движение, необходим некий «перводвигатель» или Бог. Аристотель отнял у материи творческое начало, целиком передав его в ведение «формы форм», т. е. Бога. Аристотелев взгляд на материю как на инертную массу, не способную к саморазвитию, в течение двух тысячелетий тяготел над философией. Только научные революции XVII в., восстановившие Демокритово учение о вечности движения атомов, следовательно, и материи, подорвали эту традицию. Но и в XVII в. Ньютон, как и в IV в. до н. э. Аристотель, для построения законченной картины мира нуждался в гипотезе о «первотолчке», т. е. в гипотезе о Боге. Бесспорные естественнонаучные основания для ломки Аристотелевой традиции пассивной материи философия получила только во второй половине XX в., когда в фундаментальных исследованиях Ильи Пригожина обнаружили процессы самоорганизации в диссипативных структурах.

В противоположность материи форма — источник всякого совершенства в мироздании. Форма облагораживает Праматерию, с каждой ступенью бытия форма развивается, вознося материю к более совершенным типам, и венчается «формой форм» — чистой Энергией или Богом. Бог Аристотеля — это и «форма форм», и «перводвигатель», и «цель» мироздания. В Боге сходятся три Аристотеле-

вых «начала» — форма, движение и цель. Нет в Боге только материи. Поскольку мир — вечный круговорот Вселенной, достигнуть его «начала» можно, только выйдя за этот круг. Следовательно, дать начальный импульс движения материальному миру может только нематериальный перводвижитель, каковым и является Бог. По той же причине Бог и неподвижен, ибо все, что движется, приводится в движение чем-то иным. Но если бы Бог был подвижен, значит, он приводился бы в движение еще чем-то или кем-то и, следовательно, не мог бы быть перводвижателем. Бог и неизменен, ибо любое изменение для него оказалось бы только изменением к худшему.

Поскольку материя — это возможность, лишенный материи Бог — это чистая действительность. Неподвижный и неизменный Бог не может вникать в текущие и преходящие частности, он далек от мелких, сиюминутных забот, составляющих смысл жизни большинства людей. Земной мир субъективного, индивидуального, чувственного чужд Богу, это недостойный для него предмет, ибо, как считает Аристотель, «лучше не видеть иные вещи, чем видеть их». Бог так же равнодушен к маленькому человеку, как Солнце — к тянущемуся ему навстречу цветку. Тем не менее именно Бог согревает мир и приводит его в движение.

Бог Аристотеля — это «бог философов», безличное, универсальное мировое начало. Он лишен праведного гнева Зевса, влекущей улыбки Афродиты или разгульного пения Дионисия. Как скажет через 2300 лет выдающийся философ XX в. Мартин Хайдеггер (1889—1976), «такому Богу нельзя молиться и приносить жертвы, перед ним нельзя упасть на колени, ни скакать и плясать, как Давид перед ковчегом». Бог Аристотеля — это чистый Разум, замкнутое на себе мышление, это духовный Абсолют, который «мыслит сам себя... и мысль его есть мышление о мышлении». В нематериальном Боге предмет мысли и мысль о предмете совпадают. Мысля самого себя, Бог тем самым мыслит самое божественное и самое ценное. «Форма форм» мыслит только чистые формы — формы бытия и формы мысли, следовательно, Аристотелев Бог есть и онтолог, и логик. Бог есть вместилище сверхприродных, сверхчувственных, т. е. метафизических, сущностей, которые только и могут быть, по Аристотелю, предметом истинной, «первой» философии.

Таковы только некоторые вехи «первой философии» Аристотеля — его метафизики, которая непрерывно переходит в теологию и венчается учением о Боге. Конечно, можно поставить много критически окрашенных вопросов по всей метафизике Аристотеля и тем более по его учению о Боге, где нетрудно усмотреть много на-

тяжек. Последовательный естествоиспытатель, Аристотель пытался спустить на Землю платоновского Бога вместе с его занебесным миром идей, и понятно, что далеко не все ему удалось. Как остроумно заметил Б. Рассел, «Аристотеля понять трудно, потому что нелегко соединить взгляды Платона со здравым смыслом».

Мы заканчиваем краткий обзор учения Аристотеля. За рамками нашего рассмотрения осталась «вторая философия» — физика Аристотеля с ее учением о четырех видах движения, проблемой пространства и времени, проблемой формообразования в природе и т. д. Вне нашего поля зрения остались философия математики Аристотеля, учение об актуальной и потенциальной бесконечности, Аристотелево решение апорий Зенона. Мы не коснулись космогонии Аристотеля, утвердившей на два тысячелетия геоцентризм с семью подвижными сферами и учение о четырех стихиях; психологии Аристотеля с ее тонкими рассуждениями о душе и теле и рассмотрением трех типов души; гносеологии — теории познания (от греч. γνῶσις — познание, λόγος — слово, учение) Аристотеля, в которой основной вопрос философии — вопрос о познаваемости мира — Аристотель решает с предельной ясностью, свидетельством чему является первое предложение «Метафизики»: «Все люди от природы стремятся к знанию»; эстетики Аристотеля с ее учением о мере, подражании — мимесисе — и очищении — катарсисе; этики Аристотеля, где разрабатывается учение о нравственности как приобретенном качестве души, учение о видах добродетели и роли знания в достижении добродетели.

Если Геродота принято называть отцом истории, а Эсхила — отцом трагедии, то Аристотель получается самым «многодетным» отцом среди древних мудрецов. С полным правом его можно назвать отцом биологии, отцом логики, отцом политологии, отцом искусствоведения. В биологии Аристотель дал первую классификацию более 500 видов животных — для того времени огромного числа; Аристотель на два тысячелетия предвосхитил идею «лестницы существ» Бонне, закон соотношения органов, дарвиновскую «борьбу за существование», недаром последний говорил: «Линней и Кювье были моими богами, но все они только дети по сравнению с Аристотелем». Аристотелю принадлежат и многие конкретные биологические открытия, например, челюстного аппарата морских ежей, называемого в биологии «Аристотелев фонарь», начала биения сердца куриного зародыша на третий день высиживания и др. В логике Аристотель из четырех законов мышления точно сформулировал два — закон запрещения противоречия и закон исключен-

ного третьего, заложил основы учения о категориях, дал определение силлогизма и доказательства, разработал метод индукции. В политологии Аристотель впервые классифицировал формы политического устройства государства и дал описание 158 систем государственного устройства, существовавших в Элладе и за ее пределами. В искусствознании Аристотель заложил основы поэтики — науки о поэзии, впервые рассмотрел законы стихосложения, изучил роль ритма и метра в поэзии, дал знаменитое определение трагедии: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услащенной по-разному, в различных ее частях, производимое в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей».

Таково грандиозное научное и философское наследие, оставленное человечеству Аристотелем. Аристотель — вершина античной философии, венчающая самый одухотворенный период в истории античности, именуемый *эпохой классической Греции*. Всего за три столетия в каком-то волшебном порыве, названном впоследствии «греческим чудом», мудрость Эллады достигла невероятных высот, а затем, с приходом очередного периода в истории Греции — эллинизма, — стала распространяться на Восток и на Запад. Конечно, еще появятся много оригинальных философов и много оригинальных идей, но их глубина и новаторство будут уступать тому, что было создано в предшествующие три столетия. Время разбрасывать камни прошло, пришло время их собирать. Эллинистические и тем более римские философы не столько будут разбрасывать новые идеи, сколько начнут собирать старые, осмыслять их, уточнять, комментировать, особенно идеи трех великих философов-натуралистов эпохи классики: Демокрита, Платона и Аристотеля.

Как вершина Эльбруса отбрасывает на рассвете гигантскую тень на соседние горы Кавказа, так и философия Аристотеля накрыла тенью последующие философские системы античности. Как на восходе солнца одинокими свечами вспыхивают снежные вершины гор, так и в тени Аристотелевой философии загорались редкие светлячки новых философских школ античности: киники, киренаики, мегарики, сократики, платоники, перипатетики, эпикурейцы, стоики, скептики, неоплатоники. В этом ряду киники не выделялись глубиной философской мысли, зато обессмертили себя «кинизмом» или, как потом стали говорить, цинизмом образа мысли и поведения. Наиболее прославился среди киников Диоген Синопский.



ДИОГЕН СИНОПСКИЙ

(ок. 410—323 до н. э.)

Бедность сама пролагает путь к философии.

Как на восходе солнца одинокими свечами вспыхивают снежные вершины гор, так и в тени Аристотелевой философии загорались редкие светлячки новых философских школ античности: киники, киренаики, мегарики, сократики, платоники, перипатетики, эпикурейцы, стоики, скептики, неоплатоники. В этом ряду киники не выделялись глубиной философской мысли, зато обессмертили себя «кинизмом» или, как потом стали говорить, цинизмом образа мысли и поведения. Наиболее прославился среди киников Диоген Синопский.

Философские школы киников, киренаиков и мегариков образовались после казни Сократа из его учеников, которых часто звали просто сократиками, и существовали еще при жизни Платона и Аристотеля. Платон встречался с основателем школы киников Антисфеном в кружке Сократа. Антисфен недолюбливал Платона за высокомерие, однако и сам, узнав однажды, что Платон дурно о нем отзывается, без ложной скромности заметил: «Это удел царей: делать хорошее и слышать дурное». Диогена Синопского, ученика Антисфена и наиболее популярного киника, Аристотель не мог не видеть на афинской агоре, однако, видимо, предпочитал не задевать острого на язык Диогена, ибо в противном случае предания непременно сохранили бы память об их встрече. Диоген умер за год до смерти Аристотеля, в 323 г. до н. э., в один год и, как утверждает традиция, в один день с Александром Македонским.

При жизни двух величайших мудрецов Эллады Платона и Аристотеля сократики были незаметны, как незаметны звезды при свете солнца. Поэтому киники, равно как и мегарики и киренаики, стали формироваться в философскую школу после ухода из жизни Платона и Аристотеля, когда после смерти главного киника Диогена его имя начало обрастать причудливыми преданиями. Среди сократических школ киники оказались истинными долгожителями, просуществовав почти 1000 лет, до конца античности, отчасти перейдя в философию стоиков и окончательно растворившись в христианской философии простого обездоленного люда.

Секрет долголетия философии кинизма прост, как и его учение. Кинизм стал философией социальных низов античного общества: метеков — чужеземцев, лишенных многих социальных прав (напомним, что в Афинах метеками были и Анаксагор, и Протагор, и Аристотель), изгнанников, вольноотпущенников, рабов, нофов — незаконнорожденных, трудящейся бедноты и неимущей интеллигенции. Поскольку по мере развития любого общества расслоение в нем только усиливается, философия кинизма всегда находила приверженцев. За примерами далеко ходить не надо: основоположник философии кинизма Антисфен был сыном свободного афинянина и фракийской рабыни, следовательно, еще по солоновским законам считался нофом; самый популярный киник Диоген был изгнан из родного Синопа за «порчу монеты», поэтому среди афинян слыл изгнанником; Моним Сиракузский был рабом коринфского банкира; Бион — сыном вольноотпущенника и проститутки.

Со временем, благодаря доступности и вседозволенности, философия кинизма обрела популярность и стала привлекать к себе богатых искателей приключений и истины. Так, аристократ Кратет из Фив под влиянием Диогена променял свое немалое состояние на нищенскую суму киника; жена Кратета Гиппархия и ее брат Метрокл также происходили из знатной семьи, однако ради Кратета Гиппархия отвергла и красоту, и богатство, и знатность всех женихов; кинический поэт эпохи эллинизма Керкид из Мегалополя, чье творческое наследие по достоинству было оценено лишь в XX в. в связи с находкой папирусов с отрывками из «Мелиамбов киника Керкида», являлся видным государственным деятелем, дипломатом и законодателем; известный киник I в. н. э., изгнанник из Римской империи Дион был отпрыском богатой и знатной фамилии (как только изгнание Диона закончилось, улетучился и его кинический пафос).

Но почему Антисфена и его учеников прозвали киниками, т. е. «собачниками» (от греч. *κυνος* — собака, пес)? По этому поводу су-

ществуют два мнения. Диоген Лаэртский название школы Антисфена производит от гимнасия Киносарг (Κυνοσαργεῖς — Зоркий Пес), где обосновался Антисфен с учениками. Другая версия, признаваемая сегодня более вероятной, связывает название школы с прозвищем Диогена Κύων — Пес и вообще с «собачьим» образом жизни Диогена. От Диогена, который и сам называл себя собакой, и пошла κυνική φιλοσοφία — «собачья философия».

В подражании «собачьему» образу жизни киники зашли столь далеко, что попирали элементарные нормы общественного поведения и морали. Диоген мог, подобно собаке, прилюдно «пометить» свое место на агоре или в помещении; как сообщает Диоген Лаэртский, на глазах у всех он совершал «и дела Деметры, и дела Афродиты»; киники Кратет и Гиппархия сыграли «киническую свадьбу» прямо на площади и т. д. Поэтому неудивительно, что со временем латинизированное название киников — циники (лат. cynici) стало нарицательным и по сей день обозначает вызывающе-презрительное отношение к общественным нормам нравственности, а попросту — бесстыдство и распушенность.

Но перейдем к жизнеописанию «главного киника» Диогена. Жизнеописание всегда помогает глубже проникнуть в философию мудреца, ибо философский образ мысли и философский образ жизни определяют друг друга, что особенно наглядно на примере Сократа. Но в случае Диогена жизнь и философия просто тождественны, ибо киническая философия представляет собой не столько систему мысли, сколько систему жизни.

Диоген родился около 412 г. до н. э. в старой милетской колонии Синопе на южном берегу Понта Эвксинского. Синоп существует и сегодня, сохранив свое название и положение богатого портового города Турции, расположенного на побережье Черного моря точно напротив современной Ялты. Отец Диогена Гикесий заведовал казенным меняльным столом и был человеком состоятельным. Однако толстосум никогда не довольствуется имеющимся, хотя, возможно, только поэтому он и становится богатым. Гикесий то ли сам стал «портить монету», то ли привлек к этому сына, который позже признавался, что «обрезывал монеты». В любом случае оба фальшивомонетчика были уличены, изгнаны из родного Синопа и обречены на жалкую жизнь изгнанников.

Существует предание, согласно которому на скользкий путь фальшивомонетчика Диогена наставил не кто иной, как дельфийская Пифия. Дело якобы обстояло следующим образом. Когда Диогена назначили заведовать чеканкой монеты, работники стали

подбивать его «подумать и о себе». Богобоязненный Диоген в столь деликатном вопросе решил обратиться за советом в Дельфы и получил ответ оракула: «*παρά-χαράσσω νόμισμα*». Но в том-то и дело, что Пифия всегда давала ответ в нарочито двусмысленной форме — что-нибудь да сбудется. Ответ можно было понять как «перечеканивай монету», т. е. благословение на подделку, или «измени обычай», т. е. смени образ жизни, отойди от соблазна. Диогену пришлось по душе первое толкование оракула, которое, однако, скоро обернулось вторым. Поэтому для Диогена прорицание Дельфийского оракула сбылось дважды.

Около 390—385 гг. до н. э. в возрасте эфеба изгнанный из Синоп Диоген оказывается в Афинах. Очевидно, происшедшие события произвели в его душе сильнейшее потрясение. Он не только решает на новом месте начать новую жизнь праведника, но и полностью порывает с мирской суетой и посвящает себя философии. В те времена, когда еще не существовало христианских монастырей, подобное решение являлось единственным путем искупления вины и очищения духа. Как часто бывает, зло обернулось добром: вместо того чтобы оставаться богачом с нищим, дрожащим от вечного страха сознанием, Диоген превратился в нищего с богатой, гордо-независимой душой.

Начало философского пути Диогена Синопского оказалось нелегким. Диоген Лаэртский пишет о своем тезке: «Придя в Афины, он примкнул к Антисфену. Тот по своему обыкновению никого не принимать прогнал было его, но Диоген упорством добился своего. Однажды, когда тот замахнулся на него палкой, Диоген, подставив голову, сказал: “Бей, но ты не найдешь такой крепкой палки, чтобы прогнать меня, пока ты что-нибудь не скажешь”. С этих пор он стал учеником Антисфена и, будучи изгнанником, повел самую простую жизнь».

Как-то раз, глядя на пробежавшую мимо мышь, которая не нуждалась ни в подстилке для сна, ни в столе для трапезы, не боялась темноты и не искала мнимых наслаждений, Диоген понял, что это и есть образец для праведной жизни. С тех пор Диоген стремится предельно упростить собственный быт, взяв за идеал жизнь животных, и прежде всего собак. Этот «животный» аскетизм становится для Диогена смыслом жизни и навязчивой идеей. В качестве подстилки для сна он приспособил свой плащ, сворачивая его вдвое, на плечи повесил нищенскую суму, в руки взял посох. Теперь «всякое место было ему одинаково подходящим и для еды, и для сна, и для беседы». Указывая на портик Зевса на афинской аго-

ре или на Помпейон — склад утвари для торжественных процессий у Дипилонских ворот, Диоген говорил, что афиняне сами позаботились о его жилище.

Но косые зимние дожди заливали портик Зевса, да и хотелось Диогену своего угла: даже животные роют себе норы. В конце концов Диоген присмотрел валявшийся на агоре старый пифос — большую глиняную бочку для хранения зерна или вина, где вполне мог уместиться один человек. Пифос лежал неподалеку от Метроона — храма Матери Богов на агоре, служившего афинянам государственным архивом. Поэтому жилище Диогена оказалось в центре торговой и общественной жизни города. Отныне и навсегда имя Диогена стало неотделимым от его знаменитой бочки. Афиняне настолько привыкли к Диогену и его бочке, что, когда один мальчишка то ли случайно, то ли нарочно разбил жилище Диогена, его высекли, а мудрецу дали новый пифос. Диоген стал для афинян вторым Сократом — его любили, у него спрашивали совета, его незатейливая мудрость притягивала.

Лишив себя элементарной человеческой благоустроенности, Диоген закалял свое тело так, чтобы оно не зависело от капризов погоды. Поэтому летом он лежал на горячем песке, а зимой ходил по снегу босиком и обнимал холодные статуи, запорошенные снегом (впрочем, холод и снег — явления в Афинах редкие). Если для большинства людей главную цель жизни составляет накопление всяческих благ, то Диоген неотступно следовал противоположному правилу. Увидев однажды, как мальчик пьет воду из ладонки, он выбросил из сумы свою чашку со словами: «Мальчик превзошел меня простотой жизни». В другой раз Диоген заметил, как другой мальчишка, разбивший свою плошку, ест чечевичную похлебку из куска выеденного хлеба, — и вслед за чашкой он зашвырнул и миску. Отныне только три вещи становятся непременными атрибутами философа-киника: короткий плащ — трибон (τριβων), надеваемый на голое тело, нишенская котомка — пера (πήρα) и посох странника — бактрон (βάκτρον).

Диоген приучал себя не только к физическим лишениям, но и к нравственным обидам. Иной раз он просил подавание у статуи, а на вопрос, зачем он это делает, отвечал: «Чтобы приучить себя к отказам». Но если Диоген просил милостыню у людей, а такое случилось нередко, он никогда не опускался до угодничанья перед дающим. Его просьба могла заключать остроумный силлогизм*: «Если

* Силлогизм — логическое умозаключение, которое позволяет (дедуктивно) выводить частное из общего.

ты подаешь другим, то подай и мне; если нет, то начни с меня», — а чаще содержала и прямой выпад. Один скряга, завидя протянутую руку Диогена, сказал: «Дам, если ты меня убедишь». «Если бы я мог тебя убедить, — ответил Диоген, — я убедил бы тебя удувиться».

Нищенствующего философа не интересовал результат, его интересовали процесс и психологические коллизии, возникающие в данном процессе. Прощение милостыни для Диогена являлось психологическим экспериментом, средством общения с людьми, способом изучения человека. Чего стоит едкое объяснение Диогена, почему люди подают милостыню убогим и нищим и не подают философам: «Потому что они знают: хромыми и слепыми они, быть может, и станут, а вот мудрецами никогда». Прося милостыню, Диоген не столько боролся за существование, сколько стремился пробудить добродетель в людях, раскрыть человеческое в человеке. Недаром Диоген говорил о себе, что он берет пример с учителей пения, которые нарочно поют тоном выше, чтобы ученики поняли, в каком тоне нужно петь им самим. Дающие подаяния — это ученики Диогена, которых мудрец сознательно помещал в экстремальную ситуацию, чтобы раздуть тлеющие в глубине их души искорки добра.

Мудрый Диоген понимал: в душе человека оставляют след только экстраординарные события, поэтому, чтобы внушить человеку пусть самую простую истину, необходимо облечь ее в гипертрофированную форму. Здесь и кроется истинная причина всех крайностей и экстравагантностей Диогена. Желая сделать людей добрыми, он просил у них милостыню; стремясь отвратить людей от скарденности и стяжательства, он обрек себя на жизнь бездомного нищего; пытаясь пробудить в человеке духовное, он напроочь отверг в себе телесное. Диоген зорко разглядел в греческом обществе, постоянно паразитировавшем на труде рабов, смертельные язвы распушенной лени, растлевающего чванства, которое в конце концов погубило и Древнюю Грецию, и Великую Римскую империю. И Диоген предпринимает отчаянную попытку выжечь эти язвы — здесь он безжалостен и неутомим.

Некоему эллину, которого обучает его раб, он говорит: «Ты был бы вполне счастлив, если бы он заодно и нос тебе утирал; отруби же себе руки, тогда так оно и будет». В другой раз он объявляет собравшимся: «Боги даровали людям легкую жизнь, а те омрачили ее, выдумывая медовые сласти, благовония и тому подобное». Диоген возводит в культ презрение своего учителя Антисфена к наслаждениям. Если Антисфен говорил, что предпочел бы безумие наслаждению, Диоген находит наслаждение в самом презрении к наслаж-

дению. «Само презрение к наслаждению, — говорил Диоген, — благодаря привычке становится высшим наслаждением; и как люди, привыкшие к жизни, полной наслаждений, страдают в иной доле, так и люди, приучившие себя к иной доле, с наслаждением презирают самое наслаждение».

Отвергая мнимые наслаждения и презирая собственную плоть, Диоген, возможно, хотел только привить человеку чувство меры чрезмерными требованиями. Однако он столь высоко поднял планку своих требований, настолько вошел в роль, что стал желчным человеконенавистником, нетерпимым ко всем окружающим. Диоген Лаэртский свидетельствует: «Ко всем он относился с язвительным презрением. Он говорил, что у Евклида не ученики, а желчевики; Платон отличается не красноречием, а пусторечием; состязания на празднике Дионисия — это чудеса для дураков, а демагоги — прислужники черни. Еще он говорил, что когда он видит правителей, врачей или философов, то ему кажется, будто человек — самое разумное из живых существ, но когда он встречается снотолкователей, прорицателей или людей, которые им верят, а также тех, кто чванится славой или богатством, то ему кажется, будто ничего не может быть глупее человека». Поэтому неудивительно, что, возвращаясь из Олимпии, на вопрос, много ли там было народу, он ответил: «Народу много, а людей немного». В другой раз он стал созывать людей, а когда те сбежались, набросился на них с палкой и криками: «Я звал людей, а не мерзавцев». Понятны и такие причуды Диогена, когда он среди бела дня бродил с фонарем по агоре, объясняя встречным: «Ищу человека».

Однако к чести Диогена следует заметить, что в презрении к людям он не делал исключений и для царей. Когда гроза Эллады Александр Македонский однажды подошел к прославленному мудрецу и представился: «Я — великий царь Александр», тот ничтоже сумняшеся ответил: «А я собака Диоген». Другая встреча двух великих вошла в золотой фонд исторических анекдотов. Александр подошел к Диогену, гревшемуся на солнце, и сказал, остановившись над ним: «Проси у меня что хочешь». На это Диоген ответил: «Не заслоняй мне солнца». Славный ученик Аристотеля с монаршим достоинством парировал: «Если бы я не был царем Александром, то хотел бы стать Диогеном».

Тем не менее и жгучая желчь, и экстравагантная грубость Диогена были продиктованы заботой о чистоте нравов и добродетели человека. «Он говорил, — пишет Диоген Лаэртский, — что люди соревнуются, кто кого столкнет пинком в канаву, но никто не со-

ревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. Он удивлялся, что грамматики изучают бедствия Одиссея и не ведают своих собственных; музыканты ладят струны на лире и не могут сладить с собственным нравом; математики следят за солнцем и луной, а не видят того, что у них под ногами; риторы учат правильно говорить и не учат правильно поступать; наконец, скряги ругают деньги, а сами любят их больше всего. Он осуждал тех, кто восхваляет честных бессребреников, а сам втихомолку завидует богачам. Его сердило, что люди при жертвоприношении молят богов о здоровье, а на пиру после жертвоприношения обедаются во вред здоровью».

После долгих лет пребывания в Афинах, ставших для Диогена вторым домом, он отправился странствовать по Элладе, но не как софист, а скорее как бродячий проповедник. Во время одного из переездов, когда Диоген плыл на корабле на остров Эгину, его захватили в плен пираты. Вместо ближней Эгины мудрец попал на далекий Крит, где его привели на невольничий рынок. На вопрос глашатая, что он умеет делать, верный своей внутренней свободе Диоген сказал: «Властвовать людьми» — и добавил, указав на богатого одетого коринфянина: «Продай меня этому человеку: ему нужен хороший хозяин». Коринфянина звали Ксениад. Он купил Диогена и вернулся с ним в Коринф, где и произошла знаменитая встреча Диогена с Александром.

Диоген заявил Ксениаду, что хотя он и раб, но хозяин обязан его слушаться, как слушался бы врача или кормчего, если бы врач или кормчий были рабами. Обескураженный Ксениад решил не испытывать судьбу и приставил Диогена воспитателем к сыновьям, а вскоре доверил ему и все хозяйство. И Диоген не подвел Ксениада. Мудрый раб оказался превосходным наставником. Не зря он говорил, что образование сдерживает юношей, утешает стариков, бедных обогащает, богатых украшает. Евбул в книге «Продажа Диогена» пишет, что «Диоген, воспитывая сыновей Ксениада, обучал их кроме всех прочих наук ездить верхом, стрелять из лука, владеть пращей, метать дротики; а потом, в палестре^{*}, он велел наставнику закалять их не так, как борцов, но лишь настолько, чтобы они отличались здоровьем и румянцем. Дети запоминали наизусть многие отрывки из творений поэтов, историков и самого Диогена; все начальные сведения он излагал им кратко для удобства запоминания. Он учил, чтобы дома они сами о себе заботились, чтобы ели

* П а л е с т р а — место для спортивной борьбы и упражнений; часто — обозначение спортивного сооружения.

простую пищу и пили воду, коротко стриглись, не надевали украшений, не носили ни хитонов, ни сандалий, а по улицам ходили молча и потупив взгляд. Обучал он их также и охоте. Они, в свою очередь, тоже заботились о Диогене и заступались за него перед родителями». Ксениад оказался настолько доволен новым рабом, что повсюду рассказывал: «В моем доме поселился добрый дух».

Положение раба несколько не унизило Диогена. Напротив, всем поведением мудрец доказывал, что, и будучи рабом, философ-киник может оставаться господином своего положения и даже господином своего господина — раба собственных страстей. Поэтому, когда сыновья Ксениада предложили выкупить Диогена, он обозвал их дураками, сказав, что «не львам бывать рабами тех, кто их кормит, но тем, кто кормит, — рабами львов, потому что дикие звери внушают людям страх, а страх — удел рабов».

Жизнь Диогена у Ксениада доказывает, что философ-раб был не только нигилистом, отрицающим все и вся, но и созидателем. Если чудачества Диогена рассматривать как воспитательный прием, как средство укрощения низменных страстей и пробуждения добродетели, то они заслуживают самой высокой оценки. И дети Ксениада — лучшее тому доказательство. Недаром Диоген Лаэртский свидетельствует: «Этот человек обладал поразительной силой убеждения, и никто не мог противостоять его доводам. Говорят, что эгинец Онесикрит послал однажды в Афины Андросфена, одного из двух своих сыновей, и тот, послушав Диогена, там и остался. Отец послал за ним старшего сына... Филиска, но Филиск точно так же не в силах был вернуться. На третий раз приехал сам отец, но и он остался вместе с сыновьями заниматься философией. Таковы были чары Диогеновой речи».

Умер Диоген в глубокой старости, почти девяноста лет от роду. О смерти мудреца существуют самые противоречивые рассказы. Одни говорят, что он съел сырого осьминога, заболел холерой и умер. Другие — когда он хотел разделить осьминога между собаками, те искусали его за ноги, отчего он и умер. Третьи — якобы философ сам задержал себе дыхание, чем и приблизил свой незаметный уход из жизни. Наконец, говорили, что, умирая, он завещал оставить свое тело без погребения, чтобы оно стало добычей зверей или собак, либо приказал бросить его в канаву или в реку Илосс. В целом все эти подробности, которые слишком напоминают сбивчивые рассказы о трагической смерти Гераклита, свидетельствуют скорее не об истинных обстоятельствах смерти мудреца, а о том, что умер он, как и Гераклит, забытым и одиноким стариком.

Правда, одно предание говорит о том, что между учениками Диогена разгорелся спор, кому его хоронить, и дело дошло даже до драки. С помощью старейшин конфликт был разрешен, и мудреца похоронили в Коринфе у Истмийских ворот. На его могиле поставили колонну из паросского мрамора, которую венчала фигура собаки. Памятник простоял по крайней мере 500 лет, что засвидетельствовал во II в. н. э. Павсаний в своем «Описании Эллады». Кроме того, благодарные потомки почтили память Диогена его медными изображениями, которые украшали стихи:

Пусть состарится медь под властью времени — все же
Переживет века слава твоя, Диоген:
Ты нас учил, как жить, довольствуясь тем, что имеешь,
Ты указал нам путь, легче которого нет.

Традиция приписывает Диогену 21 сочинение, среди которых 14 диалогов — «О богатстве», «О любви», «О смерти», «Государство», «Наука нравственности», «Афинский народ» и др. — и 7 трагедий — «Елена», «Геракл», «Ахилл», «Медея» и др. Главной темой диалогов и трагедий Диогена являлись этические проблемы, рассеянные по его сочинениям в виде множества афоризмов и притч, прибауток и побасенок, аллегорических толкований древнегреческих мифов, полных житейской мудрости и народного юмора. Сочинения Диогена были пронизаны единой идеей кинической «перечеканки ценностей», следовательно, призывали к торжеству духа над плотью, отвергали тихую мещанскую благоустроенность и мнимые материальные ценности во имя внутренней свободы и духовного богатства. Уже при жизни Диогена его «Государство» ставилось в один ряд с одноименным диалогом Платона.

Ни одно из сочинений Диогена полностью не сохранилось. Они рассыпались сотнями сверкающих искр в виде так называемых хрий и апофтегм, содержащих крылатые высказывания мудреца и рассказывающих о его аскетической жизни и скандальных выходах. Возможно, что многие произведения Диогена и не были записаны — его бочка явно не располагала к писательскому труду. Скорее всего, трагедии и диалоги Диогена передавались в устном виде подобно сказаниям Гомера и Гесиода. Да и вообще письменные нравоучения были чужды Диогену, ибо философией Диогена являлась его жизнь.

Основная философская идея киников состояла в том, что философия есть жизненная мудрость, не нуждающаяся в отвлеченном знании. Диоген философствовал своим образом жизни, свободным от условностей и ложных ценностей, лишенным практически всех

потребностей. Диоген стремился превратить философию в чисто практическую науку, и в этом начинании он превзошел своего учителя Антисфена. Если Антисфен видел в философии «умение беседовать с самим собой», то Диогену философия давала «по крайней мере готовность ко всякому повороту судьбы». Диоген не устал благодарить судьбу за то, что она повернула его к философии, и когда кто-то принялся сочувствовать судьбе синопского изгнанника, он гордо ответил: «Несчастный! Ведь благодаря изгнанию я стал философом».

Исповедуя «практическую философию», киники естественным образом считали чувственные ощущения основой познания мира. Как следствие, киники отвергали Путь Истины в философии, считая Путь Мнения единственно верной дорогой. В рациональном знании киники видели некое интеллектуальное барство, интеллектуальное наслаждение, столь же бесполезное и даже вредное для здорового человека, как и растлевающие душу телесные наслаждения. В силу той же «практической философии» киники абсолютизировали Гераклитову изменчивость мироздания, следовательно, отрицали наличие в природе объективных неизменных законов. Таким образом, как и софисты, киники в философии являлись односторонними сенсуалистами и релятивистами.

Будучи закоренелыми эмпириками, киники отрицали сократовское учение о всеобщем. Киники ограничивали познание только описанием вещей и считали, что сущность вещи определить и, следовательно, познать невозможно. В этом смысле киники были агностиками. «Антисфеновцы», как называл киников Аристотель, признавали только существование единичных вещей, а общие понятия считали бессодержательными именами. «Нельзя определить, что такое серебро, — говорили киники, — но можно сказать, что оно подобно олову». Отсюда следовал неутешительный вывод о том, что логика бесполезна. Отсюда же вытекало воинствующее неприятие киниками платоновско-аристотелевского учения о вечных и неизменных идеях, независимо от их «местоположения» — в небесных высях или внутри самой вещи.

Философская полемика Диогена и Платона носила явно непарламентский характер и, без сомнения, питалась не только принципиальными разногласиями в философии, но и личными антипатиями. Диоген Лаэртский так описывает эту полемику: «Когда Платон рассуждал об идеях и изобретал названия для столтности и чашности (т. е. для идеи стола и чаши. — *А. В.*), Диоген сказал: “А я вот, Платон, стол и чашу вижу, а столтности и чашности не вижу”. А тот: “И понятно: чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы

видеть стольность и чашность, у тебя нет разума»». Если в этом раунде победа явно осталась за Платоном, то в следующем столь же бесспорным оказалось преимущество Диогена.

Во времена полемики Диогена и Платона большим успехом пользовалось платоновское определение человека: «Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев». Диоген ошипал петуха и принес его в платоновскую Академию со словами: «Вот платоновский человек!» Хотя Платон исправил свое определение дополнением «и с широкими ногтями», стало очевидным, что подобных дополнений потребуется бесконечно много.

Закончив спор на философском уровне, двое великих не гнушались перевести его и на чисто бытовой. Как-то Платон созвал много народа по случаю приезда его друзей от Дионисия. Пришедший Диоген принялся топтать ковер хозяина со словами: «Попираю Платонову спесь», на что Платон ответил: «Попираешь собственной спесью, Диоген». В другой раз, когда голый Диоген стоял под дождем и окружающие жалели его, Платон сказал им, подразумевая ту же спесь и тщеславие Диогена: «Если хотите пожалеть его, отойдите в сторону».

Конечно, доведенный до крайности аскетизм Диогена носил явно демонстративный характер. Платон прекрасно понимал это, и Диоген понимал, что Платон понимает. Два мудреца лучше других видели слабости друг друга, оттого-то и легла между ними тень вражды. Развеять эту тень можно было только, переступив через себя, чего ни один из них не мог себе позволить. Поэтому полемика Платона и Диогена закончилась тем, что Диоген обозвал Платона краснобаем, а Платон Диогена — безумствующим Сократом. В какой-то мере оба были правы.

Но философия кинизма — это прежде всего этика, построенная на своеобразном «киническом» фундаменте. Поскольку киники считали общие понятия бессодержательными, они не могли дать и общего определения блага — основного понятия этики. Вместо «общего блага» киники предложили «собственное благо», которое неизбежно должно было отличаться от общепринятого, следовательно, и «кинический» способ достижения добродетели должен был являться чисто индивидуальным. Поэтому, если, по Сократу, учившему о всеобщем, человек мог стать добродетельным, оставаясь в обществе и считаясь с общественными нормами блага, то, по Диогену, единственно верным средством достижения добродетели могло быть только бегство от общества, поиск «собственного блага», отказ от общепринятых норм социального бытия — политиче-

ских, юридических, моральных, культурных и т. д. Если Сократ был пламенным патриотом Афин, сражавшимся за Афины и желавшим умереть только в Афинах, то Диоген с вызовом именовал себя гражданином мира — *космополитом* (греч. *κοσμο-πολίτης* — космополит, от *κόσμος* — мир, Вселенная и *πολίτης* — гражданин, земляк), способным жить в любом обществе, но по собственным законам.

Что могли предложить киники в качестве «собственного блага»? Только внутреннюю свободу от всего внешнего, общепринятого — национального, морального или культурного. Отсюда космополитизм киников, их цинизм и вульгарность. Справедливо считая, что внутренняя свобода есть единственное, что невозможно отнять у человека, киники добровольно и совершенно напрасно отвергают все остальные «общие блага», обрекая себя на жизнь нищих и юродивых. Поэтому, как справедливо говорит о киниках С. Аверинцев, «именно то положение человека, которое всегда считалось не только крайне бедственным, но и крайне унижительным, избирается ими как наилучшее: Диоген с удовольствием применяет к себе формулу страшного проклятия — “без общины, без дома, без отечества”».

А что могли киники взять за образец внутренней свободы? Только природу. Точнее, ближайший к человеку мир животных, еще точнее, «друга человека» — собаку. Собака определяла для киника и необходимый человеку минимум благ, и достаточный максимум ценностных критериев: «кто бросает кусок — тому виляю, кто не бросает — облаиваю, кто злой человек — кусаю». Так говорит Диоген о собаке и о себе. Собака демонстрировала кинику идеал искренних, не замутненных лестью, корыстью, фальшью, подлостью отношений, сохранившихся в мире первозданной природы и ставших почти невозможными в испорченном цивилизацией мире человека. Поэтому собака для киника есть идеал и внутренней свободы, и природной мудрости, простоты и чистоты, и целомудренной нравственности. Поэтому у киников во все времена оказалось много последователей — от древнеиндийских йогов и дервишей до современных хиппи.

Однако, провозгласив внутреннюю свободу единственным «собственным благом», киники встали на трудный и опасный путь, лишенный внешних ориентиров. Путь киника к истине похож на восхождение альпиниста к вершине: под ногами — крутой лед, перед глазами — пелена облаков. Только одно неверное движение отделяет альпиниста от падения. *Только один шаг отделяет киника от*

циника. Киник идет к истине по острому гребню — слева и справа пропасть, и только один шаг разделяет внутреннюю свободу киника от вседозволенности, собачью искренность киника от скотства, возвышенную мораль киника от бесстыдства и т. д. И как внутреннее чутье оберегает альпиниста от неверного движения, так и природная интуиция, чистая природная гармония ограждает античного киника от циника. Благодаря внутреннему чувству меры — важнейшему природному архетипу и основному эстетическому закону античности — *античный кинизм не выродился в цинизм*, чего нельзя сказать о современных последователях античных киников, сегодняшних выразителях «великого отказа», погрязших в тунеядстве, бродяжничестве, свободном сексе, наркомании. Вместе с деструктивной энергией, разрушающей многие ценности античного общества, античный кинизм нес в себе положительный заряд веры в духовные силы человека, идеалов свободы, равенства, справедливости, открытости к гармонии природы, что и уберегало античный кинизм от цинизма.

Поэтому кинизм опасен и хорош не как способ жизнеустройства, а как недостижимый идеал внутренней свободы, бичеватель порока, средство воспитания стойкости духа и крепости тела, способ обуздания низменных страстей и путь обретения душевного равновесия. «Практическая философия» кинизма, как и практический марксизм, хороша в теории — в качестве недостижимого идеала, а не руководства к действию. Поэтому Диоген хорош как воспитатель и достиг блестящих результатов в воспитании сыновей Ксениада. Поэтому философия кинизма нашла развитие в философии стоицизма — философии свободы от размягчающих тело и дух страстей, философии мужества и стойкости. Таким и остался в памяти поколений самый популярный киник Диоген — «освободитель человечества и враг страстей», «пророк правды и свободы слова».

Но если Диоген был врагом страстей и наслаждений, то сменивший его афинский властитель дум Эпикур провозгласил себя защитником наслаждений. И если девиз на воротах Академии Платона являлся устрашающе отталкивающим: «Негеометр — да не войдет», то надпись, украшавшая вход в «Сад Эпикура», была ласкающе влекущей: «Странник, здесь тебе будет хорошо: здесь наслаждение — высшее благо».



ЭПИКУР

(341—270 до н. э.)

Как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезней из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни души.

Если Диоген был врагом страстей и наслаждений, то сменивший его афинский властитель дум Эпикур провозгласил себя защитником наслаждений. И если девиз на вратах Академии Платона являлся устрашающе отталкивающим: «Негеометр — да не войдет», то надпись, украшавшая вход в «Сад Эпикура», была ласкающе влекущей: «Странник, здесь тебе будет хорошо: здесь наслаждение — высшее благо».

Справедливости ради следует сказать, что в гедонизме (от греч. *ἡδονή* — наслаждение) Эпикур не был оригинален. Впервые наслаждение как высшее благо провозгласил киренаик Аристипп, известный нам в качестве придворного философа Дионисия Младшего. Однако это никак не помогло Эпикуру, имя которого со временем окутала пелена насмешек и клеветы, объявившей Эпикура певцом чувственных наслаждений, обжорства и разврата. В XVI в. знаменитый реформатор церкви Мартин Лютер (1483—1546) высказал собственную точку зрения об Эпикуре, выражающую мнение общества того времени.

Кто Эпикуру брат родной
И хочет жить свинья свиньей,
Тот пусть забудет поскорей
Про Божий суд и про людей;
Пусть — как душа не вопиет —
На жизнь загробную плюет;

Пусть, не заботясь ни о ком,
Все норовит тащить в свой дом;
Пусть вечно пьет, рыгает, жрет
И испражняется, как скот!

Истинная причина жестоких нападков на Эпикура — в том числе и Лютера — заключалась не в провозглашении наслаждения высшим благом, а совсем в другом. Будучи атомистом, последователем Демокрита, Эпикур доказывал, что душа человека умирает вместе с телом, ибо состоит из атомов, точно так же, как и физическое тело. Поэтому установка философа находилась в вопиющем противоречии с христианским догматом о загробной жизни души, чего не могли простить Эпикуру пришедшие на передовые философские позиции христианские теологи. Поэтому античных философов, считавших душу бессмертной и прегрешивших только в том, что были язычниками, великий Данте в своей «Божественной комедии», по утвердившейся традиции, помещает лишь в преддверии Ада — Лимбе — светлом кольце, окружающем внутренние круги Ада:

Потом, взглянув на невысокий склон,
Я увидал: учитель тех, кто знает,
Семьей миролюбивой окружен.
К нему Сократ всех ближе восседает
И с ним Платон; весь сонм всеведца чтит;
Здесь тот, кто мир случайным полагает,
Философ знаменитый Демокрит;
Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором,
Зенон, и Эмпедокл, и Гераклит.

Данте. Ад. IV, 130—138

Из всех античных мудрецов исключение у Данте сделано только для несчастного Эпикура, который за теорию смертной души томится в шестом круге Ада:

Здесь кладбище для веривших когда-то,
Как Эпикур и все, кто вместе с ним,
Что души с плотью гибнут без возврата.

Данте. Ад. X, 13—15

Увы, в шестом круге Ада душа Эпикура пребывала почти два тысячелетия, и только в XX в. имя философа было освобождено от обвинений.

Эпикур родился в 341 г. до н. э., когда его отец Неокл переселился из Афин на остров Самос, поэтому местом рождения маль-

чика называют или предместье Афин Гаргетту, или далекий Самос. Неокл был военным поселенцем — клерухом; клерухами Самос начал заселять еще Перикл после подавления восстания 440 г. до н. э., когда самосцы пытались выйти из Делосского союза*. Военные поселения должны были усилить влияние Афин на дальних рубежах. Клерухам выделялся надел земли, однако, как писал о Самосе Апулей, «земля эта плохо родит хлеб, непригодна для плуга, более благоприятна для маслин, и ни виноградарь, ни огородник не тревожат ее». Чтобы как-то свести концы с концами — у Эпикура было еще трое братьев, — Неокл подрабатывал преподаванием, а его жена Хайрестрата читала по домам заклинания против злых духов. Эпикур с детства сопровождал родителей в их заработках, однако ремесло матери ему пришлось явно не по душе. Возможно, поэтому философ и стал завзятым атеистом.

Как утверждает эпикуреец Аполлотор, в 14 лет Эпикур сделал выбор в пользу философии «из презрения к учителям словесности, когда они не смогли объяснить ему, что значит слово “хаос” у Гесиода». Интересно, удовлетворили бы Эпикура современная теория динамического хаоса, причудливые лабиринты странных аттракторов, свидетельствующих о структурировании хаоса, или, скажем, знаменитая книга Ильи Пригожина «Порядок из хаоса»? Скорее всего нет, ибо и сегодня гесиодовский хаос оставляет у ученых больше вопросов, чем ответов. Но история с вопросом «Что есть хаос?» отрока Эпикура свидетельствует, сколь чутко юный ум может улавливать грандиозные научно-философские проблемы. Вопрос Эпикура еще раз напоминает о вечности философских проблем, неразрывной связи философии и естествознания. Сегодня в дифференциальных уравнениях современной теории самоорганизации словно оживают древние гесиодовские и еще более древние ведические откровения о рождении Порядка из Хаоса.

Все было Тьмой, все покрывал сначала
Глубокий мрак, был Океан без света.
Единая пустыньность без границ.
Зародыш, сокровенностью объятый,
Из внутреннего пламени возник.

К. Бальмонт. Изначальность

* Делосский союз — союз приморских городов и островов Эгейского моря, объединившихся в 478/477 г. до н. э. под главенством Афин. Возник в период греко-персидских войн (500—449). Распался в 404 г. до н. э. в связи с поражением Афин в Пелопоннесской войне.

Пробудившаяся страсть к философии приводит 18-летнего Эпикура в Афины. Шел 324 г. до н. э. — еще Аристотель учил мудрости в Ликее, еще верный ученик Платона Ксенократ стоял во главе Академии, еще был жив ученик Демокрита Навсифан, который якобы и стал учителем Эпикура. Правда, сам Эпикур называл себя самоучкой. Более того, как свидетельствует Диоген Лаэртский, обо всех философах афинской школы он отзывался в самых резких выражениях: «Этого Навсифана он называл слизнем, неучем, плутом и бабником; учеников Платона — Дионисиевыми лизоблюдами; самого Платона — златокованным мудрецом; Аристотеля — мотом, который пропил отцово добро и пошел наемничать и морочить людей; Протагора — дровоносом, Демокритовым писцом и деревенским грамотеем; Гераклита — мутителем воды; Демокрита — Пустокритом; Антидора — Вертидором; киников — бичом всей Эллады; диалектиков — вредителями; Пиррона — невеждой и невежей».

И хотя следующей строкой Диоген спохватывается: «Но все, кто это пишут, — не иначе как сумасшедшие. Муж этот (Эпикур. — *А. В.*) имеет достаточно свидетелей своего несравненного ко всем благорасположения...», нам представляется, что Эпикур имел основания для гиперкритического отношения к афинским философам. Мы не откроем Америки, предположив, что афинские мудрецы без лишней суетности встретили мальчишку из провинциального Самоса. А расположить к себе неприступных жрецов мысли, завоевать их доверие и расположение Эпикур просто не успел. Не прошло и года, как умер Александр Македонский, а еще через год регент Пердикка изгнал афинян с Самоса. Семье Неокла пришлось переселиться в малоазиатский город Колофон, куда поспешил и Эпикур, дабы помочь родителям обустроиться на новом месте. Пребывание Эпикура в Афинах стало скоротечным, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы разжечь творческую «злость» и поселить уверенность в собственных силах.

Приезд Эпикура в Колофон растянулся на 15 лет. Около десяти лет философ скитался по городам Малой Азии, зарабатывая на жизнь преподаванием в различных школах. Только в 32 года Эпикур смог основать собственную школу — сначала в Митиленах на острове Лесбос, затем в Лампсаке на берегу Геллеспонта. Имя Эпикура стало обретать известность в Ионии и Эолии — восточных провинциях Эллады, вокруг него начали группироваться единомышленники и друзья. Но жаждущему деятельности и славы философу этого не хватало. Он с вожделием вглядывался в противо-

положный берег Эгейского моря, туда, где в синей дымке горизонта были растворены Афины — философская столица Ойкумены.

Наконец в 306 г. до н. э. мечта Эпикура сбылась — 35-летний философ вместе с учениками, в том числе и тремя своими братьями, переселяется в Афины. Город Сократа, Платона и Аристотеля, атмосфера которого была пропитана философской мудростью, во второй и последний раз становится городом Эпикура, происходившего, кстати, из знатного, но обедневшего афинского рода. За 80 мин философ купил себе дом с садом, где и расположилась его школа. Отныне и навсегда на философской карте Афин наряду с Академией, Ликеем, Киносаргом появилась еще одна точка — Сад Эпикура. Учеников и последователей Эпикура стали называть «философами из Сада» или *эпикурейцами*. В Саду постоянно находился кто-то из близких друзей или верных учеников философа. Дух доброжелательства, любви к ближнему и умиротворенности, вполне соответствовавший девизу на воротах Сада, был разлит в тени его деревьев. Даже противники признавали, что число друзей Эпикура «не измерить и целыми городами» и что в Сад Эпикура постоянно стремились новые ученики, «прикованные к его учению словно песнями Сирен».

Противников у Эпикура также имелось великое множество. Дело в том, что почти одновременно с Эпикуром, около 300 г. до н. э., некто Зенон из Критона — полугреческой, полуфиникийской колонии на Кипре — основал в Афинах еще одну философскую школу. Ученики Зенона Критонского собирались в Расписной стое — портике, украшенном фресками живописца Полигнота (ок. 510 — ? до н. э.), отчего их и прозвали *стоиками* (от греч. *στόα* — портик). Стоики наследовали этику киников, хотя и облагородили ее признанием науки и культуры. Этическим идеалом стоиков был мудрец, свободный от страстей и влечений, живущий согласно разуму и в «любви к року», т. е. мужественно сносящий любые удары судьбы. Ригоризм стоиков (от лат. *rigor* — твердость) — строгое соблюдение ими исходных принципов поведения и морали — стал каноническим, а слово «стоик» сделалось синонимом стойкости и мужества.

Итак, эпикурейцы и стоики исповедовали прямо противоположную этику, поэтому неудивительно, что стоики испытывали отвращение к расслабленности и изнеженности эпикурейцев, а эпикурейцы с равным презрением относились к противоестественной суровости и аскетическим причудам стоиков. Однако обвинения против эпикурейцев находили в обществе большую поддержку, поскольку философия стоиков рисовала несбыточный идеал героя,

тогда как философия эпикурейцев была философией повседневной жизни. В христианскую эпоху стоическую критику эпикурейцев охотно подхватили церковные идеологи, поэтому фактически на протяжении всей истории философии учение Эпикура подвергалось сильным и злобным искажениям.

А пока стоики распространяли фальшивые письма, избличавшие Эпикура в связях со знаменитыми гетерами, пока бывший ученик философа Тимокрит уверял афинян, что «Эпикура дважды в день рвало с перекорму и будто сам он еле-еле сумел уклониться от ночной Эпикуровой философии и от посвящения во все его таинства» и что «в рассуждениях Эпикур был весьма невежествен, а в жизни — еще того более», эпикурейцы собирались в Саду и активно занимались философией. Густая листва Сада укрывала их от злобных улюлюканий стоиков, они спокойно восседали в этой тени и наслаждались прохладой, дружбой и мудрыми речами учителя. Как говорили в Малой Азии, собака лает, а караван идет.

Эпикурейцы действительно часто собирались по ночам, но не на пьяные оргии, а для наблюдений за звездами. Абсурдность клеветы стоиков вернее всяких разговоров доказывается тем, что Эпикур оставил огромное творческое наследие, сравняться с которым мог только Аристотель. По свидетельству Диогена Лаэртского, «писателем Эпикур был изобильнейшим и множеством книг своих превзошел всех: они составляют около 300 свитков. В них нет ни единой выписки со стороны, а всюду голос самого Эпикура». Здесь же Диоген отмечает, что только стоик Хрисипп (281/277—208/205 до н. э.), третий архонт школы стоиков, «из соперничества писал ровно столько же, а потому и повторяется часто, и писал что попало, и не проверял написанного, а выписок со стороны у него столько, что ими одними можно заполнить целые книги, как это бывает и у Зенона, и у Аристотеля». Становится ясно, что при образе жизни, который приписывали Эпикуру стоики, невозможно было сделать и десятой доли того, что сделал философ.

Тридцать пять лет — ровно половину жизни — Эпикур практически безвыездно прожил в Саду. Только два-три раза он ненадолго отлучался в Ионию навестить друзей. Все остальное время отдавалось философии: в стенах Сада шла спокойная каждодневная работа, которая, как известно, дает несравненно больший результат, нежели спонтанные, взрывоподобные наскоки на работу. В философской школе Эпикура отсутствовали крикливость и болезненные надрывы киников, сократовские шутство и бурлеск, платоновские элитарность и высокоумудрая замкнутость. То была нормаль-

ная школа нормальных людей, которые не собирались отречься от радостей жизни во имя философии, но которые и не мыслили полнокровной жизни без философии. Ибо, как гласит пятая заповедь Эпикура: «Нельзя жить сладко, не живя разумно, хорошо и праведно, и нельзя жить разумно, хорошо и праведно, не живя сладко».

Поскольку вторую половину жизни Эпикур прожил в Саду, его часто называли «садословом» (по-гречески κητολόγος — кепологос). Философ не искал лучшей жизни и разделил вместе с афинянами все тяготы, выпавшие на их долю: ожесточенную борьбу афинского демоса за восстановление демократии в Афинах, эпидемию чумы, охватившую Афины в 280 г. до н. э., нашествие варварских племен кельтов. В последние годы жизни мудрец был прикован к постели тяготившей его на протяжении многих лет «каменной болезнью». Перед смертью он созвал учеников и друзей, завещал им свой Сад, отпустил на свободу рабов и сделал распоряжения относительно собственных похорон. Затем, как рассказывает Гермипп, «он лег в медную ванну с горячей водой, попросил неразбавленного вина, выпил, пожелал друзьям не забывать его учений и так скончался».

— Счастливы будьте, друзья, и помните наши ученья! —
Так, умирая, сказал милым друзьям Эпикур,
В жаркую лег он купальню и чистым вином опьянился,
И через это вошел в вечно холодный аид.

Этими стихами Диоген Лаэртский заканчивает жизнеописание Эпикура. Жизнь и смерть Эпикура отличаются умиротворенным спокойствием, что еще раз свидетельствует о неразрывной связи жизни и учения любого мудреца.

Тот же Диоген приводит внушительный, хотя и неполный, список наиболее значительных произведений Эпикура. Это главное сочинение философа «О природе» в 37 книгах, «Об образе жизни» в 4 книгах, «Об атомах и пустоте», «О любви», «Сомнения», «Главные мысли», «О богах», «О благости», «Об углах в атомах», «О музыке», «О царской власти» и др. Как видим, спектр интересов мыслителя необычайно широк: от атомов до любви и от музыки до царской власти. Увы, из этого наследия практически ничего не сохранилось — скорее всего без участия стоиков и христианских теологов здесь не обошлось. Только Диоген Лаэртский сберег для потомков три письма Эпикура, в которых «кратко обзревается вся его философия», и так называемые «Главные мысли» — сборник из

40 афоризмов, отражающих этику Эпикура. Однако ровно через 2000 лет после смерти Эпикур неожиданно напомнил о себе.

В конце XVIII в. при раскопках Геркуланума, засыпанного пеплом Везувия в 79 г. н. э., археологи обнаружили богатейшую (около 1800 свитков) библиотеку эпикурейца Филодема. Сегодня, по прошествии более 200 лет после этого открытия, работа по восстановлению и расшифровке полуистлевших черно-серых лоскутов библиотеки еще не закончена. Но уже известно, что в свитках Геркуланума обнаружено драгоценное собрание эпикурейских текстов, в частности фрагменты 28-й книги Эпикура «О природе», значительная часть сочинений самого Филодема и др. В 1884 г. на одном из холмов древней Ликии французские археологи обнаружили надписи на камнях, из которых некогда была сложена стена крепости. Анализ надписей показал, что на них сохранились фрагменты из произведений эпикурейца Диогена из Эноанды, и сегодня эта находка известна как «эноандские камни». Наконец, в 1888 г. в библиотеке Ватикана была обнаружена рукопись, представляющая собой расширенную редакцию «Главных мыслей» Эпикура. «Ватиканское собрание изречений» содержит 81 афоризм Эпикура, а также изречения его учеников Метродора и Гермерха. Что нового из своих сочинений откроет нам еще Эпикур?

Но и сохранившихся рукописей философа вполне достаточно, чтобы питать философскую мысль вот уже третье тысячелетие. Следуя эллинистической традиции, мудрец разделяет свою философию на физику, или учение о бытии, канонику, или учение о познании, и этику, или учение о нравственности. В такой последовательности мы и познакомимся с философией Эпикура.

Эпикур — прямой продолжатель «линии Демокрита» в философии, атомист и последовательный материалист. Природа, по Эпикуру, существует объективно, независимо от человеческого сознания, и развивается по своим внутренним законам, не подчиняясь божественному провидению или человеческому произволу. Натурфилософия Эпикура основывается на следующих универсальных принципах: 1) *принцип сохранения материи*: ничто не возникает из ничего и ни во что не превращается; 2) *принцип атомарности*: тела либо атомарны, т. е. неделимы и неизменны, либо составлены из атомов; 3) *принцип абсолютности пространства*: Вселенная состоит из тел и пустоты; о существовании тел свидетельствуют ощущения, существование пустоты следует из движения, которое без пустоты невозможно; Вселенная безгранична и по величине пустого пространства, и по числу составляющих ее тел — как атомов, так

и соединений; число миров во Вселенной также бесконечно; 4) *принцип абсолютности времени*: Вселенная всегда была такой, какова она теперь, и всегда будет такой, ибо нет ничего, во что она могла бы перейти.

В этих основных первопринципах натурфилософская концепция Эпикура повторяет концепцию Демокрита. Но Эпикур внес в Демокритову атомистическую концепцию и ряд существенных дополнений.

Во-первых, к Демокритовым свойствам величины и формы атома Эпикур прибавил третье свойство — *вес атома*. Вес тела, точнее, удельный вес тела Эпикур напрямую связывал с весом составляющих его атомов. Таким образом, Эпикур совершенно верно предвосхитил идею атомного веса, точнее, атомной массы — фундаментального понятия современной физики и химии.

Под действием своего веса атомы Эпикура постоянно падали, но не по направлению к центру Земли, а «вниз» в некоем абсолютном смысле. Получалось нечто вроде «космического снегопада», в котором снежинки-атомы падают с одинаковой скоростью по параллельным траекториям. Поскольку в бесконечном пространстве понятие «верх-низ» не определено, то направление «космического снегопада» относительно, а само пространство сохраняет свойство абсолютности. Но при такой картине движения столкновение атомов невозможно, следовательно, невозможно и их соединение, образование новых веществ. Столь по-демокритовски жестко детерминированная картина мира Эпикура не устраивает, и он вводит случайные «отклонения» атомов от прямолинейных траекторий, которые и вносят элемент случайности и разнообразия.

Итак, *во-вторых*, Эпикур ограничивает детерминизм Демокрита, соединяя в картине мира необходимость и случайность. Интересно, что спор Демокрита и Эпикура о роли необходимости и случайности в картине мира через два с лишним тысячелетия возобновился в знаменитом споре Эйнштейна и Борна, в котором великий мыслитель XX в. утверждал: «Вы верите в Бога, играющего в кости, я — в полный закон и порядок в мире, который существует объективно и который я чисто умозрительным путем пытаюсь охватить». Что касается современной картины мира, которая примирила Эйнштейна и Борна и в которой случайные явления возмущают ровный фон детерминированных процессов, она очень похожа на «космический снегопад» Эпикура, когда мерное падение снежинок-атомов то здесь, то там завихряется случайными порывами неведомого «космического ветра».

В-третьих, Эпикур допускает принципиальную делимость атомов. Демокрит мыслил атомы как минимально возможные, а потому неделимые тела. Эпикур стал шире трактовать этот основной постулат Демокрита: атом неделим не по причине невозможности дальнейшего деления и не потому, что он является минимальным элементарным телом, а потому, что части атома соединены между собой столь «сильными» силами, что преодолеть их невозможно. Поразительно, но данный тезис Эпикура включает сразу два могучих предвидения: предвидение сложной структуры атома, которая не распутана и по сей день, и предвидение сильных ядерных взаимодействий — одного из четырех фундаментальных типов сил в природе, самых «сильных» сил, удерживающих атомное ядро как единое целое.

Но одно дело нарисовать образную картину мира или живописать сложную структуру атома, и совсем иное — отвлечься от ее «живописной вещественности», как говорил о модели Эпикура академик С. И. Вавилов, и представить эту картину или эту структуру в виде математических уравнений. Чтобы пройти данный путь, человечеству потребовалось более двух тысячелетий, но и сегодня правильнее говорить только о «*Математических началах натуральной философии*», как 300 лет назад озаглавил свой бессмертный труд Исаак Ньютон.

Мы опустим остальные нюансы в натурфилософских концепциях Демокрита и Эпикура, на которых и сегодня вполне можно защитить докторскую диссертацию, опустим также теорию познания Эпикура, в которой он предстает последовательным сенсуалистом, и перейдем к этике Эпикура. Для Эпикура натурфилософия и каноника не цель, а средство для изучения нравственности, ибо, *по Эпикуру, истинная цель философии есть достижение счастья.*

«Пусть никто не откладывает философии в юности, — призывает Эпикур, — и пусть не устает заниматься ею в старости: ведь никто не бывает ни незрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что еще не наступило время или уже прошло время для занятий философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени». Как же возможно с помощью философии обрести счастье? Знание философии природы, утверждает Эпикур, поможет человеку преодолеть в душе страх перед извечными вопросами, которые «производят в душе величайшее смятение», — это представления о богах, карающих человека, о смерти и загробных наказаниях, о душе человека и загробных скитаниях души и т. п.

Эпикур признает существование богов, и боги Эпикура традиционно бессмертны и блаженны, хотя и на особый манер. Поскольку боги Эпикура состоят из атомов, они подвержены разрушению и по сравнению с людьми скорее являются долгожителями. Блаженство богов Эпикура также весьма своеобразно: *«Существо блаженное и бессмертное ни само не имеет хлопот, ни другому не причиняет их, а поэтому не подвержено ни гневу, ни благоволению: все подобное свойственно слабым.* Такова первая главная мысль Эпикура.

Отстранив богов от управления земными делами, Эпикур, возможно, и избавляет человека от страха перед богами, но зато, возможно, и против своей воли, отбирает у богов их основную функцию, т. е. отрицает богов.

Последовательный материалист Эпикур считал душу материальной, состоящей из атомов, только более тонких и подвижных, чем атомы тела. Эпикур доказывал телесность души методом от противного. Поскольку пустота бестелесна, она не способна ни действовать, ни подвергаться воздействию, ибо всякое действие связано с движением атомов. Следовательно, если допустить, что душа бестелесна, она будет обладать свойствами пустоты, т. е. будет бездейственной, что противоречит существу души. Следовательно, душа телесна. Эпикур полагает, что душа, будучи материальной, чувствует с помощью тела и в согласии с телом, т. е. душа невозможна без тела. И наоборот, при удалении души из тела последнее теряет способность к действию, ибо сущность души состоит в движении атомов в теле, т. е. душа оживляет тело. Итак, тело и душа взаимоопределяют существование друг друга. Но если тело смертно, значит, смертна и душа.

Но если душа смертна, людям не нужно бояться загробной жизни души, наказаний души в «той» жизни за несправедную земную жизнь и т. д. Таким образом Эпикур приходит ко второй главной мысли: *«Смерть для нас ничто: что разложилось, то нечувствительно, а что нечувствительно, то для нас ничто».* Тезисом о бессилии смерти Эпикур пытается внести успокоение в людские души, снять с них тяжесть раздумий о неминуемой смерти, приблизив тем самым людей к счастью.

Итак, страх перед богами и смертью устранен. Эпикуру остается сделать только два шага для достижения счастья, и это-то и составляет цель эпикурейской философии. Счастье, по Эпикуру, есть ничем не омраченное удовольствие. Эпикурейская этика откровенно признается в том, что стремление к удовольствию столь же естественно для человека, сколь естественно и отвращение к страда-

нию. «Поэтому-то, — говорит Эпикур, — мы и называем удовольствие началом и концом счастливой жизни. Его мы познали как первое благо, прирожденное нам; с него начинаем мы всякий выбор и избегание; к нему возвращаемся мы, судя внутренним чувством, как мерилом, о всяком благе». Если на этом остановиться, тем более если прибавить еще некоторые высказывания Эпикура о наслаждениях, философа действительно легко упрекнуть в потворстве низменным страстям, в проповеди самого банального сластиюбия. Но Эпикур на этом не останавливается, а начинает анатомировать отнюдь не банальное понятие наслаждения.

Прежде всего Эпикур рассматривает антитезу «наслаждение — страдание» и устанавливает, что наслаждение и страдание находятся в обратно пропорциональной зависимости. Но тогда в пределе истинное наслаждение должно устранить любое страдание. Поэтому Эпикур приходит к третьей главной мысли: *«Предел величины наслаждений есть устранение всякой боли. Где есть наслаждение и пока оно есть, там нет ни боли, ни страдания, ни того и другого вместе»*. Получается, что страдание не только исключает наслаждение, будучи противоположным последнему, но и делает наслаждение необходимым, ибо наслаждение есть способ устранения страдания.

Итак, к наслаждению необходимо стремиться, ибо оно снимает страдания и ведет человека к счастью. Но как понимать самое наслаждение? Здесь ключ к этике Эпикура, от этого понимания зависит, будет ли эпикурейская этика высокой или низкой. Именно в данном положении мысль Эпикура делает ряд неожиданных поворотов, выводя «этику наслаждений» на путь высокой нравственности.

Эпикур еще раз возвращается к соотношению наслаждения и страдания, боли и рассматривает данное отношение под новым углом зрения. *«Непрерывная боль для плоти недолговременна. В наивысшей степени она длится кратчайшее время; в степени, лишь превышающей телесные наслаждения, — немногие дни; а затяжные немощи доставляют плоти больше наслаждения, чем боли»*. Такова четвертая главная мысль Эпикура. Но ведь это уже чистый стоицизм! Эпикур призывает видеть в «затяжных немощах», которые неотвратимо могут обрушиться на каждого из нас, наслаждение. Следовательно, счастье оказывается достижимым даже для тех, кому судьба сниспошлет продолжительную болезнь. Но данное мнение — не что иное, как призыв к стойкости духа. Таким образом, «безнравственный» эпикуреизм смыкается с «высоконравственным» стоицизмом.

Четыре главные мысли Эпикура: 1) боги не страшны; 2) смерть не страшна; 3) страдание устранимо; 4) наслаждение достижимо (даже через боль) — являлись, по нашему мнению, ключом к эпикурейской этике, важнейшим и первоочередным алгоритмом, ведущим человека к счастью. Сам Эпикур назвал данную систему правил «тетра-фармакон» или «четверолекарствие». Но четыре заповеди четверолекарствия только открывали эпикурейский анализ наслаждения. Пятая заповедь, как мы уже знаем, фактически ставила знак равенства между наслаждением и разумом. После пятой главной мысли этика Эпикура становится рациональной — разум объявляется важнейшим рычагом в выборе и соразмерении наслаждений.

И Эпикур переходит к рациональному анализу наслаждений. Он классифицирует человеческие потребности: делит их на необходимые и естественные, необходимые, в свою очередь, — на жизненно необходимые и необходимые «для счастья» или «для спокойствия тела». Таким образом, Эпикур стремится выделить некий естественный уровень потребностей — то, без чего человеку прожить нельзя, и то, отчего ему следует воздерживаться. Опуститься ниже естественного уровня потребностей — значит вставать на путь кинического безумствования, превышать этот уровень — значит погрязнуть в чувственной безнравственности, наконец, отрицать его существование — значит впадать в стоическое лицемерие.

Теперь Эпикур приходит к своей основной максиме: *безмерное наслаждение вредно и безнравственно*. Проповедуя нетерпимость к излишествам, умеренность в чувственных наслаждениях, Эпикур не жалеет красок и аргументов. В ход идут и рассуждения о том, что простая пища полезнее изысканной, и проповедь терпимости к страданиям, «когда приходит для нас большее удовольствие, после того как мы вытерпим страдания в течение долгого времени», и объяснение преимуществ здорового образа жизни. «Итак, — подводит итог Эпикур, — когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые, не знающие, или не соглашающиеся, или неправильно понимающие, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения мальчиками и женщинами, не наслаждения рыбою и всеми прочими яствами, которые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, ис-

следующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее [лживые] мнения, которые производят в душе величайшее смятение. Начало всего этого и величайшее благо есть благоразумие. Поэтому благоразумие дороже даже философии».

Вполне очевидно, что у оппонентов Эпикура, которые взяли бы на себя труд дойти хотя бы до этого места его этики, вряд ли хватило бы смелости бросать философу упреки в проповеди излишеств и чувственных наслаждений. Тем не менее и сегодня можно услышать критику эпикурейской этики с самых неожиданных сторон. Б. Рассел, например, в своей «Истории западной философии» пишет: «То была философия болезненного человека, предназначенная для того, чтобы соответствовать миру, в котором рискованное счастье стало вряд ли возможным. Ешьте мало — из боязни несварения; пейте мало — из боязни похмелья; сторонитесь политики и любви и всех действий, связанных с сильными страстями; не ставьте свою судьбу на карту, вступая в брак и рождая детей; в интеллектуальной жизни учитесь больше созерцать удовольствия, чем страдание. Физическое страдание, без сомнения, зло, но если оно остро, то оно коротко, а если длительно, то его можно переносить с помощью умственной дисциплины и привычки думать о приятных вещах, невзирая на эту боль. А главное — живите так, чтобы избежать страха».

Конечно, можно назвать этику Эпикура философией болезненного человека, тем более что Эпикур в действительности был тяжело болен. Но именно больной человек острее других ощущает счастье быть здоровым, и именно больной человек может дать мудрые рецепты, как избежать собственной горькой участи. Не зря же у древних греков существовал обычай, когда больные собирались на агоре и давали друг другу советы по исцелению. Поэтому философия Эпикура — скорее философия здорового образа жизни.

А болезненным скорее было время, в которое жил и творил Эпикур — время развала империи Александра Великого, время упадка, индивидуализма и космополитизма. Отсюда общий и для эпикурейцев, и для стоиков идеал мудреца, достигшего «атараксии» (греч. ἀταραξία — невозмутимость) путем самоустранения от общественной и государственной жизни и самовоспитания. Отсюда и проповедь «аскезы» (греч. ἀσκησις — упражнение) — упражнений тела и духа, которая еще не достигла христианского умерщвления плоти, но подготовила почву для христианского аскетизма. Отсюда и лучшее, что мог предложить «врачеватель душ» философ своим пациентам, — знаменитая Эпикурова формула «живи неза-

метно», ставшая едва ли не ведущей заповедью для эллинистического сознания.

Эпикуреизм как философское течение от Эллады унаследовал Рим, и просуществовал он до VI в. н. э., вплоть до самого конца античности. В эпоху Римской империи эпикуреизм был, к сожалению, извращен праздной верхушкой римского общества. Лжеэпикуреизм имел в этой среде необычайную популярность, хотя от философии Эпикура не осталось здесь ничего, кроме призыва к бесстыдным наслаждениям. Но были у Эпикура и истинные последователи, среди которых самым выдающимся являлся римский поэт и философ Тит Лукреций Кар (ок. 99—55 до н. э.), современник Юлия Цезаря. Бессмертная поэма Лукреция «О природе вещей» — настоящая энциклопедия эпикуреизма, непревзойденный образец синтеза науки и искусства — философии и поэзии. Именно Лукрецию мы обязаны большинством наших знаний о философии Эпикура. Сам Лукреций настолько верно следовал формуле учителя «живи незаметно», что о нем самом мы буквально ничего не знаем — даже имя Лукреция доподлинно не известно.

Поэма Лукреция «О природе вещей» сохранилась полностью. Но сколь труден оказался ее путь к читателю! Сразу после ее создания, во время правления императора Августа (63 до н. э. — 14 н. э.), возродившего старую религию и древние традиции, атеистическая поэма Лукреция стала непопулярной и попала в разряд полузабытых. В эпоху средневековья сохранившиеся списки поэмы беспощадно уничтожались. Только один — последний — манускрипт поэмы чудом пережил средние века и был обнаружен уже в эпоху Возрождения. Однако постановлением Парижского парламента от 4 сентября 1626 г. распространение атеистического учения Эпикура — Лукреция было запрещено под угрозой смертной казни. И все-таки поэма Лукреция выжила, и выжила невредимой! В XX в. академическое издание поэмы Лукреция на немецком языке вышло с предисловием Альберта Эйнштейна, а на русском — с комментариями Сергея Вавилова.

Лукреций — духовное детище Эпикура. Поэт и не скрывает этого, напротив, на протяжении поэмы он без устали прославляет родоначальника своей философской школы:

Ты, из потемок таких дерзнувший впервые воздвигнуть
Столь ослепительный свет, озаряющий жизни богатства,
Греции слава и честь! За тобою я следую ныне,
И по твоим я стопам направляю шаги мои твердо.
Не состязаться с тобой я хочу, но, любовью объятый,
Жажду тебе подражать: разве ласточка станет тягаться

С лебедем? Или козлят дрожащие ноги способны
С резвою силой коня быстролетного в беге равняться?
Отче! Ты сущность вещей постиг. Ты отчески роду
Нашему ныне даешь наставленья, и мы из писаний,
Славный, твоих, наподобие пчел, по лугам цветоносным
Всюду собирающих мед, поглощаем слова золотые,
Да, золотые, навек достойные жизни бессмертной!

А теперь из III — I вв. до н. э. нам предстоит перенестись в V—VI вв. н. э. Две причины побуждают нас совершить столь стремительный скачок через столетия. Во-первых, сама форма изложения — «венки мудрости», или «венки сонетов» в прозе, который должен содержать строго 14 глав об античных мудрецах. Во-вторых, мы вплотную приблизились в своем изложении к эпохе упадка античной философии. Правда, в этот период духовный потенциал античной мудрости оказался столь велик, что угасание ее растянулось на восемь столетий. Столь яркая личность, как Пифагор — человек-фантом и человек-легенда, бунтари и мятежники духа Гераклит и Диоген Синопский, гордый герой Зенон Элейский, титаны мысли Демокрит, Платон и Аристотель, подвижник Сократ, принявший казнь во имя философии, — все они остались в прошлом, и на смену им не пришел никто.

Последней звездой на блекнушем небосводе античной мудрости стал «последний римлянин» Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (ок. 480 — ок. 524 н. э.), который был аристотеликом, стоиком, неоплатоником и... христианином.



БОЭЦИЙ

(ок. 480 — ок. 524 н. э.)

И когда я устремил глаза на нее и сосредоточил внимание, то узнал кормилицу мою — Философию, под чьим пристмотром находился с юношеских лет.

Последней звездой на блекнущем небосводе античной мудрости стал «последний римлянин» Аниций Манлий Торкват Северин Боэций, который был аристотеликом, стоиком, неоплатоником и... христианином.

«Кто же такой Боэций? Не тот ли, кто столь опытен в диалектике и столь тонок в математике? И не тот ли, кто столь же убедителен в философии, сколь и возвышен в теологии?» В риторическом вопросе итальянского поэта-гуманиста Анджело Полициано (1454—1494) содержится уже и ответ — признание несомненного авторитета Боэция как ученого, философа, теолога и просветителя. Даже эпоха Возрождения, объявившая непримиримый бой средневековой схоластике и один за другим ниспровергавшая ее авторитеты, сделала исключение для «отца схоластики» Боэция в знак признания его выдающейся роли в спасении великого античного наследия. Недаром Боэций у предтечи Возрождения — божественного Данте, в отличие от античных предшественников, «в дворце небес» наслаждается сиянием Рая:

Узрев все благо, радуется там
Безгрешный дух, который лживость мира
Являет внявшему его словам.
Плоть, из которой он был изгнан, сиром
Лежит в Чельдоро; сам же он из мук
И заточенья принят в царство мира.

Данте. Рай, X, 124—129

Излишне говорить о тысячелетней эпохе средневековья, когда Боэция называли не иначе как латинским Аристотелем и Учителем. И недаром, поскольку книги Боэция «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке» более 1000 лет оставались основными учебниками в средневековых высших школах и университетах. По «Наставлению к музыке» студенты Оксфордского университета обучались даже в XVIII в.! 1300 лет для учебника — непобиваемый рекорд педагогического долголетия! Так кто же он такой, «последний римлянин» Боэций?

Формально Боэций отнюдь не «последний римлянин», а первый философ средневековья. Боэций родился приблизительно через четыре года после 476 г. н. э. — года, который принято считать хронологической границей между античностью и средневековьем. Но историю трудно, а человеческую жизнь просто невозможно втиснуть в жесткие рамки хронологии. Мировая история, по существу, есть история того, как одни страны вырываются вперед в своем материальном и духовном развитии, а другие — скатываются назад. То же можно сказать и о незаурядных личностях: одни из них «опережают свое время», а другие — отстают от него.

Однако не зря же сказал поэт Федор Тютчев:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Боэций жил на стыке эпох, когда уходила в вечность одна тысячелетняя эпоха, а ей на смену приходила другая. В это время происходила невиданная ломка человеческого сознания и человеческого общества, людьми овладевали смятение духа, состояние растерянности и бессилия.

Это время оказалось роковым для некогда могучего Рима. Еще в 395 г. гигантский монолит великой Римской империи раскололся на две части — Западную и Восточную. В следующем, V в. обе половины Римской империи содрогались от мощных ударов варварских нашествий. Но основная тяжесть варварской агрессии пришлось на долю Западной империи. Она трещала под натиском варваров и разваливалась на части: племена англов вторглись в Британию, в результате чего последняя превратилась в Англию; франки завоевали Галлию, которая стала Францией; вандалы покорили Испанию, назвав ее Андалузией, и через Геркулесовы столбы захлестнули север Африки. В 410 г. король вестготов Аларих I взял Вечный город, ворота которого открыли рабы, и подверг его трехдневному ужасающему разграблению. Рим был деморализован и от этого удара оправиться уже не смог. В 452 г. войско гуннов под

предводительством Атиллы подошло к Риму, но ограничилось выкупом. От штурма Атиллу якобы отговорил папа римский Лев I Великий, указав на Алариха, умершего вскоре после разграбления Рима. Атилла послушался Божьего избранника, но на следующий год все равно умер, — очевидно, его настигла Божья кара за одно только посягательство на Вечный город.

Однако участь Алариха и Атиллы не остановила новые толпы варваров. В 476 г. вождь германского племени скиров, он же предводитель римских наемников, Одоакр сверг последнего императора Западной Римской империи — малолетнего тщедушного Ромула Августа. По иронии судьбы последний император Западной Римской империи носил имена основателя Вечного города Ромула и первого римского императора Августа. Дряхлый Рим умер тихо и бескровно: мальчика-императора без лишнего шума сослали в Неаполь, где он и угас на вилле полководца Лукуллы, некогда известного не столько громкими победами, сколько шумными пирами. Год гибели Западной Римской империи — 476 — принято считать последним годом античности.

Не успел Одоакр насладиться императорскими покаями — на императорские лавры он и не претендовал, — как новое войско остготов, возглавляемое королем Теодорихом, двинулось на его столицу Равенну. Бывший римский наемник Одоакр сумел грамотно организовать оборону по всем правилам римского военного искусства. Упорная и кровопролитная битва завязалась у города Вероны, где Теодорих проявил незаурядное личное мужество. Но пала Верона, пал Милан, пала и изнуренная долгой осадой Равенна. В конце концов оба варвара заключили перемирие, которое отметили многодневным пиром. Пир начался с пьяных объятий бывших врагов и клятвенных заверений в вечной дружбе, а закончился вероломным убийством доверчивого Одоакра. Таким образом, в 493 г., когда Боэций был отроком, в самом сердце бывшей Римской империи образовалось Остготское королевство во главе с королем Теодорихом.

Варвар Теодорих оказался мудрым правителем. Он опирался на достижения древней римской культуры, включая государственное устройство и отточенное римское право, и умело сочетал это с силой и молодым напором остготов. Готско-римский синтез Теодориха оказался столь плодотворным, что сегодня историки говорят о «теодорианском» или «остготском» возрождении. Как и в лучшие времена империи, при Теодорихе все так же торжественно заседал сенат, где верховодила римско-италийская знать; заметно

оживились сельское хозяйство, ремесла и торговля; столица Равенна украсилась новыми великолепными базиликами с изумительными мозаиками — шедеврами раннехристианского искусства; на городских площадях, как и во времена Рима, устраивалась общественная раздача мяса и хлеба, а заброшенные амфитеатры вновь стали собирать публику для зрелищ. И все-таки искусственный готско-римский альянс не мог быть долговечным.

Барвар Теодорих исповедовал христианство в еретическом арианском толковании, отрицавшем равенство трех ипостасей Троицы. Римляне, напротив, были ортодоксальными тринитариями, чтившими Троицу и, в свою очередь, имевшими ряд догматических и обрядовых разногласий с византийской церковью. Пришедший к власти в 518 г. император Восточной Римской империи Юстин начал предпринимать решительные шаги к сближению Константинополя и Рима, а следовательно, и византийского патриархата и римского папства. Между византийским императорским двором и римским сенатом, византийской и римской церквями начался интенсивный обмен посольствами.

В ходе предпринятых мер по сближению двух церквей Юстин в 523 г. объявил арианство вне закона, чем привел в ярость остготского короля Теодориха, поскольку все италийские тринитарии указом Юстина ставились против своего фактического владыки. В намечавшихся контактах между Константинополем и Римом Теодорих увидел заговор против себя. По остготскому королевству прокатилась волна репрессий. Верхушка правительства Теодориха была сметена. Казнен был магистр оффиций — первый министр королевства — Боэций. Казнен был принцепс — глава сената Симмах, тесть Боэция. Таинственная смерть постигла их друга папу Иоанна I.

И вновь провидение отомстило варварам за гибель знатных римлян. По свидетельству византийского историка Прокопия, не прошло и года после казни Боэция и Симмаха, как во время трапезы Теодорих принял голову поданной на блюде огромной рыбы за голову Симмаха. Дикий ужас обуял остготского короля. Он удалился в свои покои, занемог и вскорости умер. Говорят, перед смертью он покаялся в казни Боэция и Симмаха. Шел 526 год. А через тридцать лет, в 555 г., император Восточной Римской империи знаменитый Юстиниан I положил конец Остготскому королевству. Таким образом закончилась последняя кратковременная попытка объединения Римской империи — последняя попытка вернуть античность в средневековье.

Сам же Теодорих по прошествии полутора тысяч лет известен более не как остготский король, а как герой германского средневекового эпоса «Песнь о Нибелунгах», где он выведен под именем Дитриха Бернского (Берном остготы называли Верону, принесшую Теодориху военную славу):

Бесстрашный Дитрих начал скликать своих бойцов.
Его могучий, звонкий, как звуки рога, зов
Разнесся над толпою и огласил дворец.
Безмерной силой наделен был бернский удалец.

Но вернемся к «последнему римлянину». Аниций Манлий Торкват Северин Боэций происходил от двух знаменитых римских родов — Анициев и Манлиев, давших Риму целую плеяду выдающихся полководцев и государственных деятелей, среди которых было много консулов и сенаторов, два императора и даже один папа. Как сообщали об Анициях хроники, «со времен Диоклетиана и вплоть до окончательного разрушения Западной империи блеск этого имени не уступал в мнении народа блеску императорского достоинства». Отец философа, также Боэций, был консулом при Одоакре, а его дед громил гуннов на Каталаунских полях бок о бок с прославленным Аэцием* и вместе с ним пал от руки наемного убийцы.

Еще в детстве Боэций лишился отца и был усыновлен Квинтом Аврелием Меммихом Симмахом, консулом, главой сената и префектом Рима, образованнейшим и благороднейшим человеком. Симмах дал приемному сыну достойное воспитание и блестящее образование. Впоследствии приемный отец стал для Боэция и тестем: Боэций женился на дочери Симмаха Рустичиане, которая родила ему двух сыновей — Боэция и Симмаха. До конца дней «последний римлянин» сохранил благодарную любовь и глубочайшее уважение к Симмаху и перед казнью писал о нем как о муже, «чьи деяния служат величайшему украшению человеческого рода».

Биографы Боэция неоднократно высказывали предположение, что столь блистательное образование можно было получить только в философских школах Афин или Александрии. Однако скорее всего Боэций учился в лучших школах Рима или Равенны. Главным источником широчайших его познаний служила домашняя библиотека Симмаха, о которой философ с безутешной тоской

* Аэций Флавий (ок. 390—454) — полководец Западной Римской империи. В битве при Каталаунских полях (451) одержал победу над гуннами, предводительствуемыми Атиллой. Убит императором Валентинианом III.

вспоминал перед казнью. Философы Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека, Плотин, Порфирий, Прокл, Ямвлих, Августин; математики Евклид, Архимед, Птолемей, Никомах, Аполлоний; поэты Гомер, Софокл, Еврипид, Вергилий, Овидий, Ювенал — вот истинные учителя Боэция в философии, науках и искусствах.

Обладея широчайшей эрудицией и недюжинным талантом, Боэций рано встал на поэтическую и философскую стезю и рано добился признания и славы. Едва разменяв третий десяток лет, Боэций составил цикл трактатов по квадривиуму — арифметике, геометрии, музыке и астрономии, отличавшийся точностью формулировок и чистой, не тронутой варваризмами латынью. Два из этих трактатов — «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке» — сохранились до наших дней и являются бесценными энциклопедиями по античной математике и теории музыки. Об уникальной роли боэциевского квадривиума в средневековом образовании мы уже говорили.

К тридцати годам Боэций становится недосягаемым авторитетом в философии и науках. Слава о Боэции, как о человеке глубоко и всесторонне образованном, философе и поэте, сделавшем доступными для латинян творения великих мудрецов Эллады, облетела не только узкие круги просвещенных римлян, но и достигла покоев остготского короля Теодориха. Именно к Боэцию обращается Теодорих с просьбой сделать для бургундского короля Гундобальда водяные часы — клепсидру: «Ты передал потомкам Ромула все лучшее, что даровали миру наследники Кекропса*. Благодаря твоим переводам музыкант Пифагор и астроном Птолемей читаются на языке италийцев; арифметик Никомах и геометр Евклид воспринимаются на авзонийском наречии; теолог Платон и логик Аристотель рассуждают между собой на языке Квирина**. Да и механика Архимеда ты вернул сицилийцам в латинском облиции... Всех их ты сделал ясными посредством подходящих слов, понятными — посредством точной речи, так что если они могли сравнить свои творения с твоими, то, возможно, предпочли бы твое».

Разумеется, варвар Теодорих не сам составлял столь красноречивые послания. Автором их был начальник королевской канце-

* Древнеаттическое божество земли Кекропс считался основателем двенадцати городов Аттики, в том числе и Афин. Согласно мифам, Кекропс был первым царем Афин, а афинян часто называли кекропидами.

** К в и р и н — один из древнейших богов Италии, в пантеоне римских богов занимавший третье место после Юпитера и Марса.

лярии Флавий Магн Аврелий Кассиодор (ок. 490 — после 585). Хитроумный придворный и незаурядный дипломат, Кассиодор с юношеских лет пользовался неограниченным доверием Теодориха. Он пережил всех остготских королей, а когда на Равенну наступал Юстиниан, вовремя удалился со двора и благодаря этому пережил Остготское королевство более чем на четверть века. В своем поместье на юге Италии Кассиодор основал монастырь «Вивариум», ставший первым средневековым центром по переписке древних книг. Прожив почти до ста лет в ясном уме и добром здравии, Кассиодор оставил уникальное собрание королевских посланий, рескриптов и собственных заметок, объединенных в сборнике «Varial».

Кассиодор сменил казненного Боэция на посту магистра официий. Одного данного факта, разумеется, недостаточно, чтобы предъявить Кассиодору тяжкое обвинение в причастности к казни философа. Письменные свидетельства, уличающие Кассиодора, отсутствуют, что, впрочем, и неудивительно, учитывая исключительную хитрость царедворца. Но Кассиодор был идеологом прототски настроенных римско-италийских кругов, приведших Боэция к плахе, он не мог не знать о готовящейся над философом расправе, следовательно, по крайней мере молчаливо содействовал его гибели.

Будь Боэций только кабинетным ученым, его, конечно, миновали бы придворные интриги. Но потомок выдающихся римских государственных мужей не мыслил своей жизни в тиши домашней библиотеки. Он рано стал сенатором, а к тридцати годам, в 510 г., — консулом. Затем, как полагают биографы, несколько лет Боэций был комитом священных щедрот Остготского королевства — нечто вроде министра финансов. Бесконечные хлопоты по урегулированию королевских финансов, содержанию армии, распределению продовольствия, натуральному обмену постоянно отвлекали Боэция от научных занятий. Но тем и отличается талантливый человек — его всегда хватает на все, что ему интересно.

Состояние повседневной издерганности, урывочности и заганности, знакомое каждому, кто сочетает творческую и общественную деятельность, хорошо передал коллега Боэция Кассиодор, также метавшийся между писательским и канцелярским столами: «Только начну какое-нибудь дело, оно прерывается криками и его приходится доделывать в спешке, так что начатое не может быть закончено с надлежащей осмотрительностью: один торопит меня частыми и недоброжелательными возражениями, другой терзает разговорами о своих тяжких бедствиях, а некоторые осаждают яростны-

ми распрями и раздорами. Как вы можете при таких условиях требовать красноречивых посланий, если я едва успеваю подобрать нужные слова? Ведь даже по ночам одолевают меня неотступные заботы о том, будет ли доставлено в город продовольствие, что в первую очередь требуется народу, радеющему более о своем желудке, нежели об услаждении слуха; потому-то я и вынужден перебирать в уме все провинции и всюду расследовать неполадки, ибо недостаточно повелеть воинам, указав, что они должны делать, если за исполнением приказа не следит бдительный судья». Но Боэций был молод, талантлив и тщеславен, поэтому не боялся трудностей и легко преодолевал их.

В 522 г. в возрасте акме Боэций достигает высшей ступени королевской служебной лестницы — он становится «магистром всех служб», т. е. премьер-министром. Одновременно оба несовершеннолетних сына Боэция назначаются консулами, что было редкостью даже во времена королевского всевластия. У стен городской курии при огромном стечении народа преданный магистр официий и благодарный отец произносит хвалебную речь в честь короля Теодориха. По завершении торжественной церемонии первый министр с сыновьями-консулами, в окружении патрициев и придворных прошествовали по улицам Равенны. Толпы народа приветствовали нового главу правительства, а виновник торжества «вознаграждал ожидания толпы с триумфальной щедростью». Боэций находился на вершине счастья, которое уготовила ему судьба.

А через два года колесо Фортуны Боэция — эта хохочущая беспечница с завязанными глазами — покатило в обратную сторону. Началом послужил донос на близкого к Боэцию влиятельного сенатора, экс-консула Альбина. Королевский референдарий Киприан — главный осведомитель двора — обвинил Альбина в тайной переписке с императором Восточной Римской империи Юстином, что было не только оскорбительным, но и опасным для остготского короля и квалифицировалось как тягчайшее преступление. Дело передали в суд «священного консистория», который состоялся в Вероне — второй резиденции Теодориха — в присутствии короля и сената. Скорее всего Теодорих решил воспользоваться случаем, чтобы избавиться от неугодной ему группы аристократов в сенате.

Спешно прибывший в Верону Боэций выступил с решительной поддержкой Альбина, заявив: «Свидетельство Киприана ложно. Но если Альбин так сделал, то и я, и весь сенат единодушно так сделали. Но это ложь, великий государь!» Боэций сделал смелый шаг честного человека, но его дерзость и молчаливая поддержка се-

натом только укрепили подозрения Теодориха. А услужливый Киприан после недолгих колебаний обвинил в заговоре и самого магистра оффиций. За жлесвидетелями дело не стало. Боэций был арестован и препровожден в тюрьму в местечко Кальвенциано под Павией. Здесь он находился вплоть до казни.

Суд над Боэцием проходил в отсутствие обвиняемого и, как всегда в подобных случаях, явился отрететированным и откровенным фарсом. Продажный сенат, вначале молчаливо сочувствовавший Боэцию и Альбину, увидев нависшую над ним угрозу, предал заступника и вынес ему смертный приговор. Единственным защитником Боэция выступил его приемный отец и тесть Симмах. Но судьба магистра оффиций была уже предрешена, а Симмаху вскоре припомнили его дерзость: он был арестован и умер мученической смертью. Характерно, что в числе прочих обвинений Боэцию предъявили и ставшее стандартным для философа обвинение в оскорблении святынь, которое предъявляли 1000 лет назад Анаксагору, Протагору, Сократу и Аристотелю. Колесо истории катилось по накатанному кругу, и новое в ней являлось хорошо забытым старым.

Обстоятельства казни Боэция неизвестны. Неизвестна и точная дата трагедии: ее относят к концу 524 — началу 525 г. и даже к 526 г. Некий аноним Валуа сообщает, что казни Боэция предшествовали тяжелые пытки. Нетрудно вообразить, что остготским варварам и их римским прислужникам хватило решительности и изощренности, чтобы сделать казнь устрашающей. Согласно преданию, прах Боэция сначала покоился рядом с местом его заточения у церкви Святого Павла, а в 721 г. по приказу лангобардского короля Лиутпранда был перенесен в собор Чельдоро в Павии, что и засвидетельствовал через 600 лет в «Божественной комедии» Данте.

Тюремный каземат не сломил воли Боэция. Напротив, впервые за многие годы государственной сутолоки, мельтешения сотен лиц и сотен неотложных дел философ ощутил желанную возможность уединенного размышления, прерываемого только подачей тюремной пищи. В ожидании казни Боэций создает труд, обесмертивший его имя, — знаменитое «Утешение философией», — небольшую книжечку в сто страниц, ставшую самой популярной книгой эпохи средневековья и названную «золотой книгой». «Утешение философией» открывает список произведений, вознесшихся к вечности сквозь тюремные застенки. За полтора тысячелетия — увы! — к ней присоединится еще не один десяток книг,

созданных нестигаемыми людьми в нечеловеческих условиях, — от «Города Солнца» Томмазо Кампанеллы (1602) до «Истории развития мирового земледелия» Николая Вавилова (1941—1942).

Книга, написанная перед казнью, не может не являться последней исповедью автора. «Утешение философией» — итоговый труд Боэция: это итог и философских раздумий, и поэтических опытов, и логических построений, и научных изысканий, и политической деятельности. Автор не просит о помиловании ни земного владыку Теодориха, ни царя небесного. Автор исповедуется в том, что составляло смысл его жизни, — а смыслом его жизни была Философия. Все, о чем раздумывал магистр оффиций в редкие часы отдохновения, на что искал ответы на протяжении прожитой жизни, встает перед ним с небывалой остротой, взвешивается, пересматривается и подвергается последнему осмыслению.

В последней книге Боэций хочет сказать обо всем всеми доступными ему средствами. Здесь и поэзия, причем поэзия всевозможных стихотворных метров — их на ста страницах «Утешения» около тридцати. Здесь и проза самого разнообразного слога и жанра: первая книга «Утешения» представляет собой исповедь, вторая более походит на диатрибу — желчную речь моралистического характера, третья книга есть сократический диалог, четвертая и пятая — теоретический философский трактат в духе неоплатоников. В целом «Утешение» написано в редкой форме сатуры (лат. *satura* — смесь) — своеобразном чередовании стихов и прозы. Проза, в свою очередь, есть диалог между ожидающим казни узником Боэцием и бессмертной независимой богиней Философией.

В сумраке тюремного каземата Боэцию, окруженному сонмом муз, которые, однако, «не облегчают его страдания целебными средствами, но, напротив, питают его сладкой отравой», внезапно «явилась женщина с ликом, исполненным достоинства, и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой; хотя была она во цвете лет, никак не верилось, чтобы она принадлежала к нашему веку. Трудно было определить и ее рост. Ибо казалось, что в одно и то же время она и не превышала обычной человеческой меры, и теменем касалась неба, а если бы она подняла голову повыше, то вторглась бы в самое небо и стала бы невидимой для взирающих на нее людей. Она была облачена в одежды из нетленной ткани, с изощренным искусством сплетенной из тончайших нитей, их, как позже я узнал, она соткала собственными руками. На них, как на потемневших картинах, лежал на-

лет забытой старины», — заключенному явилась истинная утешительница и подруга — Философия.

Чуткая наставница Философия, которой узник доверяет все свои горести и сомнения, факелом знания освещает Боэцию пути познания, по которым, «словно пьяные», бредут души в поисках истины. Философия помогает Боэцию не столько утешиться в его личной трагедии, сколько соотнести ее с безбрежностью мироздания и бездонностью мысли, на фоне которых личная трагедия узника выглядит пренебрежимо малой. «Понимаешь ли ты, — упрекает магистра оффиций Философия, — в сколь тесных границах заключена слава, для укрепления и распространения которой вы прилагаете столько трудов».

Но границы земной славы, достижению которой опальный слуга Теодориха отдал столько усилий, ничтожны не только в пространстве, но и во времени. «Если же ты эти притязания сравнишь с бесконечной протяженностью вечности, будут ли у тебя основания радоваться долговечности своего имени?» — спрашивает узника Философия. Ответ наставницы очевиден в самом тоне вопроса — «конечное можно сравнивать только с конечным», следовательно, любая земная слава ничтожна в сравнении с вечностью. И потому Философия обрушивается на подопечного с упреком: «Вам же неизвестно ничто иное, кроме стремления к расположению народа и пустой молве, и, презрев превосходство совести и добродетели, вы ищите наград себе в чужих пересудах».

После подобного «утешения» можно переходить к серьезному разговору, состоявшемуся у Боэция с Философией в третьей, четвертой и пятой книгах «Утешения», где собеседники в той или иной мере затронули почти весь круг известных античности фундаментальных философских проблем. Здесь и вопросы космологии, в которых Боэций в основном следует платоновскому «Тимею» и пифагорейской традиции. Здесь и восходящее к Птолемею сравнение Земли с точкой в центре небесной сферы. Здесь и тонкие рассуждения о несоизмеримости конечных и бесконечных величин, в которых Боэций демонстрирует свободное владение фундаментальными положениями античной математики, основанными на работах двух великих математиков древности Архита и Архимеда. Здесь и платоновское сравнение тела с темницей души, и платоновский рационализм, обращенный против сенсуализма расцветших после Платона эпикурейцев и стоиков. Здесь и рассмотрение четырех ступеней познания — чувства, воображения, рассудка, разума — в духе поздних неоплатоников.

Переходя от философии природы к философии человека, Боэций не может не остановиться на тайне гармонии человека с высшими законами мироздания, которая в жизни называется счастьем. Проблема человека и судьбы, природы божественного предопределения и его связи с судьбой и свободой воли — центральная и наиболее оригинальная часть этики Боэция. К данной проблеме бывшего магистра оффиций подтолкнула сама жизнь, словно решившая проверить крепость его души и искренность философских убеждений. Из абстрактной философской категории судьба, олицетворяемая неумолимым Фатумом и сопровождаемая его коварной прислужницей Фортуной, превращается для Боэция в испытующего судию. Ласки Фортуны обернулись западней. Фатум испытует философа на крепость духа и верность философии.

Распутывая клубок взаимодействия необходимого и случайного в жизни человека, Боэций следует не новой христианской теологии, а старой античной философии. По мысли Боэция, высший разум или Бог обустроивает мироздание в соответствии с неким планом или образом мира. Этот «план мироздания» философ определяет как провидение. Если провидение есть извечный и повсеместный план миропорядка, то судьба есть реализация этого плана во времени и в пространстве. Судьба есть связь между высшим разумом и миром человека; это уже не провидение, но еще и не вещественный мир, это мировая связь, растворяющая Бога в природе.

Таким образом, Боэций, по существу, отрицает случайность в мироздании, следовательно, и в жизни человека. То, что несведущему человеку кажется цепью случайностей и на его взгляд лишено всякого смысла, в глубине оказывается предопределенным высшим разумом. Значит, и Фортуна не есть слепая богиня, сеющая без разбору милости и удары, но есть служанка провидения, доставляющая на землю план миропорядка высшего разума. Отсюда и знаменитый афоризм Боэция: «Никогда Фортуна не сделает твоим того, что природа сделала тебе чужим».

Ни даруемые Фортуной блага, ни наносимые ею удары не принадлежат ни ей, ни человеку, а, будучи конкретными проявлениями общего миропорядка, принадлежат высшему разуму. Но разум человека неизмеримо ниже высшего разума, и потому многие проявления высшего разума, доставляемые человеку Фортуной, кажутся ему непонятными и несправедливыми. В действительности все милости и все удары Фортуны являются высшей справедливостью, следовательно, не нужно слишком радоваться счастью, как и не следует отчаиваться в несчастье. Мудрость человека, прибли-

жающая его к высшему разуму, состоит в подчинении воле высшего разума. Истинного мудреца не испортит счастье и не сломит беда. Здесь Боэций целиком разделяет учение стоиков.

Созданная Боэцием философская концепция Фортуны, связавшая воедино изменчивость природы и постоянство высшего разума, стала классической в эпоху средневековья. Античная Фортуна как проявление миропорядка в жизни человека в терминах христианского средневековья была переосмыслена как некое безличное начало, проводящее волю Бога. Хрупкая языческая насмешница Фортуна пережила и могучего греческого Зевса, и грозного римского Юпитера и органично вошла в средневековое мировоззрение и культуру. Во многом столь завидной судьбе Фортуна обязана трагической земной судьбе «последнего римлянина» Боэция.

Но почему Боэций в последней исповеди столь много размышляет о язычнице Фортуне и ни слова не говорит о Христе? Почему ревностный защитник христианской веры, теоретик христианства перед казнью не ищет утешения в Христе, а находит его в Философии? Почему во всем «Утешении» нет ни одного обращения к Библии, ни одного упоминания имени Христа? Это загадка, и за полтора тысячелетия каких только гипотез по этому поводу не измышлялось: от утверждения, что перед казнью Боэций отрекся от христианства, до предположения, что вторую часть «Утешения», посвященную целиком христианству, узник просто не успел написать.

Мы склонны к самому простому объяснению: человек пограничной эпохи, Боэций был и язычником, и христианином, но не в равной мере. Античная культура прошла сквозь его сердце, она вошла в его плоть и кровь, и потому в последние часы «последний римлянин» обращается только к ней. Смысл жизни Боэций видел в сохранении для потомков великого античного наследия, и только к нему устремляет он последние думы и чаяния. Что касается молодого христианства, оно не нуждалось в такой опеке, как гибнущая античная мудрость, и не запало настолько в душу Боэция. Авторство многочисленных христианских теологических трактатов имело для философа скорее академический интерес, было игрою ума, а не болью сердца. Да и теизм Боэция можно скорее назвать философско-языческим, чем религиозно-христианским. Поэтому в последние часы мудрец обращается к античной философии, поэтому и называют Боэция «последним римлянином», т. е. «последним язычником», а не «первым христианином».

Забота о гибнущей античной философии еще за 15 лет до казни подвинула молодого консула Боэция к осуществлению грандиоз-

ной задачи по переводу на латинский язык всего корпуса сочинений Платона и Аристотеля — задачи, которую в полном объеме «последний римлянин» выполнить не смог. Но Боэций намеревался не просто перевести Платона и Аристотеля, а вскрыть глубокое внутреннее единство, связующее двух величайших философов античности, для чего предполагалось снабдить их переводы подробнейшими комментариями.

Боэций с воодушевлением писал о собственных планах: «Все тонкости логического искусства Аристотеля, всю значительность моральной его философии, всю смелость его физики я передам, придав его сочинениям должный порядок, переведу, сопровождая моими пояснениями. Более того, я переведу и прокомментирую все диалоги Платона. Закончив эту работу, я постараюсь представить в некоей гармонии философию Аристотеля и Платона и покажу, что большинство людей ошибаются, полагая, что эти философы во всем расходятся между собой; напротив, в большинстве предметов, к тому же наиболее важных, они в согласии друг с другом. Эти задания, если мне будет отпущено достаточно лет и свободного времени, я приведу в исполнение с большой пользой и в непрестанных трудах».

Синтез учений Платона и Аристотеля? Не будет ли это соединением несоединимого — эклектикой (от греч. *ἐκλεκτικός* — выбирающий), в которой часто упрекали Боэция? Возможно ли соединение двух высочайших вершин античной философии? И да, и нет. Да — потому что и Платон, ищущий мир идей в занебесной сфере, и Аристотель, растворивший идеи в земных реалиях, утверждают по существу одно и то же — примат идеального над материальным. Нет — потому что соединение теолога Платона и логика Аристотеля есть соединение несоединимого.

Сам Боэций не справился с грандиозной задачей перевода всего Платона и всего Аристотеля и тем более их синтеза. Да и вряд ли одному человеку такая задача под силу. Заметим, что всего Платона и всего Аристотеля на русском языке нет и сегодня! К переводу Платона «последний римлянин» вообще не приступил. Из сочинений Аристотеля он завершил работу над логическими трактатами Стагирита, составившими корпус так называемой старой логики (*logica vetus*), явившейся основным источником средневековых знаний по логике вплоть до второй половины XII в., т. е. в течение семи столетий.

Но если в переводах гигантов античной философии Боэций и не осуществил свои грандиозные планы, то в деле организации системы средневекового образования заслуги «последнего римлянина»

неоценимы. Именно Боэций сформировал необходимый минимум общеобразовательных предметов — знаменитые семь свободных искусств, разделив их на две ступени: низшую — тривиум^{*}: грамматика, риторика, диалектика — и высшую — квадривиум: арифметика, геометрия, музыка и астрономия. Хотя идея совокупности четырех наук, составляющих квадривиум, встречается в «Государстве» Платона и восходит к самому Пифагору, т. е. зародилась за 1000 лет до Боэция, «последний римлянин» проделал огромную работу по ее практическому воплощению. Сам Боэций постоянно ссылаясь на авторитет Пифагора в формировании идеи квадривиума, оставляя за собой только приоритет в изобретении термина: «Среди всех мужей древности, процветавших под водительством Пифагора в чистейшем рациональном созерцании, с очевидностью было установлено, что совершенно невозможно достичь кому-либо совершенства в философских науках без овладения столь благородным родом знания, как квадривиум».

Квадривиум, как утверждал Боэций, — путь совершенствования разума, возносящий человека от низменных чувств к высшему знанию. Четыре математические науки квадривиума возносят человека из непостоянного мира вещей в нетленный мир вечных и совершенных истин. Математические науки оказывают на душу очищающее, катарсическое воздействие, освобождая душу из темницы тела и приводя разум к совершенному порядку. Через 1200 лет данную мысль римского энциклопедиста Северина Боэция повторит великий русский энциклопедист Михайло Ломоносов: «Математику уже потому изучать надо, что она ум в порядок приводит».

Боэций написал все учебники по квадривиуму, причем если до него в ходу были бреварии (от лат. *brevis* — краткий) и компендиумы (лат. *compendium* — сокращение), то с «последним римлянином» в школьные учебники вошли добротная обстоятельность и теоретическая завершенность. Мы уже говорили о завидной судьбе «Наставления к арифметике» и «Наставления к музыке», которые, наработав тысячелетний педагогический стаж, продолжают работать сегодня, будучи незаменимыми источниками по античной математике, музыкознанию и культурологии.

«Геометрии» и «Астрономии» Боэция повезло меньше — они исчезли еще в раннем средневековье, оставив о себе самые хвалебные отзывы. В средние века Боэцию приписывали по крайней мере

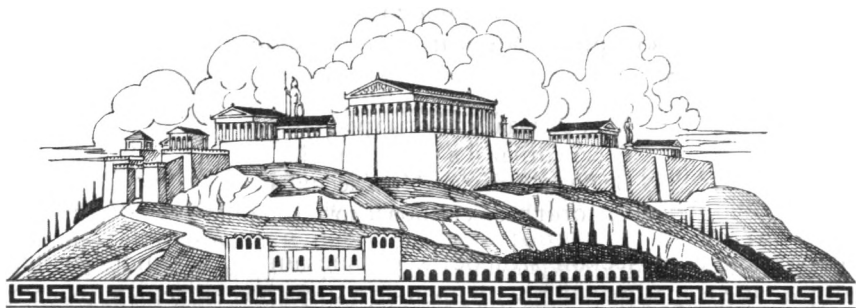
^{*} От тривиума — начального, а значит, общеизвестного курса образования — пошло слово тривиальный, т. е. общеизвестный, обыкновенный, лишенный оригинальности.

два учебника по геометрии — пятикнижный и двухкнижный. Последний содержал сведения о счетной доске абаке, изобретателем которого Боэций считался вплоть до XIX в., когда при археологических раскопках стали находить древнегреческие абаки IV—III вв. до н. э. В 983 г. «восстановитель изучения древних философов» Герберт из Реймса сообщал, что он обнаружил в библиотеке монастыря Боббио «восемь томов “Астрологии” Боэция, а также несколько великолепных книг по геометрии». Видимо, следует признать, что «Геометрия» и «Астрономия» Боэция не выдержали конкуренции с «Началами» Евклида и «Альмагестом» Птолемея — непревзойденными энциклопедиями по античной геометрии и астрономии. Однако именно Боэций открыл средневековую «четвертные врата» познания, ведущие к вершине наук — философии.

Средневековье высоко оценило именно эту — просветительскую — заслугу «последнего римлянина», делающую его одновременно и «первым схоластом». Боэций был не только «последним», кто заботливо собрал драгоценные осколки великой античной культуры, но и «первым», кто протянул эти сокровища грядущей эпохе. Именно в этом царственном жесте дарующего сокрыт секрет беспрецедентной популярности и авторитета Боэция в средние века. Именно своим подвижничеством в деле сохранения для потомков высоких духовных ценностей античности «последний римлянин» стяжал непреходящую славу и извечную благодарность последующих эпох.

Отстал Боэций от своего времени или обогнал его? Да, современникам «последнего римлянина», видящим его трепетную заботу об отжившей античной культуре, могло показаться, что отстал. Но сегодня, после того, как в 1980 г. было широко отмечено 1500-летний юбилей со дня рождения Боэция, отчетливо видно, что, конечно, обогнал. Ибо «последний римлянин» стал не только «первым схоластом», но и «первым возрожденцем», за 1000 лет до эпохи Ренессанса начавшим благородное дело возрождения великого античного наследия. Страстный собиратель и заботливый хранитель великой античной мудрости, Боэций и сам являлся последним великим мудрецом, украсившим венок мудрости Эллады.

В 525 г. Боэций был казнен. Через два года императором Восточной Римской империи стал Юстиниан. А еще через два года, в 529 г., неутомимый реформатор и поборник христианского благочестия специальным эдиктом закрыл философские школы в Афинах — последнее пристанище античной мудрости, как их видим сегодня мы, и последний рассадник языческой ереси, как их видел Юстиниан. История античной философии закончилась.



МАГИСТРАЛ. ГРЕЧЕСКОЕ ЧУДО

*Человек, не знающий творений древних, прожил,
не зная красоты.*

Гегель

История античной философии закончилась казнью Боэция и разгоном императором Юстинианом платоновской Академии. Зародившись в VI в. до н. э. и завершив свое существование в VI в. н. э., античная мудрость владела умами около 1200 лет. Возникнув из древнегреческой мифологии как попытка перейти в объяснении мироздания от религиозного мифотворчества к логическим конструкциям, т. е., ознаменовав собой переход *от мифа к логосу*, античная греко-римская философия завершила свой путь обратным переходом от философской логики к христианской теологии, т. е. *от логоса к мифу*. Круг замкнулся.

Однако мудрость Эллады не исчезла бесследно. Как старые мастера добавляли в бронзу серебра и золота, чтобы отлитый колокол звучал благородным звоном, так и без античной философии колокола новых философий остались бы безголосыми. Растворившись в средневековой схоластике, мудрость Эллады зазвучала в могучих консонансах Джованни Бонавентуры (1221—1274) и Фомы Аквинского (1225—1274), Данте Алигьери (1265—1321) и Эразма Роттердамского (1469—1536), Бенедикта Спинозы (1632—1677) и Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716), Сергея Трубецкого (1862—1905) и Семена Франка (1877—1950). Любой из великих мудрецов укажет на великую мудрость Эллады как на свою духовную купель.

Но если гибель античной философии, равно как и всей античной культуры, воспринимается нами с горькой байроновской неотвратимостью:

Моя Эллада, красоты гробница!
Бессмертная и в гибели своей,
Великая в паденье! Чья десница
Сплотит твоих сынов и дочерей? —

то рождение греческой мудрости, ее внезапное, лавинообразное вторжение в дремотный покой древнего мира по сей день вызывает ощущение чуда. Откуда вдруг появился Фалес? Откуда дерзость и неординарность в постановке философских проблем мироздания? Откуда вслед за Фалесом — не из божественного ли рога изобилия? — посыпались на Элладу мудрецы, один мудрее другого?

Феномен внезапного рождения и стремительного развития древнегреческой культуры является одной из загадок в истории человечества. Сегодня эта загадка обрела статус научной проблемы, именуемой «греческим чудом». Сотни исследователей на протяжении последних двух столетий соревнуются друг с другом в изобретении наиболее убедительных аргументов для объяснения этого феномена. На XIX Всемирном философском конгрессе, проходившем в Москве в августе 1993 г., доклад Ф. Кессиди был целиком посвящен проблеме «греческого чуда». Однако и сегодня «греческое чудо» откровеннее всего объясняют слова Б. Рассела, прозвучавшие полвека назад: «Во всей истории нет ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции».

Конечно, особое географическое положение Эллады, омывтой морем и островами рассыпанной в море, предопределило ее особую роль в истории европейской культуры. Море не только дает пропитание, но и дарует людям общение, тем более Средиземное, омывающее сразу три континента, при этом особенно уникальна его восточная часть — Эгейское море. Во всем Эгейском море нет точки, удаленной от суши более чем на 60 км, как и во всей Элладе нет места, отстоящего от моря более чем на 90 км. Россыпи островов, больших и малых, покрывают Эгейское море — они-то и стали опорами незримого моста, связавшего Азию с Европой, по ним прошла дорога эллинов к сказочной восточной культуре и немногословной восточной мудрости. Поэтому именно восточные греки, ионийцы и эолийцы, заложили основы и философии — Фалес из Милета, — и математики — Пифагор с острова Самос, — и лирической поэзии — сладкозвучная Сапфо с острова Лесбос. Так на задворках необозримых азиатских империй появился неприметный

«гадкий утенок», выросший вскоре в «прекрасного лебедя» европейской цивилизации.

Но для произрастания новой культуры только географических условий недостаточно — требуются люди, творящие эту культуру. Какими особыми чертами обладали жившие на особой земле древние греки? Прежде всего это открытость к культурным достижениям других народов. Греки не только перенимали, но и обогащали, достраивали и перестраивали готовое или, как говорил Платон, «доводили до более высокого совершенства». Вот здесь-то и проявлялся «агональный» — состязательный дух древних эллинов.

Древний грек, тем более афинянин, не мог сделать что-то так же, как сосед, — он должен был сделать лучше. Отсюда неистребимая страсть эллинов к соревновательности, ставшая едва ли не доминирующей чертой греческого менталитета. Отсюда бесчисленные соревнования, составлявшие неотъемлемую часть древнегреческого быта: от проводимых раз в четыре года общегреческих Олимпийских, Истмийских или Пифийских игр, когда прекращались войны и толпы греков, часто вчерашних противников, устремлялись по дорогам Эллады к месту состязаний, до ежегодных городских и даже ежедневных уличных состязаний в чем угодно — в беге, кулачном бою, борьбе, красоте, пении, танцах, острологии и т. д. Даже счет времени они вели по олимпиадам — четырехлетним интервалам между Олимпийскими играми, начиная от первых Олимпийских игр 776 г. до н. э. Увы, национальный дух соперничества стал для древних греков не только созидательным, но и разрушительным началом, приведшим Элладу к губительной Пелопоннесской войне, от которой она так и не смогла оправиться.

В качестве «третьего кита», поддерживающего национальную культуру, необходим и соответствующий государственный строй, способствующий развитию заложенных природой качеств. Достаточно сравнить Афины и Спарту — два соседних города-государства. И географическое положение, и национальный характер у обоих полисов практически одинаковы. Однако почему, в то время как Афины буквально завалил звездопад мудрецов, в соседней Спарте не родилось ни одного философа?

Ответ до банального прост: когда в Афинах установился ярко выраженный демократический строй, Спарта являлась классическим образцом казарменного государства. Если в Афинах едва ли не каждый житель так или иначе участвовал в общественной жизни полиса, общественная жизнь Спарты фактически полностью регламентировалась советом из тридцати старейшин. Если в Афинах

раскрепощенный ум, чувство свободы и собственного достоинства породили взрывоподобный всплеск интеллектуальных сил общества, духовная жизнь Спарты была задавлена военным диктатом и казарменным аскетизмом.

Знаменитый «спартанский образ жизни», известный нам в приукрашенной интерпретации Плутарха, который был так же далек от времени Спарты, как мы от времени Ивана Грозного, действительно позволял взрастить непобедимое воинство, но полностью подавлял отдельную личность. В итоге такая жизнь, когда физически слабых новорожденных умерщвляли, когда шестилетних мальчиков сгоняли из отчего дома в «детские стада» — агелы, когда индивидуальность взрослых спартанцев обезличивалась общими «столованиями» и даже общими женами, привела к полной деградации интеллектуальных и духовных сил Спарты.

Афиняне не питали иллюзий относительно преимуществ «спартанского образа жизни», о чем свидетельствует речь Перикла, произнесенная им в 431 г. до н. э. на похоронах афинян, погибших в очередной битве со Спартой. «У нас, — говорил Перикл, — государственный строй таков, что не подражает чужим порядкам; скорее, мы сами служим примером для других, чем подражаем кому-нибудь. И называется наш строй демократией, ввиду того что соображается не с меньшинством, а с интересами большинства... В свое государство мы предоставляем доступ для всех и никогда гонениями на иностранцев не закрываем никому возможности изучать или осматривать то, чем может воспользоваться любой из врагов...

Мы любим красоту, соединенную с простотой, и любим образованность, не страдая слабостью духа. В богатстве мы видим, скорее, подспорье для деятельности, чем предмет для хвастливых речей. Что же касается бедности, то у нас не признание в ней позорно для человека, а позорнее не прилагать труда, чтобы выйти из нее...

Короче говоря, я утверждаю, что наше государство — центр просвещения Эллады, а каждый человек в отдельности, мне кажется, может у нас проявить себя полноценной и самостоятельной личностью в самых разнообразных положениях с наибольшей ловкостью и изяществом. И это не одни только пышные слова, подобающие данному случаю, а постоянная действительность, это показывает нам уже самая сила нашего государства, которую мы изобрели такими чертами своего характера».

Итак, сколько бы ни существовало истинных причин взрывоподобного «греческого чуда», мы должны признать, что VI в. до н. э. был не только веком рождения античной философии, но и веком

становления античной культуры. Высеченная Фалесом искра философской мудрости воистину со скоростью мысли перелетела не только Эгейское, но и Ионическое море и рассыпалась сверкающим фейерверком по всей Греции, поэтому уже через сто лет, в V в. до н. э., Перикл мог по праву назвать Афины центром просвещенной Эллады. Таким образом, если XIV—XVI вв. принято называть эпохой Возрождения — временем второго рождения забытого античного наследия, то VI в. до н. э. можно назвать веком Рождения античной культуры и, бесспорно, веком Рождения античной философии.

Но самое удивительное в том, что «греческое чудо» VI в. до н. э. оказалось не одиноким на планете Земля. Именно в это время поэтапное знание, дремавшее в тайниках жреческих храмов и отшельнических пустыней, достигает своей критической массы и выплескивается наружу. Словно по мановению волшебства, в разных концах Ойкумены великие озарения коснулись лучших умов человечества. Пифагор в Древней Греции, Будда в Древней Индии, Конфуций в Древнем Китае — все они в VI в. до н. э. стали не просто философами или мыслителями, но и властителями дум, Учителями, провозгласившими учения, которые просуществовали тысячелетия и во многом определили грядущие культуры.

За пестротой национального своеобразия, абсолютным различием в письменности, искусстве, религии и эпосе в философии, этике и эстетике Древней Греции, Древнего Китая и Древней Индии открывается поразительно много общего. Пифагорейское учение о единстве десяти оппозиций: свет—тьма, мужское—женское, нечетное—четное — почти дословно повторяет знаменитое древнекитайское учение о гармонии первоначал Инь—Ян. Три древние философии объединяет идея слитности человека и природы, идея антропоморфизма, т. е. человекоподобия природы. Три древние этики провозгласили, по существу, одинаковые идеалы «созерцательной жизни» — самоограничения потребностей человека и самоустранения от алчущей суетности общественной жизни. Часто древние мудрецы разных национальностей, которые и не подозревали о существовании друг друга, почти дословно повторяли один другого. Так, Пифагору и Платону, придававшим исключительное значение воспитательной роли музыки, с другого конца Ойкумены вторил Конфуций (ок. 551—479 до н. э.): «Если хотите знать, как страна управляется и какова ее нравственность, — прислушайтесь к ее музыке».

Не менее разительное сходство обнаруживается и в пяти математиках древности — египетской, вавилонской, китайской, индийской и греческой. Достаточно указать на знаменитую «теоре-

му Пифагора», которая всех их связует. Родство древних математик столь велико, что крупнейший современный авторитет в истории науки Бартел ван дер Варден высказывает и аргументирует гипотезу о том, что в древности существовала неизвестная нам высокоразвитая традиция математических изысканий, послужившая основой для пяти известных математик древности. Эту традицию ван дер Варден возводит к индоевропейским племенам, создателям мегалитических памятников XXX—XX вв. до н. э. на территории Британии, подобных знаменитому Стоунхенджу. Таким образом в современной гипотезе ван дер Вардена оживает древняя платоновская легенда об Атлантиде, унесшей в пучины моря имена первых наставников человечества, тех, кого русский поэт и историк Валерий Брюсов назвал Учителями Учителей.

Но вернемся в цветущий Милет — город лучших в мире роз, — ибо какова бы ни была подлинная природа «пангреческого чуда», мудрость Эллады родилась в Милете в первой четверти VI в. до н. э., когда ее патриарх Фалес вступил в возраст акме, а на соседнем с Милетом Самосе родился великий Пифагор. Античная философия возникла из античной мифологии и, в свою очередь, произвела на свет естествознание. Именно в материнском лоне античной философии родилось большинство современных естественных наук — математика, астрономия, физика, химия, биология. И по сей день философия сохраняет мудрое материнское превосходство над естествознанием. Ибо философия есть целостный вид с высот разума на все мироздание, тогда как естествознание есть взгляд на природу изнутри — долгое и изнурительное продвижение по ее нехоженным дебрям.

Хотя сегодня быстро растущее дитя — естествознание — безмерно переросло свою мать — философию, — оно сохранило к ней нежно-снисходительную любовь взрослого сына. Свидетельством могут послужить слова современного физика, лауреата Нобелевской премии Макса Борна (1882—1970): «Многое, о чем думает физика, предвидела философия. Мы, физики, благодарны ей за это, ибо то, к чему мы стремимся, — это картина мира, которая не только соответствует опыту, но и удовлетворяет требованиям философской критики».

В наше время замечена удивительная особенность в отношениях философии и естествознания: чем современнее естествознание, тем древнее оказывается адекватная ему философия. Отсюда повышенный интерес современных математиков и физиков к досократовской и еще более древней ведической философии. Если в XIX в. античным наследием безраздельно владели гуманитарии, сегодня им приходится делить это наследие с естественниками. От-

куда же эта странная тяга современного естествознания к древней философии? Дело в том, что чем древнее философия, тем шире ее взгляд на мироздание — чистый взгляд ребенка, не замутненный мелочными деталями и априорными суждениями. Но современное естествознание от многовекового анализа, нещадно раздробившего картину мира, все ближе подходит к синтетическому, целостному взгляду на мироздание. Именно такой взгляд и выражает древняя философия.

Что касается отношений философии с ее прародительницей мифологией, то, родившись из мифологии и родив затем естествознание, философия и сегодня сохраняет пограничное положение между религией и наукой. Подобно религии, философия высказывает умозрительные, спекулятивные (от лат. *speculatio* — созерцание, умозрение) взгляды на явления и предметы, точное знание о которых невозможно сегодня или недостижимо в принципе. Поэтому, как и религий, философий много, тогда как наука, собирающая объективные знания о мире, одна. Перефразируя старинную французскую поговорку, можно сказать: сколько философов, столько и философий. Но в спекуляциях о недостижимом философия обращается к разуму, она пользуется логикой и методологией точных наук, сегодня она строит свои суждения на основе данных естественных наук — и в этой части философия родственна науке. В отличие от религии, философия апеллирует не к традиции или откровению, а к разуму, и в этом она тяготеет к науке. Итак, *философия есть и религия, и наука одновременно — рациональная религия и образная наука.*

О пограничном положении философии между наукой и религией, точнее, теологией как теоретическим фундаментом религии с присущей ему образностью говорит Б. Рассел: «Между теологией и наукой имеется Ничья Земля, подвергающаяся атакам с обеих сторон; эта Ничья Земля и есть философия. Почти все вопросы, которые больше всего интересуют спекулятивные умы, таковы, что наука на них не может ответить, а самоуверенные ответы теологов более не кажутся столь же убедительными, как в предшествующие столетия. Разделен ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что такое материя? Подчинен ли дух материи или он обладает независимыми способностями? Имеет ли Вселенная какое-либо единство или цель? Развивается ли Вселенная по направлению к некоторой цели? Действительно ли существуют законы природы, или мы просто верим в них благодаря лишь присущей нам склонности к порядку? Является ли человек тем, чем он кажется астроному, — крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на

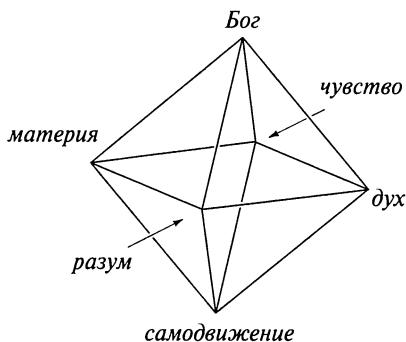
маленькой и второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он представляется Гамлету? А может быть, он является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвышенный и низменный образы жизни или же все образы жизни являются только тщетой? Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его можем достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к добру нужно стремиться, даже если Вселенная неотвратно движется к гибели? Существует ли такая вещь, как мудрость, или же то, что представляется таковой, — просто максимально рафинированная глупость? На такие вопросы нельзя найти ответа в лаборатории. Теологи претендовали на то, чтобы дать на эти вопросы ответы, и притом весьма определенные, но сама определенность их ответов заставляет современные умы относиться к ним с подозрением. Исследовать эти вопросы, если не отвечать на них, — дело философии».

Как видим, философия ставит огромное количество вопросов, за которыми безбрежный макрокосмос природы и бездонный микрокосмос человека. Досократовская философия из этого бесконечного разнообразия философских проблем выбирает проблему мироздания и пытается ответить на три главных вопроса:

Что первично в мире?
 Чем познается мир?
 Что движет миром?

Ответы на поставленные вопросы возможны разные, но их амплитуда ограничивается оппозициями:

материя — дух
 разум — чувство
 самодвижение — Бог



Трехмерный образ n-мерного «философского кристалла»

Соответственно данным ответам различают и философские направления:

материализм — идеализм
рационализм — сенсуализм
атеизм — теизм

Если три пары рассмотренных оппозиций отложить на равных расстояниях в противоположные стороны по трем взаимно перпендикулярным осям и полученные шесть вершин соединить, мы построим октаэдр. Сей «философский октаэдр» или «философский кристалл» будет очерчивать спектр возможных ответов на три основных философских вопроса о мироздании. Разумеется, это будет скорее только «досократовский философский кристалл», да и то в самом упрощенном виде. Но главное, что мы хотели показать данным построением, — философия не есть нечто аморфное с малоопытным содержанием, но есть именно кристалл с четкой внутренней структурой и ясно выраженными осями симметрии.

Конечно, настоящий «философский кристалл» будет не трехмерным, а n -мерным. В нем n взаимно перпендикулярных осей, несущих на себе другие фундаментальные оппозиции и отвечающих на другие принципиальные философские вопросы. Скажем, вопрос «Познаваем ли мир?» делит философов на гностиков и агностиков. Некоторые вопросы, как сократовский «Что есть благо?», не дихотомичны и даже не триадичны, а содержат целый спектр возможных ответов. Поэтому истинную размерность «философского кристалла», который постоянно растет и дополняется новыми философскими измерениями, вообще трудно определить. Трудности обусловлены тем, что философия не едина, как естествознание, а многообразна. Философия есть не точка в системе наук, а некое n -мерное тело, точнее, n -мерный кристалл.

Теперь можно попытаться «расплести» венок мудрости Эллады и «рассадить» античных мудрецов по вершинам «философского кристалла». Сами мудрецы вряд ли пришли бы в восторг от подобной затеи, ибо свою задачу они видели именно в том, чтобы сплести общий венок, дополняя один другого, заполняя пустоты, укрепляя внутренний обруч венка и украшая его внешнюю корону непохожими философскими цветами. Они нимало не заботились о том, кого из них потом нарекут материалистами, кого идеалистами, кого вознесут до небес, кого надолго предадут анафеме. Они делали общее дело — искали Истину, но каждый шел к ней собственным путем, и каждый обретал собственную Истину.

Но мысль человеческая не может существовать без разрушающего анализа, который непрерывно переходит в создающий синтез. Расплетая венки и раскладывая его по видам цветов, мы разрушаем чувственно воспринимаемую целостность венка и создаем новое умопостигаемое единство — «теорию венка». И беспредметная рациональная теория, создаваемая человеком взамен предметной чувственной данности, оказывается ему ближе, понятнее и желаннее. Что же мы видим, рассматривая венки мудрости сквозь кристалл «философского октаэдра»?

Первым мы видим Фалеса, который, приняв воду в качестве материального первоначала мироздания, занял недвусмысленно материалистическую позицию. Материалистами являлись и ученики Фалеса — Анаксимен, объявивший первоначалом воздух, и даже Анаксимандр, выбравший в качестве «архе» малопонятный апейрон. Трое милетцев поднялись выше чувственной видимости и за многообразием явлений пытались усмотреть некую отличную от них сущность вещей — «архе». Таким образом, милетцы пытались постичь мироздание разумом, а не чувствами, т. е. являлись рационалистами. И хотя Фалес утверждал, что «все полно богов», все милетцы в большей или в меньшей степени причину движения видели в самом «архе», следовательно, в той или иной мере были атеистами.

Разумеется, нет необходимости в стремлении возвести каждого мудреца на ту или иную вершину «философского октаэдра». Трое милетцев до «атеистической» вершины «не дотягивают», но Анаксимандр, утверждавший, что апейрон есть причина рождения и гибели, стоит к ней ближе, а Фалес — дальше. Итак, милетцы были материалистами, рационалистами и тяготели к атеизму. Какова истинная причина столь крутого поворота от мифа к логосу в милетской философии, мы не знаем и в качестве объяснения можем предложить только диалектическое отрицание мифа логосом: если мифология апеллировала к духу, чувству и Богу, то новая милетская философия обращается к противоположным сущностям — материи, разуму, самодвижению.

Если Фалеса и милетских натурфилософов часто называют наивными материалистами, то следующего за ними Пифагора можно назвать наивным идеалистом. Провозгласив знаменитый тезис «все есть число», Пифагор тем самым развернул учение философии от материального к идеальному, от реалистической философии милетцев к идеалистической философии платоников. Основоположник объективного идеализма, Платон только развил Пифагорову идею первичности идеальных объектов сознания — пифагорейских чисел или Платоновых идей — по отношению к ма-

терии. Рассматривая числа как промежуточную сферу бытия между идеями и чувственными вещами, Платон оказался настолько близок к Пифагору, что в древности его даже обвиняли в плагиате:

Эх, Платон... И тебя к учению страсть охватила!
Деньги большие ты отдал за малую книжку:
Сливки снимая с нее, «Тимей» строчить научился.

Вряд ли мы когда-либо узнаем, был ли прав в своих стихах «ядовитый Тимон», от которого, кстати, досталось едва ли не всем древним мудрецам. Однако то, что объективный идеализм Платона произрос на почве пифагореизма, остается бесспорным.

Итак, Пифагор стал прародителем античного идеализма. Но в обращении к числу как сущностной основе мироздания, постигаемой разумом, он выступает как сформировавшийся рационалист. Наконец, проповедуя предустановленную гармонию небесных сфер, бессмертие и круг превращений души, Пифагор предстает перед нами как убежденный теист. Эти основные философские принципы фактически без изменения вошли и в философскую систему Платона. Таким образом, три вершины «философского октаэдра»: *дух — разум — Бог* — или: *идеализм — рационализм — теизм*, — безусловно, являются вершинами Пифагора и Платона, а образуемую этими вершинами грань октаэдра можно назвать гранью Пифагора и Платона.

Немногие из античных мудрецов столь недвусмысленно заявили о собственных философских позициях. Пожалуй, только еще о двух философах мы можем судить с такой же определенностью. Это Демокрит, последовательный материалист и атеист. И Эпикур — материалист, сенсуалист и атеист. Таким образом, еще две грани «философского кристалла» могут обрести своих «хозяев».

Легко заметить, что «грань Эпикура»: *материя — чувство — самодвижение* — противоположна (симметрична относительно центра октаэдра) «границ Платона»: *идея — разум — Бог*

Остальные мудрецы Эллады не обозначили столь отчетливых философских позиций, поэтому на «философском кристалле» они занимают не внешние грани, а некоторые внутренние сечения. Например, Протагор являлся последовательным сенсуалистом и идеалистом, но о богах, как мы знаем, высказывался с софистической неопределенностью. Поэтому «сечение Протагора» пройдет через ребро *чувство — дух* «философского октаэдра» и через некоторую внутреннюю точку оси *самодвижение — Бог*

Едва ли не в центре «философского кристалла» придется поместить Гераклита. Действительно, с одной стороны, Гераклит, называющий огонь материальной основой мироздания, умопостигае-

мой субстанцией и движущей силой, энергией мироздания, выступает как материалист, рационалист и атеист; с другой, — «внимая логосу», как организующей мироздание идее, как божественной силе мироздания, явленной человеческим ощущениям через свой проводник — мировой огонь, Гераклит предстал перед нами как идеалист, сенсуалист и теист. Понятно, что из центра «философского кристалла» Гераклита с равным успехом можно было передвинуть в любую его вершину, что и делали представители различных философских направлений.

Желающие могут продолжить распределять античных мудрецов по вершинам «философского кристалла». Мы же перейдем к последнему, но достаточно каверзному вопросу: почему развитие античной философии происходило столь зигзагообразно? Почему материалиста Фалеса сменил идеалист Пифагор? Почему Гераклит говорил, что «все течет», а вслед за ним Парменид утверждал, что бытие неподвижно? Почему Демокрит являлся рационалистом, а Протагор — сенсуалистом, а за ними вновь в той же последовательности шли рационалист Платон и сенсуалист Эпикур? Почему Пифагор являлся теистом, а Демокрит — атеистом, потом Платон — теистом, Эпикур — атеистом и т. д.? Только ли дух противоречия двигал античными мудрецами в их последовательном взаимном отрицании?

Конечно, демократизм древнегреческого общества, а следовательно, и дух противоречия, без которого демократия невозможна, оказали заметное влияние на историю развития античной философии. Если и древнеегипетские жрецы, и древнекитайские философы выступали как провозвестники самого Бога, если Конфуций, например, уверял слушателей, что «сам Бог свидетельствует в нем», то греческие философы являлись обычными людьми, чьи новые мысли, как и новые законы, выносились на суд общественности. Мудрецов в Древней Греции любили и уважали, но без священного трепета и поклонения. С греческим мудрецом можно было спорить, ему можно было противоречить, над ним можно было посмеяться. И потому, соревнуясь друг с другом в мудрости — без соревновательности древние греки просто жить не могли, — каждый новый мудрец считал своим долгом начать с собственной философии, отвергающей или даже разрушающей философию предшественника.

Дух противоречия оказался свойствен не только древнегреческой философии, но и древнегреческому менталитету. В этом отношении показательно сравнение греческой и еврейской истории древнееврейского историка Иосифа Флавия (37 — после 100 н. э.): «Еврейская история покоится на непреложном авторитете, в котором ни один еврей

никогда не сомневался; наоборот, ознакомление с греческой исторической наукой убеждает, что греки ничего точно не знают, а говорят то, что каждому на основании его собственного разума кажется наиболее правильным. Они, не задумываясь, противоречат друг другу, спорят между собой, обвиняют в ошибках не только друг друга, но и наиболее общепризнанные свои авторитеты — Гомера, Геродота и Фукидида, считающегося у них самым точным из историков».

Однако объяснить ход развития античной философии только независимым характером древних греков было бы наивно. В истории любой науки, безусловно, имеет место некая внутренняя логика, внутренний закон ее исторического возникновения, становления и развития. Внутренним законом становления и развития не только античной, но и всей философии является диалектика.

Уже во времена Сократа, который первым стал называть «диалектикой» искусство спора, диалектика, как внутренний закон, подспудно управляла всем ходом развития греческой философии. Однако законы диалектики как науки о наиболее общих принципах развития природы, общества и мышления стали известны человечеству лишь через 2000 лет прежде всего благодаря гению Георга Гегеля. Поэтому сегодня мы можем рассмотреть интересующий нас процесс сквозь линзу законов диалектики.

Три закона определяют диалектику как всеобщее учение о развитии: *закон единства и борьбы противоположностей*, вскрывающий *источник развития*, *закон перехода количественных изменений в качественные*, описывающий *механизм развития*, и *закон отрицания отрицания*, определяющий *направление развития*. Ясно, что последний закон, указывающий направление развития процесса, в частности античной философии, будет иметь для нас первостепенное значение.

Согласно Гегелю, любое развитие носит триадичный характер: *тезис* — исходный момент развития, *антитезис* — переход исходного тезиса в свое отрицание, *синтез* — отрицание отрицания, новое единство противоположностей. Итак, развитие есть возникновение логического противоречия в тезисе и антитезисе и снятие этого противоречия в синтезе через отрицание отрицания. Отрицание предыдущего отрицания есть в известном смысле восстановление того, что ранее отрицалось, т. е. возвращение к пройденной стадии развития. Однако это уже не простой возврат к исходному тезису, а новое понятие, «более высокое, — как поясняет Гегель, — более богатое понятие, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием или противоположностью; оно, стало быть, содержит

предыдущее понятие, но содержит... в себе более, чем только его. Таким образом, согласно закону отрицания отрицания развитие происходит циклами, напоминающими витки спирали: исходное состояние объекта на полувитке спирали превращается в свою противоположность, а затем на втором полувитке эта противоположность вновь замещается своей противоположностью, что приводит в плоскостных координатах к исходному положению, но уже на следующем витке спирали, т. е. на более высоком уровне.

Вернемся к греческой философии, родившейся из мифологии, подобно Афродите, родившейся из пены морской. Нам представляется, что источник греческой философии следует искать в единстве и противоположности двух способов постижения мира, заложенных в сознании человека. Еще Гомер в «Илиаде» говорил о двух путях познания мира — пути мысли и пути сердца:

Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,
Будет некогда день, и погибнет священная Троя.

Через три тысячелетия гениальная догадка Гомера о двух путях познания получила блестящее подтверждение в работах лауреата Нобелевской премии Роджера Сперри. Согласно его исследованиям, левое полушарие головного мозга человека обеспечивает главным образом процедуру рационального мышления, тогда как правое полушарие ответственно за формирование образной картины мира. Таким образом, две различные картины мира, два разных мировосприятия — рациональное и образное — заложены природой в самой голове человека. Они естественным образом противоборствуют, отрицают друг друга и на каждом витке отрицания отрицают формируют новую картину мира.

Разумеется, вначале в общественном сознании доминировала образная, мифологическая картина мира как более простая и доступная человеку. Мифология была обращена к чувствам, она рисовала красивую и понятную картину мира, созданного волею божественного разума и управляемого божественной идеей. Все было просто и безоблачно, пока рациональное начало, дремавшее в человеке, не подвергло ее уничтожающей критике. Вот тут-то и появился Фалес с учениками, провозгласившими примат рационального и материального и подвергшими сомнению господство божественного. Сработал закон единства и борьбы противоположностей, открывший двери новой рациональной философии. Дальнейший ход событий предстояло определять закону отрицания отрицания.

Пришедший на смену Фалесу Пифагор отверг материалистические и атеистические начала милетской философии и вернулся к мифологическому примату идеального и божественного. Роль рационального начала в пифагорейской философии взяли на себя числа — они стали и идеальной первоосновой мироздания, и его божественной волей. Философия числа Пифагора — снова мифология, но мифология чисел, а не богов. Недаром Пифагор наделял числа божественными свойствами, давал числам и фигурам имена богов и т. д.

Следующим был Гераклит, подвергший отрицанию и Фалесов тезис о материальном «архе», и Пифагоров антитезис об идеальном первочисле. В результате Гераклитов синтез стал обладать чертами и той и другой философии: материальный первоогонь, управляемый идеальным первологосом. Таким образом Гераклит открыл путь к материализму, идеализму, диалектике, метафизике. Не случайно его охотно цитируют практически все философские школы.

Далее Гераклитово «все течет» подвергли диалектическому отрицанию элеаты — и античная философия сделала новый виток в своем развитии. На смену подвижной диалектике Гераклита пришла застывшая метафизика Парменида. И снова отчаянная битва всколыхнула ряды «подвижников» Гераклита и цепи «неподвижников» Парменида, пока в процесс не включились влекомые Демокритом «атомисты» и не начали создавать новую Гераклито-Парменидову картину мира, в которой неизменные первосушности — атомы — соединялись в изменчивое многообразие мироздания. И так далее.

Даже внутри однородных философских школ развитие мысли шло по пути диалектического отрицания предшественника. В милетской школе Анаксимандр отвергает учителя Фалеса и объявляет первоначалом не конкретную воду, а абстрактный апейрон. Затем Анаксимен восстает против учителя Анаксимандра и называет первоначалом воздух, возвращаясь в результате такого отрицания отрицания назад к Фалесу, но на новом уровне, ибо воздух, по мнению Анаксимена, обладает свойством беспредельности апейрона. «Атомист» Анаксагор считает элементы мироздания делимыми до бесконечности, а «атомист» Демокрит, напротив, указывает на свойство неделимости атома. Но Демокрита, считающего движение атомов жестко детерминированным, в свою очередь отвергает «атомист» Эпикур, настаивающий на возможности случайных отклонений атомов от детерминированных траекторий. Впрочем, рассказать об истории античной философии с позиции диалектики — значит написать еще одну книгу о мудрецах Эллады.

А нашу книгу о венке мудрости Эллады закончим последним взглядом на веночек во всей его неделимой красе. И возможно, самое главное и удивительное в нем заключается в том, что за два тысячелетия ни один из его цветков не завял, не лишился свежести, не утратил былых красок и благоухания. Веночек мудрости Эллады всегда будет служить человечеству родником незамутненной радости, эталоном творческого потенциала, источником духовной энергии.

Горы книг и статей написаны о значении Древней Греции для человечества. И все-таки из всего многообразия слов о величии греческой культуры нам более других нравятся слова малоизвестного английского писателя Генри Мэна, сказавшего: «*За исключением слепых сил природы, все, что движется в этом мире, имеет свое начало в Греции*».

Не только все мыслящее, но и все движущееся сегодня было приведено в движение неиссякаемой энергией древних. Сегодняшняя наука и техника, прокладывающие дороги в космосе и освобождающие невиданные энергии, движутся пифагорейской идеей о высшей роли числа в познании тайн природы. Платон отковал основную пифагорейскую заповедь в афоризм: «Мы никогда не стали бы разумными, если бы исключили число из человеческой природы», а затем его на все лады повторяли и Леонардо да Винчи, и Иммануил Кант, и Карл Маркс*. Пифагор уверял учеников во всеобщей гармонии мироздания, а титан современного естествознания Альберт Эйнштейн продолжил его мысль: «Без веры во внутреннюю гармонию нашего мира не могло бы быть никакой науки».

Хлесткие и глубокомысленные изречения Гераклита продолжили свою жизнь в максимах Франсуа де Ларошфуко, мыслях Блеза Паскаля, афоризмах Фридриха Ницше, а знаменитое Гераклитово «*πάντα ρεῖ*» — «все течет» продолжает течь в нашем сознании вечной идеей вечного изменения в природе. Впрочем, вслед за Гераклитом Парменид открывает врата неподвижной метафизики и

* Предоставляем читателю возможность сравнить эти высказывания.

Леонардо да Винчи (1452—1519): «Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математические доказательства».

Иммануил Кант (1724—1804): «...в любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько имеется в нем математики».

Карл Маркс (1818—1883): «Наука только тогда достигает совершенства, когда ей удастся пользоваться математикой».

также оставляет нам бессмертную идею о неизменности субстанциональных основ мироздания — идею, благодаря которой только и возможно подлинное знание.

Затем и ученик Парменида Зенон подбрасывает человечеству коварные апории, которые и по сей день камнем преткновения лежат на пути у современных математиков, логиков и философов. Зато Протагор, будто играючи и балагурия, оттачивает в своих софизмах логику построения языка и незаметно закладывает правила речи для современных компьютеров. А «атомисты» Демокрит, Анаксагор и Эпикур, кажется, хотят помирить Парменида и Гераклита, при этом оставляют грядущим естествоиспытателям грандиозную идею о неизменных микросущностях, лежащих в основе изменчивого мироздания. И каждому есть что сказать современным физикам: Демокрит говорит, что атомы неделимы, и призывает физиков продолжать докапываться до первооснов бытия; Анаксагор утверждает противное и поддерживает сегодняшних физиков, отчаявшихся достичь конечной Демокритовой точки в микромире; Эпикур предрекает элемент случайности в поведении атомов и как бы намекает на принцип неопределенности.

Далее перед нами встают три гиганта античной философии — Сократ, Платон и Аристотель, — о которых только и можно сказать, что это три кита всей сегодняшней философии, ибо, если попытаться сказать больше, придется начать по крайней мере три новые книги. А вот и неистовый Диоген Синопский предостерегает нас от того, что даже во имя мудрости нельзя убивать человеческое в человеке. И наконец, Северин Боэций бережно передает в наши руки сохраненный от варваров венок мудрости Эллады.

Склоняя голову, мы принимаем этот венок. Но, приглядевшись, мы видим, что многих цветов в нем недостает — одни обломаны вместе со стеблями, другие примяты и сохранили только несколько лепестков. Венок мудрости Эллады прекрасен, как прекрасны безрукая Афродита Милосская или обезглавленная Ника Самофракийская. Венок мудрости Эллады — это вечное напоминание о том, что древняя мудрость жива и во все времена современна.

Волошинов А. В.
В22 Венок мудрости Эллады. — М.: Дрофа, 2003. — 256 с.
ISBN 5—7107—5040—9

Венок мудрости Эллады — это своеобразный венок сонетов в прозе, содержащий 14 жизнеописаний античных философов. Фалес, Пифагор, Гераклит, Парменид, Зенон Элейский, Анаксагор, Демокрит, Протагор, Сократ, Платон, Аристотель, Диоген Синопский, Эпикур, Боззий. Их вклад в сокровищницу человеческой мысли всегда будет служить эталоном творческого потенциала, источником духовной энергии, напоминанием о том, что древняя мудрость жива и во все времена современна.

Книга написана увлекательным языком и рассчитана на широкий круг читателей.

УДК 94(0.062)

ББК 63.3(0)32

Научно-популярное издание

Волошинов Александр Викторович
ВЕНОК МУДРОСТИ ЭЛЛАДЫ

Зав. редакцией *Н. В. Павлова*
Ответственный редактор *Т. В. Фомина*
Оформление *Л. П. Копачева*
Художник *В. Н. Любин*
Художественный редактор *Е. П. Корсина*
Технический редактор *С. А. Толмачева*
Компьютерная верстка *К. С. Носова*
Корректор *А. Ю. Буланова*

Изд. лиц. № 061622 от 07.10.97.

Подписано к печати 19.08.02. Формат 60 × 90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,0. Тираж 7000 экз. Заказ № 2746.

ООО «Дрофа». 127018, Москва, Сушеvский вал, 49.

По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа» обращаться по адресу:
127018, Москва, Сушеvский вал, 49.

Тел.: (095) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (095) 795-05-52.

Торговый дом «Школьник». 109172, Москва, ул. Малые Каменщики, д. 6, стр. 1А.

Тел.: (095) 911-70-24, 912-15-16, 912-45-76.

Магазин «Переплетные птицы». 127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 89, стр. 1.

Тел.: (095) 912-45-76.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленской областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

А. В. Волошинов

ВЕНОК МУДРОСТИ ЭЛЛАДЫ

Мудрость Эллады... Фалес, Пифагор,
Гераклит, Парменид, Зенон Элейский,
Анаксагор, Демокрит, Протагор,
Сократ, Платон, Аристотель, Диоген
Синопский, Эпикур, Боэций.

Четырнадцать ярких жизнеописаний
античных философов – своеобразный
веночек сонетов в прозе. Никто из них
не познал абсолютной Истины,
но без них был бы немислим путь
человечества к ней.

ISBN 5-7107-5040-9



9 785710 750407